М. М. НОВИКОВ

От Москвы до Нью-Иорка

Моя жизнь в науке и политике.



М. М. НОВИКОВ

От Москвы до Нью-Йорка

МОЯ ЖИЗНЬ В НАУКЕ И ПОЛИТИКЕ



ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА

Нью-Йорк • 1952

PRINTED IN THE U. S. A.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Воспоминания проф. М. М. Новикова охватывают очень значительный промежуток времени — приблизительно три четверти столетия. Автор родился в Москве в 1876 году. По окончании средней школы ему пришлось в течение семи лет тяжким конторским и репетиторским трудом добывать средства для поддержания своей семьи. Лишь в 1901 г. он мог отдаться своему научному призванию, поступив студентом в Гейдельбергский университет. В 1904 г. он получил степень доктора натурфилософии. Второй докторат был присужден ему Московским университетом в 1911 году. Приблизительно с этого времени деятельность проф. Новикова пошла по двум путям: академическому и общественному. В течение десяти лет М. М. работал в качестве гласного Московской Городской думы и почти пять лет в Государственной Думе четвертого созыва.

В Московском университете проф. Новиков одно время занимал должность декана физико-математического факультета, а также был последним, свободно избранным его ректором. Его академическая деятельность продолжалась и заграницей в Пражском, Братиславском и Мюнхенском университетах. Сознательный период жизни М. М. Новикова распадается на два, почти равных периода. Первый из них, на родине, проходил главным образом под знаком общественного служения. Второй, после изгнания в 1922 году из России, отмечен его академической и научно-исследовательской работой.

Этой последней, ввиду ее специального характера, не могло быть посвящено достаточно внимания в настоящей книге. Можно лишь отметить, что она озна-

меновалась избранием автора в члены целого ряда российских и иностранных научных обществ, активным участием в многочисленных международных съездах, а также опубликованием свыше 120 книг и статей естественнонаучного содержания на разных европейских языках. Многие открытия автора, как например, по вопросу строения зрительных органов низших животных или воздействия гормонов на жизнедеятельность простейших организмов, получили широкое научное признание. Другие, как например, новая теория закономерного образования органических форм, подвергаются дальнейшему обсуждению преимущественно в германской и итальянской биологической литературе.

Вскоре после окончания Второй мировой войны проф. Новиков переселился на постоянное жительство в Соединенные Штаты.

Издательство имени Чехова.

"Die Zukunft steht fest,...
wir aber bewegen uns im
unendlichen Raume".

*R. M. Rilke. Briefe an
einen jungen Dichter.*

I. ВСТУПЛЕНИЕ

«На старости я сызнова живу;
Минувшее проходит предо мною...
Давно-ль оно неслось, событий полно,
Волнуяся, как море-океан?
Теперь оно безмолвно и спокойно»...

Пушкин.

"Und nun, vor gar nicht langer Zeit, tauchte
der Wunsch in mir auf, nichts wie mich selbst
zu schildern. Mich, wie ich im Leben stehe,
mit einem Wort, eine Lebensgeschichte zu schreiben.
So ungekünstelt wie möglich. Denn — das ist
meine Meinung — was hinter den Ereignissen
und Tatsachen steht, wird stets hervortreten,
wenn der Vordergrund, nämlich Tatsachen
und Ereignisse richtig geschildert sind".

Festenberg. Ernte des Meeres.

В конце XIX столетия русская интеллигенция была глубоко пропитана оппозиционными и революционными настроениями, которые рождались, как ответ на реакционную политику правительства, постепенно ликвидировавшего великие реформы предшествовавшего царствования. Понятно, что эти настроения особенно ярко проявлялись среди учащейся молодежи. Но наряду с недовольством общественными порядками молодые люди часто страдали неудовлетворенностью более личного характера. Размеренная, мирно текущая жизнь, стесненная строгими рамками законов, которые не давали простора общественной предприимчивости, многим казалась непереносимой. Это была эпоха хму-

рых людей Чехова. И часто приходилось слышать выражения зависти по отношению к прежним поколениям, свидетелям и участникам великих войн и революций. Мы тогда не подозревали, что история готовила на нашу долю такое обилие кровавых событий, которое могло пресытить даже людей наиболее жадных на подвиги и падких на приключения. Недаром многие впадали потом в огорчение противоположного рода и говорили, что им надоело жить в великую историческую эпоху.

В мои намерения не входит сравнительная характеристика мирных и бурных исторических периодов. Я упоминаю о них лишь для того, чтобы отметить одно второстепенное свойство бурных эпох. Они обыкновенно ознаменовываются богатством мемуарной литературы. Это явление, столь понятное, наблюдается в течение последних десятилетий и в русской среде. Массовый психоз бывает заразителен, а инфекция или суггестия чаще всего проникает в организм незащищенный. Вот и я, когда в семидесятых годах жизни мне пришлось невольно освободиться от общественных обязанностей и научных работ, крепкой броней облекавших меня в течение всей моей сознательной жизни, почувствовал досуг и потребность подвести некоторые итоги своим переживаниям. Я сознаю, что беру на себя трудную задачу. Во-первых, потому, что в моем уединении я не располагаю никакими литературными данными, которые могли бы освежить мою уже слабеющую память. А во-вторых, из-за того, что загруженный сверх меры всякими текущими делами, я никогда не вел дневников. Поэтому я не берусь за связное изложение событий, свидетелем которых мне пришлось быть. Я хочу запечатлеть лишь некоторые, особенно ярко сохранившиеся в памяти происшествия и впечатления моей жизни и таким образом начертать нечто вроде человеческого документа.

При изучении биографической литературы можно подметить, что жизнь человека часто протекает по определенному плану, который как бы навязывается

ему извне, но на который он и сам может иногда оказывать более или менее значительное влияние. Наряду с жизнью спокойной, равномерно текущей на всём своем протяжении, встречаются планы восходящей жизни, заканчивающейся апофеозом материальным или духовным. Иная жизнь, даже жизнь великого человека, может протекать в нисходящем плане, т. е. представлять собой как бы непрерывную цепь неудач и огорчений.

Примером первого плана служит биография нашего знаменитого биолога И. И. Мечникова, который в молодости готов был покончить самоубийством, а к старости разработал оптимистическую теорию ортобиоза, т. е. нормальной, плодотворной и радостной жизни.

Противоположная судьба постигла Альбрехта Галлера, швейцарского поэта и выдающегося естествоиспытателя XVIII столетия. Начав свой жизненный путь блестящим вундеркиндом, он в старости писал одному из друзей, что вся жизнь его подобна трагическому роману.

Бывают, наконец, и пестрые планы жизни, в которых успехи и неудачи, радости и печали волнообразно смещают друг друга. Такую жизнь прожил М. В. Ломоносов, вышедший из простого народа, но достигший высочайших ступеней в своей научной деятельности, который печаловался, однако, на смертном одре, что все труды его погибнут вместе с ним.

Иногда волнообразное течение сказывается в двух или нескольких поколениях. План восходящий сменяется нисходящим и наоборот. Нередко дети великих людей оказываются посредственными или даже неудачными членами общества, а в семьях, изнывающих под напором бед и несчастий, рождаются счастливцы, которым суждена восходящая роль в жизни.

Нечто подобное наблюдалось и в нашей семье. Мой отец принадлежал к зажиточной, старинной московской семье крупных скотопромышленников. В молодости он много странствовал со стадами быков по южной России. За это время, живя непосредственно в

природе, он полюбил и научился понимать ее. Не отсюда ли у меня стремление к естествознанию, и в частности, к миру животных? Отец не получил даже среднего образования, но благодаря чтению и постоянному общению с массой людей всякого звания и состояния, производил впечатление вполне интеллигентного человека. При этом он отличался чрезвычайной скромностью, которая в торговых делах часто является показателем отрицательным. Начав, после смерти своего отца, вести дела самостоятельно, он не выдержал конкуренции с торговцами более напористого характера и скоро разорился. Эта катастрофа была связана с неоплатными долгами, приведшими его на некоторое время к тюрьме. Там он сблизился с представителями революционной молодежи, пройдя таким образом как бы факультет общественных наук. Благодаря исключительной мягкости своей натуры, он не сделался революционером, но общение с людьми высокого интеллигентного уровня оказало на него значительное влияние. На взятый взаймы капитал он завел потом новое торговое предприятие, которое было поставлено на основаниях исключительной порядочности. Вначало оно имело значительный успех, но в дальнейшем не выдержало конкуренции, пришло в упадок и едва могло поддерживать существование нашей семьи на весьма низком материальном уровне. Временное облегчение наступило, когда его богатый заимодавец, о котором в нашей семье говорилось с ужасом, потому что отец должен был регулярно отвозить ему проценты, но который, при своей суровой внешности, был доступен и добрым чувствам, простил отцу остаток его долга. Но это была лишь краткая передышка, а затем наше нисхождение по линии житейского благополучия продолжалось. В конце концов, отец должен был отказаться от мысли вести самостоятельное дело и сделался скромным торговым служащим. Из купцов перешел в мещане.

Некоторый подъем жизненного уровня нашей семьи начался лишь с того времени, когда я, старший

сын, окончил среднее учебное заведение и, весь проникнутый заботами о поддержании семьи, утром ходил на службу, а по вечерам давал частные уроки. То была последняя, короткая полоса жизни отца, полоса сравнительного благополучия, не только материального, но и нравственного, потому что он глубоко радовался моим жизненным успехам и предвидел широкий размах моей будущей деятельности, что как бы пророчески и выразил, лежа на смертном одре. Он умер в возрасте 65 лет, окруженный трогательным уходом всей семьи. Добрая кончина, как естественное завершение жизни, есть существенное достояние человека. Смерть отца была как бы воздаянием за многие, тяжелые переживания его жизни. Лишь наступила она преждевременно. И в том смысле, что он не дождался моих главных успехов на жизненном пути, и в том, что его предки жили значительно дольше. Его отец прожил свыше 80 лет, а дед умер в возрасте 101 года.

Как бы в противовес к явно нисходящему плану жизни моего отца, как бы в искупление его, мой собственный жизненный путь, несмотря на значительное количество тяжелых переживаний семейного, общественного и научного характера, протекал, вообще говоря, в восходящем порядке. Характерной чертой этого пути является его двойственность. Мне не удалось установиться на каком-либо строго определенном жизненном фундаменте и обосновать на нем единство всего моего духовного существования. В научной области я не мог совершить всего того, к чему был предрасположен и подготовлен, ибо академическая жизнь моя неоднократно прерывалась общественной работой. Но я не сделался и специалистом общественником, потому что исследование тайн природы неуклонно привлекало меня, и я при всякой возможности возвращался к нему.

Однако, звезда успеха почти неизменно освещала оба разветвления моего жизненного пути, и я постоянно испытывал глубокое внутреннее удовлетворение от работы как на академическом, так и на общественном поприще. Эта работа, при которой судьба воздвигала

меня до самых вершин иерархической лестницы, где я должен был принимать участие в обсуждении вопросов, определявших существование нашей необъятной родины, или руководить старейшим российским университетом, приносила мне, конечно, немало разочарований, но она наполняла жизнь и великим духовным содержанием.

Если вообще не следует жаловаться на судьбу, то тем менее приходится это делать мне, прожившему жизнь большого подъема, чрезвычайного разнообразия и захватывающего интереса. Не знаю, удастся ли мне на последующих страницах изобразить мои переживания достаточно полно и ярко. Естествоиспытатели редко обладают, подобно Бюффону или Гёте, даром художественной стилизации. Их нормальная сфера — не пылкое творческое изображение окружающей жизни или своего внутреннего содержания, а холодное, беспристрастное протоколирование произведенных ими опытов или наблюдений. Подобного рода объективностью я постоянно руководствовался не только в научных работах, но и в общественных выступлениях. Постараюсь соблюсти ее также в изложении жизненных переживаний.

Существует два способа писания мемуаров. В одних из них, например, в известных воспоминаниях графа С. Ю. Витте, повествуется о государственных событиях, но на каждой странице проглядывает личность автора. В других, как это выражено в немецком эпиграфе к настоящей вступительной главе, изображается жизнь автора, но в этом изображении выявляется основание и сущность пережитых им событий и фактов. Этому второму образцу я и постараюсь следовать.

II. ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ

«Пока надеждою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы».

Пушкин.

Дата моего рождения 14 марта (по стар. стилю) 1876 года, не представляет ничего занимательного, кроме того, разве, что в этом году скончался один из моих впоследствии любимейших биологов Карел Максимович Бэр, которого в естественно-научных кругах называют отцом современной эмбриологии. В специальной литературе его именовали, однако, до сего времени Карл Эрнст фон Бэр. Я совершенно определенно высказался за то, что нам, славянам, следует называть его по-русски, ввиду того, что он родился в тогдашней Эстляндии, был долгое время членом Российской Академии Наук и умер в пределах России. От него пошла в русской академии традиция интенсивной разработки вопросов, касающихся развития животных организмов, традиция, сохранившаяся там почти до последнего времени[1]. Я не был его последователем в эмбриологических изысканиях, но его теоретические воззрения, характеризующиеся глубокомыслием и быстротой ума, всегда казались мне одним из интереснейших явлений в истории естествознания. На них в значительной степени строилось мое научное миросозерцание.

---

[1] См. об этом мою книжку: **Ruští přírodovědci. Praha, 1927.**

Место моего рождения уже более тесно связано с именем другого выдающегося ученого, притом такого, в русскости которого никто сомневаться не может. Я родился в той квартире, в которой впоследствии умер В. О. Ключевский. Это было в Москве на Житной улице, в доме, который принадлежал моему деду, а впоследствии перешел во владение нашего знаменитого историка.

Мой коллега по Московскому университету, проф. А. А. Кизеветтер, ученик Ключевского, рассказывал мне о том, как он посещал его в этом доме, причем эти рассказы уснащал различными эпизодами, характеризующими подавляющее остроумие Ключевского. Не могу воздержаться, чтобы уже на этом, не совсем подходящем месте моих воспоминаний, не поделиться двумя эпизодами, сохранившимися в моей памяти. Один из них разыгрался в Троице-Сергиевской лавре, расположенной приблизительно в 60 верстах от Москвы, где Ключевский читал, в тамошней Духовной академии, параллельно со своим курсом в Московском университете, русскую историю. В академии было устроено, в связи с какой-то юбилейной датой, чествование любимого профессора, при котором, кроме студентов академии, присутствовало и много окончивших, часть которых уже была в монашеских одеяниях. После приветствий, обращенных к юбиляру, Ключевский выступил с ответной речью, которую начал так: «Благодарю вас всех, собравшихся здесь; благодарю и тех из вас, которые приняли уже образ ангельский, благодарю и тех, которые не утратили еще образа человеческого».

Другой эпизод произошел в стенах Московского университета, на первой лекции после того, как Ключевский в одной из своих публичных речей похвально высказался о внешней политике императора Александра III, политике, которая, по его глубокому убеждению, в противоположность внутренней политике, была благодетельной для России. Но революционно настроенная часть студенчества, которая преобладала в аудитории, сочла необходимым протестовать против

выступления своего любимого профессора, выступления, угодного правым политическим кругам. При появлении Ключевского она встретила его оглушительным свистом. Профессор спокойно оставался на кафедре, а когда демонстрация кончилась, обратился к аудитории и своим обычным, медлительно-размеренным тоном сказал: «Вот вы, господа, освистали меня. Но я на вас за это не в претензии. Ибо я считаю, что каждый человек может высказывать свое мнение средствами для него доступными».

Мне лично не приходилось вступать в какие-либо сношения с Ключевским, но в бытность ректором Московского университета я в своем ректорском кабинете сидел против портрета Василия Осиповича и, смотря на него, всегда чувствовал нравственную ответственность за свои действия не только перед профессурой и студенчеством, но и перед всей историей российской культуры.

Возвращаясь теперь к повествованию о моем детстве, я должен сказать, что у меня сохранилось мало воспоминаний о нем. Но некоторые моменты, как молния, врезались в мое сознание и выступают в нем до сих пор с полнейшей ясностью. Мне исполнилось лишь два года, когда окончилась русско-турецкая война, и я, как сейчас, вижу победоносные русские войска, возвращавшиеся с войны и проходившие перед нашими окнами. Помню и всеобщее одушевление окружавших меня.

Из торжественных общественных событий несколько более позднего времени помню похороны Н. Г. Рубинштейна. Похоронное шествие направлялось к кладбищу Данилова монастыря, т. е. через Серпуховскую площадь, в которую упиралась наша улица. Отец снял в одном из трактиров на площади окно, из которого мы и смотрели на пышное шествие. С полной яркостью я и теперь как бы вижу бесконечные, казалось, ряды молодых людей и девушек, которые по обеим сторонам улицы несли гирлянды из зелени и венки. Но особенно меня тогда восхитило то, что непосредственно за ка-

тафалком с гробом покойного ехал верхом на чудном белом коне московский городской голова Н. А. Алексеев. Теперь, когда я вспоминаю об этом, я прихожу в смущение по поводу того, зачем нужно было глубоко штатскому человеку, да еще в траурном шествии, выступать на белом коне. Но это была старая купеческая Москва, а Н. А. Алексеев, хотя был человеком просвещенным, много сделавшим для процветания столицы, всё-таки не был чужд некоторых странностей и эксцессов, присущих старозаветному русскому купечеству, так ярко изображенному в пьесах Островского. Говорят, что он отличался деспотической несдержанностью характера. Он погиб трагически, будучи убит каким-то манияком при входе в здание Городской думы. Впоследствии я был знаком с его вдовой, жившей в своем доме на Пречистенском бульваре, которая производила очень симпатичное впечатление и была вполне интеллигентным человеком. У ней я впервые увидел grill room, кухню необыкновенной чистоты и блеска, непосредственно примыкавшую к роскошно отделанной столовой. Так что, сидя за обедом, она могла контролировать действия своего повара, а подаваемая к столу пища была обеспечена от загрязнения какими-либо передаточными инстанциями. Это было идеальное устройство с точки зрения гигиенических правил И. И. Мечникова, всесветного ученого, которому, однако, его скромные средства не позволяли такой роскоши. Так московская купчиха осуществила то, о чем в разговоре со мной мечтал знаменитый гигиенист приблизительно четверть века спустя.

В мою детскую память должны были глубоко врезаться и те трагические переживания нашей семьи, о которых я говорил во вступительной главе. Хотя, конечно, от меня их старались всячески скрыть. Но помню, когда мне было примерно пять или шесть лет, и я гулял в саду при нашем доме, мой приятель Саша, сын тогдашнего владельца дома (от которого дом потом перешел к Ключевскому), обратился ко мне с вопросом: «Правда, Миша, что вы разорились?» — У меня

больно защемило сердце, но я с мальчишеской настойчивостью сдержал себя и спокойно ответил, что я ничего подобного не слышал. Однако, через некоторое время, вбежав неожиданно в спальню родителей, я был поражен представившимся мне зрелищем. Отец сидел на диване, опустив голову на руки, и громко рыдал. Мать немедленно вывела меня из комнаты, но тут я понял, что за вопросом Саши скрывается страшная правда. Это была первая трагедия, от которой разрывалось долго потом мое детское сердце. Прошло еще немного времени, и начались сборы, распродажа мебели, а затем состоялся переезд нашей пятичленной семьи из хорошей квартиры в одну комнату.

Наступила полоса бедственного существования, которое уже вполне ясно сохранилось в моей памяти. Но всё в нашей жизни относительно. С точки зрения некоторых периодов нашего теперешнего изгнаннического существования, тогдашняя жизнь нашей семьи, над которой все окружающие с соболезнованием охали и ахали, не была лишена некоторого комфорта. К нашей, довольно обширной комнате примыкала кухня и коридор. В кухне жила кухарка, которую, правда, потом, при обострении бедности, пришлось отпустить. Обеды составлялись из щей или супа с мясом и из каши с маслом или молоком или какого-нибудь другого молочного кушанья. Так что по здешнему, заграничному, получался обед из трех блюд: суп, мясо и мучное, что в нашей эмигрантской жизни представляется роскошью. А когда я несколько лет тому назад, уже известный ученый и общественный деятель, пришел домой в окрестностях Праги, где мы с женой занимали примитивно оборудованную комнату в деревенской гостинице, и сказал ей, что правительство предоставляет мне трехкомнатную квартиру с садом, моя жена пришла в негодование, говоря, что она не в силах справиться с такой обширной квартирой. Так снизился наш standard of life. А может быть это не только частное, но и более общее явление, следствие прокатившихся над Европой войн и революций.

Мое личное положение, после разорения семьи, смягчалось тем, что я, будучи любимцем деда и бабушки по матери, Огородниковых, владельцев торговли заграничным деревом, часто и подолгу гостил у них. Дед рано умер, а бабушка, отличавшаяся одновременно добротой и решительностью, много лет, до глубокой старости, самостоятельно вела свое торговое дело. Ко мне она питала столь нежное чувство, что, когда была маленькой древней старушкой, а я уже был членом Государственной Думы, человеком довольно высокого роста, она, по старой привычке, при переходе через мостовую, заботливо хватала за руку своего Мишеньку, чтобы он не попал под трамвай.

Вместе с этой бабушкой жила другая бабушка, ее золовка, которая помогала в ведении хозяйства и свою любовь ко мне проявляла всевозможными яствами: сдобными лепешками, крупениками, в приготовлении которых она была недосягаемой мастерицей, и т. п.

Территориальное положение бабушкиной квартиры, так же, как и нашей старой, примечательно в связи с моей последующей судьбой. Эта квартира помещалась в особнячке в Стремянном переулке, выходящем на Серпуховскую улицу. А впоследствии на месте этого особнячка и соседних с ним домов было воздвигнуто прекрасное здание Московского коммерческого института. Это был род политехникума, в котором я долгие годы занимал должность профессора сравнительной анатомии. Таким образом, на одном и том же клочке земли я прожил две, совершенно различные полосы моей жизни. Сначала я неистово бегал там, изображая казаков, разбойников или индейцев, лазил по деревьям в саду, уничтожая на яблонях гусениц, или спускался на дворе в глубокую яму с опилками, над которой специалисты пильщики распиливали на доски разные заграничные деревья, как, например, могучие, чуть ли не в метр толщиной стволы красного дерева и американского ореха, стройные пальмы, душистые кипарисы, более тонкие и корявые стволы необычайно крепкого черного и розового дерева и т. д. В опилках

я часто находил необыкновенных для наших широт, экзотических жуков, которые задерживались при транспорте в древесной коре, из которой выпадали при пилке дерева. Тогда они служили мне для детских игр. Лишь потом, когда я на том же клочке земли величаво выступал в качестве учителя студенческой молодежи, я неоднократно жалел, что не могу больше собирать эти экзотические формы, из которых было бы можно составить интересную коллекцию, полезную для преподавательских целей. Не исключена возможность, что среди этих форм оказались бы виды, еще неизвестные в зоологической литературе.

Вообще должен сказать, что описываемая полоса моего детства протекала в типичной замоскворецкой обстановке, изображенной Островским. Дом бабушки делился на две половины. Одна называлась «чистой» и состояла из традиционных зала и гостиной, из спальни бабушки, в которой также жила ее вторая дочь, моя приятельница детства и почти ровесница «тетя Лиза», и комнаты моей прабабушки. В так называемой «другой» половине находились столовая, кухня, комната, в которой спали моя вторая бабушка и я, и наконец, комната трех приказчиков. Эта «приказчичья» была постоянным предметом моих вожделений, но мне было запрещено ходить туда. Было так интересно поболтать с молодыми, веселыми ребятами и послушать их занимательные рассказы о торговле, городских сплетнях, а главное о деревенской жизни. Запрещение вытекало, повидимому, из каких-то классовых соображений. Опасение, что я научусь от приказчиков чему-то дурному, вряд ли могло существовать, потому что моральный уровень всей нашей среды был тогда весьма высокий. Так напр., когда однажды в приказчичьей зашел разговор о том, что у соседней прислуги, незамужней, должен появиться ребенок, я с детской запальчивостью стал доказывать, что это невозможно, ибо дети могут рождаться только после церковного бракосочетания. Приказчики посмеивались надо мной, но диспут кончился моим провозглашением, что они не-

образованные люди и ничего не понимают. Несмотря на наши панибратские отношения, никто из них не решился ввести меня в таинственный мир сексуальных явлений. Этот мир оставался мне чуждым и в первый период моей юности, когда я, читая романы, удивлялся, зачем авторы описывают различные любовные приключения, ухаживания и т. п., хотя в окружающей жизни ничего подобного не встречается.

День в доме бабушки начинался рано, около 6 часов утра, когда все пили чай с хлебом. Потом приказчики, а вслед за ними и бабушка, отправлялись в «город» торговать. Лавка помещалась еще на моей памяти в старых торговых рядах, громадном здании, тянувшемся вдоль всей Красной площади[2]. Это было низкое, но красивое здание, насколько припоминаю, в стиле ампир. Несмотря на его ветхость и неудобства внутреннего расположения, его долго не решались снести, как памятник художественной старины. Но, наконец, поставили на другой стороне площади, около кремлевской стены, временные торговые ряды. Эти ряды были построены из гофрированного железа, так что торговцы в них испытывали зимой, при отсутствии отопления, жесточайший холод, согреваясь только горячим чаем, который пили почти в течение целого дня. Летом, наоборот, железо раскалялось от солнца, и в лавках создавалась тропическая жара, от которой лечились также горячим чаем, вызывавшим обильную испарину, освежавшую тело. Это мучение продолжалось много лет, пока не выстроили новые торговые ряды, трехэтажное здание с центральным отоплением, широкими пассажами, «модерными» магазинами. Но это здание с его затейливым, каким-то псевдорусским стилем, отнюдь не служит украшением величественной Красной площади. Вообще надо сказать, что в наш век в России

---

[2] Кроме этих, так называемых Верхних рядов, расположенных между Никольской улицей и Ильинкой, вниз от этой последней улицы, по направлению к Москворецкому мосту, находились также весьма обширные, но менее репрезентабельные Средние и Нижние торговые ряды.

утратился архитектурный вкус. Одно время строители увлекались неискусными подражаниями разным стилям, от старинно-русского до мавританского, а затем заменили архитектуру конструктивностью и стали строить плоские, не радующие глаз ящики с отверстиями для окон.

Жизнь в старых торговых рядах, а отчасти и во временных, была сурова и своеобразна. Никакого официального ограничения времени для торговли не было, и она продолжалась с раннего утра до вечера без какого-либо обеденного перерыва. При этом приказчики, или, как их обычно называли, молодцы, всё время обязаны были стоять на ногах. Садиться, даже в свободное от покупателей время, им не полагалось. Стоять они должны были перед входом в лавку и «зазывать» покупателей, т. е. выкрикивать различные сорта товаров и приглашать проходящих. Зазывание особенно процветало в знаменитой «ножовой линии» старых рядов, где торговали скобяным товаром и где молодцы, а часто и хозяева не только устно рекламировали свои товары, но хватали проходящих за руки и силой тащили в свои лавки. Этот обычай возник на основе конкуренции. В ряду или в линии сосредоточивалось много лавок, торговавших однородным товаром. Люди по рядам обыкновенно зря не ходили, и каждый прохожий с большой долей вероятия считался покупателем. Поэтому торговцы и старались завлечь его к себе всеми доступными для них средствами.

В полдень торговля затихала, мальчики и младшие служащие мчались в ближайшие трактиры за кипятком для чая, а ряды наполнялись разносчиками, продававшими разные закуски. Чаще всего это была горячая или холодная колбаса, ветчина или другие мясные продукты. Меня, однако, когда мне удавалось бывать в лавке, больше привлекали жареные пирожки «с пылу, с жару, пятачок за пару». Но можно было получать и более изысканные блюда. Так, по рядам ходил продавец, особенно тщательно и опрятно одетый, торговавший пирожками с начинкой из дичи. Покупав-

шие у него обыкновенно спрашивали: «Что же ты воробьев что ли туда наложил?» На что он с неизменной учтивостью отвечал: «Никак нет-с. Самые лучшие рябчики-с». А наибольшая роскошь, которая оценивалась, кажется, в 15 копеек, состояла в том, что другой опрятный разносчик открывал свой продолговатый лоток, на котором красовалась громадная, сочная осетрина, отрезал кусок, аппетитно обрамленный тонкой оторочкой желтого жиру, накладывал на половину пеклеванного хлеба и на чистой бумаге подавал покупателю. Это было много вкусней, чем закуски в прославленном рыбном ресторане, называющемся, кажется, Prunier, в Париже.

Наследием глубокой старины была продажа «грешников», особых хлебцев полуконусообразной формы, приготовленных из гречневой муки, обильно пропитанных постным маслом и очень не вкусных. Продавался и старинный «сбитень», горячий напиток, который разносили в закутанных чайниках. В состав его должен был входить мед, но он заменялся обычно патокой, которая не придавала ему приятного вкуса. Этот напиток предпочитали старообрядцы, почитавшие чай за поганое заморское зелье.

Вечером происходила так называемая «заборка», т. е. товары, которые при начале торговли выкладывались для вящего привлечения покупателей в проход перед лавкой, снова убирались внутрь лавки, которая запиралась тяжелым замком, и торговцы отправлялись большей частью в свое далекое Замоскворечье, где ужинали и ложились спать. Обед у них таким образом бывал только по праздникам.

В общем уклад жизни в тогдашних купеческих домах средней руки был монотонно-патриархальный (в доме бабушки матриархальный). Беспросветная скука была частой гостьей в этих домах. Общественной жизни никакой не было. Знакомств не водилось, и только родственники посещали друг друга по праздникам. Разнообразие жизни сводилось главным образом к тому, что строго держались посты и торжественно справ-

лялись большие праздники. На масляной неделе ежедневно пеклись блины, причем для приказчиков это устраивалось в 6 часов утра, перед отходом в город. Ограничений никаких не полагалось, развивался даже какой-то спорт в обжорстве, и приказчики после этого завтрака медлительным шагом, вперевалку отправлялись в город, чтобы там хвастаться перед соседями, кто сколько блинов съел. При этом счет иногда велся не на отдельные блины, а на дюжины. Да и вообще в Москве как в семьях, так и в ресторанах масляничное объядение считалось нерушимой традицией. Талантливейшее изображение этого жратвенного дурмана находим в одной из сценок Горбунова. Своего апогея масляничное настроение достигало на народном гулянье, на Девичьем поле, где для этой цели строились не только палатки для продажи напитков и сластей, не только всевозможные карусели, но и обширные балаганы, в которых ставились исторические пьесы неизвестных авторов, отличавшиеся изобилием сражений, драк, разбойничьих нападений, плясок и других атракционов, привлекательных для простонародья.

По окончании масленицы, в «чистый» понедельник наступало мгновенное перерождение. Уличный шум и гам затихал, и тишина прерывалась лишь унылым, покаянным звоном церковных колоколов, да иногда короткими выкриками какого-нибудь, еще не проспавшегося от пьяного угара забулдыжки. Во всём настроении Москвы чувствовался великий пост. Но для домашних хозяек вырастала новая забота. Надо было отправляться на грибной торг, который раскидывался на широком просторе набережной Москва-реки. Этот рынок устраивался только раз в году, на первой неделе поста, и на него крестьяне из окружающих Москву селений привозили в громадном количестве сушеные и соленые грибы, кислую капусту и другие постные продукты.

В противоположность к этому рынку, который проходил под знаком наступающих дней молитвы и покаяния, другой торг, вербный, который устраивался в вербную субботу и воскресенье на Красной площади,

отличался чрезвычайным, радостным оживлением. Он совпадал обыкновенно с разгаром весны, когда Москва освобождалась от тяжелого снежного покрова, когда по улицам весело журчали ручейки от таявшего снега, когда начинали зеленеть трава и деревья, а солнышко посылало свои теплые, ласковые лучи на огромные толпы народа, циркулировавшего между палатками, в которых продавались уже не хмурые продукты постного обихода, а всевозможные яства, игрушки и наряды. Радостное настроение подбадривалось окончанием поста и предстоящим праздником Пасхи. Это настроение нашло себе чудесное выражение в одном из рассказов Шмелева. А на свободной от торга стороне Красной площади, примыкающей к торговым рядам, устраивалось «катанье». Медленным шагом проезжали тут в собственных экипажах московские богачи, щеголяя друг пред другом своими конями и выездами. Подобное катание устраивалось и 1-го мая в Сокольничьем парке под Москвой. Вообще 1-ое мая, насколько я помню, искони праздновалось в Сокольниках. Но это был праздник не классовый, а всенародный. Богачи монотонно катались в своих колясках, а люди среднего класса и рабочие разгуливали по роще и устраивали оживленные пикники. Разухабистые звуки гармошки и веселое пение еще более повышали весеннее ликование.

В большие праздники, на Пасху и Рождество, семейная замкнутость, о которой я упоминал выше, прерывалась. С раннего утра в зале у бабушки накрывался стол, обильно уставленный винами и закусками. Появлялось духовенство из приходской церкви и из знакомых монастырей. Пелись соответствующие праздничные молитвы, а потом священники и дьякона с удовольствием принимались за закусывание. Характерно для тароватой, но в то же время и экономной купеческой Москвы было то, что для духовных особ, некоторые из которых, особенно дьякона, отличались пристрастием к спиртным напиткам, кроме различных водок и домашних наливок, покупалось особое, деше-

вое, сладкое вино, так назыв. лиссабонское. Во время предпраздничных покупок галантный приказчик винно-гастрономического магазина иногда напоминал покупателю: «А лиссабончика для духовенства не прикажете-с?». Это вино, считавшееся виноградным, на самом деле изготовлялось в Москве. И вообще Москва была мастерицей в фабрикации «виноградных» вин, несмотря на то, что от винодельческих районов она удалена на много сотен километров. По тогдашней, а также позднейшей статистике, из Москвы, помимо внутреннего потребления, вывозилось больше виноградных вин, чем ввозилось в нее.

Кроме духовенства, в течение почти целого дня приходили с визитами родственники, знакомые, а иногда даже малознакомые люди. Некоторые к концу дня так «навизитеривались», что входили нетвердой поступью, бормотали что-то невнятное и быстро ретировались. Но оживление от всего это было как в домах, так и на улицах, чрезвычайно большое. Поэтому меня поражал впоследствии в Германии пустынный вид улиц в праздничные дни.

Пасхальное настроение поддерживалось в течение целой недели, улицы беспрестанно оглашались нескладным, но веселым церковным звоном. Колокольни на эти дни не запирались и усердно посещались любителями позвонить, особенно уличными мальчишками. После первого дня, в течение которого визиты делались только мужчинами, начиналось хождение друг к другу в гости целыми семьями, устраивались поездки за город и другие развлечения.

Своеобразным праздничным придатком по окончании пасхальной недели была «красная горка», когда, после долгого великопостного перерыва, снова разрешались свадьбы, и улицы Москвы пестрели многочисленными свадебными поездами. О свадебных обычаях в замоскворецкой среде я расскажу дальше.

Рождественские праздники — Святки растягивались на две недели, от Рождества до Крещения. Правда, торговля, кроме первых дней, производилась без

ограничения, но в городских рядах «забирались» обыкновенно пораньше, так что оставалось достаточно времени на вечерние развлечения. Устраивались вечеринки с ряжеными, с гаданьем. Елки в частных домах были сравнительно редким явлением. Но в манеже, огромном здании, служившем для военных упражнений, устраивалось гулянье с колоссальной елкой, с которой детям раздавались подарки. Однако, самым выдающимся событием, которое приноравливалось обыкновенно к святочным праздникам, было посещение театра. Нас, детей, возили в балет или на феерию. Великим мастером ставить эти последние был М. В. Лентовский. Бралась театральная ложа, в которую забирались заблаговременно, когда еще не зажигалась люстра. Самое зажигание этой газовой люстры уже представляло для нас занимательное зрелище. А легкий запах светильного газа, который распространялся при этом в театре, казался нам восхитительным ароматом. В ложу брался с собой и значительный запас продовольствия, которым нас пичкали перед спектаклем и во время антрактов. Но никакие лакомства не представлялись нам привлекательными из-за волнения, испытываемого от театрального зрелища. Когда открывался занавес, душа буквально растворялась в чарующей сказке. И долго потом унылые будни скрашивались воспоминаниями о чудесах, виденных на театральной сцене.

Будничная монотонность жизни нарушалась в семьях, где были взрослые дочери, в связи с заботами об их замужестве. Такие заботы лежали всецело на родителях девушки. Облегчались они особым, весьма многочисленным в Замоскворечьи сословием свах. Эти ловкие, предприимчивые женщины собирали сведения о женихах и невестах. Придя к родителям невесты, сваха говорила: «Слышала я, что у вас есть товар в доме; а я бы нашла хорошего покупателя: не хотите ли дельце сделать?» И начинала расписывать достоинства знакомых ей молодых людей. Если родители, как говорилось, клевали на эту удочку, то назначались смотрины, спервоначалу очень отдаленные. Обыкновенно

снимались две ложи на противоположных сторонах театра, одна для семьи жениха, другая — невесты. Сваха циркулировала между ними. В случае, если семьи при таком отдаленном наблюдении производили друг на друга благоприятное впечатление, в антракте завязывалось знакомство, которое еще не имело никакого связывающего характера. С обеих сторон начинались через посредство различных знакомых «опросы» относительно нравственных качеств и характера жениха и невесты, а также о степени порядочности и благосостояния их семейств. Если эти опросы давали благоприятные результаты, устраивались уже настоящие смотрины, причем жених со своими родителями, а также сваха приглашались в гости к невесте. Тут сводилось более близкое знакомство, и непосредственно между родителями или при посредстве свахи велись переговоры об условиях «купли-продажи», т. е. о приданом невесты как денежном, так и натурой (одеждой, бельем, ценными вещами и т. д.). Иногда за смотринами следовал еще торжественный сговор или помолвка, вечеринка, на которую сзывались и ближайшие родственники. Рассказывают, что бывали случаи особой осторожности с жениховой стороны, вытекавшие из боязни, нет ли у невесты каких-либо физических недостатков, искусно скрытых туалетом. В этом случае, при котором требовалась особая ловкость со стороны свахи, устраивалось, как-бы случайное совместное посещение бани невестой с ее матерью, а также матерью или другой доверенной родственницей со стороны жениха. Невеста рассматривалась таким образом, действительно, как товар, который надо тщательно исследовать перед покупкой. Вообще отношение к женскому полу в среде тогдашнего, да и позднейшего среднего купечества было довольно презрительным. Как-то сошлись двое купцов-приятелей, давно не встречавшихся, и между ними произошел следующий диалог: «Ты уж, поди, и женился за это время? — Женился. — И детки есть? — Как же, двое. — Что ж мальчики будут? — Нет, второй сорт-с».

После вышеописанных перипетий сватовства организовывалась свадьба, которая слагалась из трех главных актов. Во-первых, благословение образом в доме невесты, которое совершалось в торжественной обстановке, в присутствии большого количества гостей. Служился молебен, а затем родители жениха становились рядом, держа в руках один — образ, а другая — хлеб-соль. Жених и невеста трижды кланялись им в ноги, потом прикладывались губами к иконе и хлебу, и целовались с родителями. Затем икону брала мать, а хлеб отец, и снова повторялось коленопреклонение и целование. После этого подобную же процедуру благословения совершали родители невесты. Тут же, жених и невеста получали обручальные кольца. По окончании этого трогательного обряда, при котором невеста, в предвидении близкой разлуки со своей семьей, иногда разливалась горькими слезами, начинался веселый пир.

В течение нескольких дней, а иногда и нескольких недель, протекавших от благословения до свадьбы, в доме невесты царило непрестанное оживление. Каждый вечер приезжал жених, привозя невесте коробки конфет или более ценные подарки. А целые дни уходили на приведение в порядок, обыкновенно давно уже заготовленного приданого.

В последний вечер перед свадьбой в доме невесты совершался торжественный акт делового характера — девишник. Семья жениха являлась в дом невесты, где, как на выставке, раскладывалось всё приданое невесты. Заготовлялась и роспись приданого, относительно содержания которой было договорено уже раньше. Жених принимал по росписи приданое, которое тут же укладывалось в сундуки и отвозилось на его квартиру. Возникали при этом и споры, например, на тему о том, что вместо трех дюжин сорочек оказывалось только две или нехватало договоренного бархатного платья. Но профессионально-ловким посредничеством свахи эти недоразумения обыкновенно ликвидировались. Тут же вручалось жениху и денежное приданое. Конец вечера посвящался иногда прощанию невесты со своими по-

другами, которые пели ей традиционные, для этого случая составленные песни.

Самая свадьба организовывалась семьей жениха, обыкновенно с большой пышностью. Приглашалось большое количество гостей, так что для бала или торжественного ужина, следовавшего за церковным венчанием, снималось обширное помещение. Для невесты подавалась роскошная карета, украшенная золотом и запряженная четверкой лошадей цугом.

На другой день молодые получали от присутствовавших на свадьбе торты и иные подарки, а сами делали им благодарственные визиты. На этом кончалось праздничное оживление и жизнь вступала в монотонную полосу размеренных будней.

Нарисованные выше картинки замоскворецкого быта основаны, разумеется, не только на непосредственных воспоминаниях шести-семи летнего мальчика, но и на моих последующих наблюдениях, а также на рассказах старших.

О себе лично должен еще добавить, что благополучная жизнь в доме бабушки отравлялась заботами об отце, матери, а также о младших сестре и брате, которые пребывали в гораздо более бедственном состоянии. Особенно тяжело бывало на душе, когда я на некоторое время уходил домой, а потом снова возвращался к бабушке. В первом случае передо мною развертывалась картина беды, а во втором — душа наполнялась угрызениями совести, что я лично из этой беды ушел.

Приблизительно к этому времени или к несколько более позднему, относится мое поступление в школу, которое, как и многое другое в моей жизни, было весьма парадоксальным. В нашем районе Замоскворечья не было подходящих школ. Но зато там находилась прекрасная частная женская гимназия, одна из начальниц которой оказалась старой подругой моей матери. И вот меня незаконным способом приняли туда в приготовительный класс. Таким образом из матриархальной семьи бабушки я попал в женскую школу. Девочки от-

неслись, конечно, с недоверием к такому белому воробью, притом стеснявшемуся и молчаливому в их вечно щебечущей среде. Начались высмеивания и задирания, от которых меня не могла защитить и тетя Лиза, учившаяся в той же гимназии во втором классе. Наконец, когда я несколько привык и присмотрелся к новой среде, во мне пробудился дух мальчишеского героизма, что скоро привело моих одноклассниц в паническое состояние. Посыпались жалобы классной наставнице. Неопровержимой степенью доказательности, как сейчас помню, отличались жалобы девочки Щукиной. У ней была чрезвычайно чувствительная кожа, так что моя пощечина запечатлевалась у ней на лице с фотографической точностью. Воспитательница примеряла мою руку к краеному пятну, и наказание было для меня обеспечено. Но не менее обеспечено было и дальнейшее воздействие с моей стороны по отношению к фискалке.

Этот героический период моей жизни скоро, однако, закончился. Перед святками гимназию посетил правительственный инспектор. Начальница спрятала меня от него в свою комнату, а я, по собственной инициативе, для вящей безопасности, залез под кровать, где на холодном крашеном полу пролежал несколько часов. Результатом была сильная простуда, продолжительная болезнь, после которой я больше в гимназию не вернулся.

Вскоре после этого родители начали задумываться о моем среднем образовании. Отец исходил из соображения, что гимназии и реальные училища не дают целостного, законченного обучения, являясь как бы подготовкой к поступлению в высшие учебные заведения. А это последнее, при его скромных материальных средствах, казалось ему недоступным. Поэтому было решено поместить меня в коммерческое училище, где давалась полная подготовка для торговой и вообще хозяйственной деятельности. Я считался способным мальчиком и были все основания предполагать, что по окончании курса я сделаю хорошую служебную карье-

ру в каком-нибудь банке или большом торгово-промышленном предприятии и этим не только обеспечу свою личную жизнь, но помогу и всей семье выйти из бедственного состояния. Итак, была приглашена учительница, с которой я занимался несколько месяцев, после чего, осенью 1886 года успешно сдал вступительный экзамен и был зачислен в первый класс Московского коммерческого училища. Это было своеобразное учебное заведение, независимое от Министерства народного просвещения, в котором в то время господствовала, иссушающая мысль, узко классическая система министра Делянова. Находясь в особом ведомстве Учреждений императрицы Марии, которому принадлежало значительное количество учебных и благотворительных учреждений, оно пользовалось несравненно большей свободой. А с другой стороны, и программа его была разработана весьма целесообразно, давая воспитанникам и общее развитие, и довольно широкие познания. Первые шесть классов были посвящены общему образованию, в котором значительную роль играло преподавание естественных наук. Так, для обучения физики была устроена особая аудитория, так что уроки постоянно сопровождались показыванием опытов. По химии велись, кроме теоретического курса, специальные практические занятия в лаборатории, при которых ученики упражнялись в производстве качественного анализа. На преподавание ботаники и зоологии также отводилось значительное число часов. Преподавателями на некоторые из этих предметов приглашались приват-доценты или ассистенты университета. Например, химию одно время преподавал Реформатский, биологию — Корчагин. Уроки этих молодых ученых часто сводились к увлекательным лекциям, из которых ученики черпали любовь к природе и готовность погрузиться в более глубокое ее изучение. Реальный характер образования подчеркивался и широтой преподавания новых языков. Кроме французского и немецкого языков, которые фигурировали в программе всех восьми классов, с пятого класса препода-

вался еще английский язык. Конечно, применительно к тогдашней, слабо разработанной методике, преподавание языков носило преимущественно теоретический характер. При этом заучивание наизусть стихотворений и прозы играло доминирующую роль. Особенно нелепо было обучение немецкому языку. Так, весь курс шестого класса сводился к зазубриванию Минны фон Барнгельм Лессинга, курс седьмого класса — Марии Стюарт, а курс восьмого класса — Орлеанской девы Шиллера. Зубрили мы чисто механически, иногда даже не всё понимая, и преподаватель, задавая нам выучить «от сих и до сих», совершенно не заботился о том, чтобы пояснить нам историческое значение и художественные красоты изучаемых классических произведений. Может быть, он и сам не был в этом отношении достаточно компетентен. А преподаватель английского языка, австриец по происхождению, по фамилии Каспари, отличавшийся вспыльчивым характером и не умевший поддерживать в достаточной мере классную дисциплину, имел привычку задавать в наказание за проступок чрезвычайный урок в виде многократного переписывания какого-либо отрывка из учебника. При этом между ним и учеником происходил следующий диалог: «Пыши, батушка, к следующему уроку десять раз «Impatient patient» (заглавие анекдота из учебника Нурок). — «Что ж такое, я могу хоть и двадцать раз переписать». — «Пыши, пожалста, пятьдесят раз». — «Это мне ничего не значит; могу и сто раз». — «Пыши, батушка, пожалста, двести раз». На этом, обыкновенно, пререкания заканчивались, а на след. день ученик отказывался отвечать все другие уроки, оправдываясь тем, что он должен был писать двести раз «пешен пешен». Иногда дело доходило, повидимому, до учительской конференции, и, в конце концов, австрийцу было поручено преподавание немецкого языка в младших классах, а на английский язык пригласили типичного, невозмутимого англичанина, при котором и дисциплина и обучение пришли в должный порядок. Справедливость требует, однако, отметить, что, несмотря на эти недо-

статки, преподавание новых языков в коммерческом училище стояло всё-таки на более высоком уровне, чем в тогдашних московских гимназиях и реальных школах.

Большая часть программы двух последних классов была посвящена предметам, необходимым для будущего торговца, промышленника или хозяйственника. Уже самая обстановка классных помещений должна была приучать учеников к их будущей деятельности. Вместо школьных парт там стояли конторки с высокими табуретами. Очень основательно преподавалась бухгалтерия и торговая корреспонденция. А кроме того, политическая экономия и основы законоведения. Учителями этих предметов были в мое время два университетских доцента: сначала пылкий южанин Доробец, а потом размеренно холодный Хвостов. Оба они приобрели популярность в академических кругах, в связи с магистерской диссертацией Хвостова, по поводу которой Доробец опубликовал резко критическую рецензию под заглавием: «Как не надо писать диссертации». Хвостов не остался в долгу и ответил уничтожительной для своего противника брошюрой, озаглавленной: «Как не следует писать рецензии». Впоследствии Доробец исчез из академического поля зрения, а Хвостов сделался ординарным профессором Московского университета, где и читал до большевистского режима, до своей трагической смерти, о которой я расскажу в одной из последующих глав.

Прекрасной постановкой дела отличалось преподавание товароведения, находившееся в руках Я. Я. Никитинского, который был в Москве личностью весьма популярной. Он преподавал во многих средних и высших школах, так что чуть ли не третья часть интеллигентных москвичей были его учениками. У него были великолепно поставлены практические работы по анализу товаров, которыми мы с увлечением занимались. Впоследствии он сделался профессором Императорского технического училища в Петровской сельско-

хозяйственной академии, а затем деканом и ректором уже упомянутого выше Коммерческого института.

Директором нашего училища был К. Н. Козырев, способный администратор, который привел в порядок до того распущенное учреждение. Он был страстным поклонником астрономических наук и сделался впоследствии председателем основанного им кружка любителей астрономии. В случае отсутствия кого-либо из преподавателей он читал нам интереснейшие лекции о звездах и планетах. Не плохой, в сущности, человек, он возбудил, однако, в учениках к себе ненависть благодаря своему несдержанному, истерически-вспыльчивому характеру. Когда он узнавал о какой-либо серьёзной провинности, он в разъяренном состоянии, дрожа всем телом, почти бегом устремлялся в класс и начинал неистово кричать на учеников, причем стоявших в передних рядах часто ударял по лбу согнутым пальцем. У меня лично, особенно во время моего пребывания в старших классах, когда определенно выяснилось мое оппозиционное настроение, сложились неприязненные с ним отношения. Но люди — существа психологически сложные и многосторонние, а потому их взаимоотношения часто завязываются на основе того, каким аспектом своей духовной природы они обращены друг к другу. Впоследствии, когда я встречался со своим бывшим грозным директором в заседаниях Императорского московского общества испытателей природы, на почве нашего общего пристрастия к естествознанию, от неприязненности не осталось и следа. А взаимные симпатии расцвели в полной мере, когда мне, в качестве лица, руководившего делом народного просвещения в Государственной Думе, пришлось посодействовать процветанию астрономического кружка предоставлением ему правительственной субсидии.

Что касается воспитательского персонала, то большинство его было не на высоте, являясь как бы наследием старых времен, изображенных в очерках бурсы Помяловского. Так, один из воспитателей-немцев

кричал на провинившегося ученика: «ногой в ухо дам», хотя и не мог осуществить этой угрозы по причине своей солидной комплекции. Другой немец схватывал в рекреационном зале, во время перемены между уроками, какого-нибудь шалуна за шею и терпеливо ждал достойного ему компаньона. Потом, держа обоих за шеи, несколько раз пребольно стукал их лбами. Третий усовершенствовался в проведении пальцами по голове против волос, чем вызывалась жестокая боль, и т. д.

И среди учителей встречались проявления подобных педагогических приемов. Так, преподаватель русского языка, между прочим, любимец воспитанников, бил их весьма чувствительно по головам, не только для наказания, но и в виде поощрения, толстыми резинками, которые служили ему для связывания тетрадей с диктантами. Учитель чистописания грозил посадить неудачных каллиграфов на цепь, говоря, что цепи для этой цели им уже заказаны. А добродушный старичок — учитель рисования, когда ученик жаловался ему, что не знает с какого конца начать данный ему для копирования рисунок, каким-то замогильным голосом вещал: «А когда тебе дадут пирог, ты знаешь с какого конца начать его. А еще молишься: Преблагий Господи». Не менее остроумное замечание делал учитель гимнастики, по фамилии Титце, когда ученик задевал ногой за веревочку, через которую должен был перепрыгнуть. «Ти глюп, тюп и неразвит», говаривал он и награждал виновного несколькими ударами привязанной к концу веревочки гири по самой мягкой части тела, рассчитывая, повидимому, этим способом усовершенствовать его умственные способности.

Отзвуки старых бурсацких времен были живы и в ученической среде. Правда, наказание за нетоварищеский поступок посредством «темной», т. е. набрасыванием одеяла и нещадным битьем не видящего своих палачей провинившегося, практиковалось, да и то весьма редко, лишь в первые годы моего пребывания в

училище. Но с упоением рассказывалось о прежних героических временах, когда «темная» была обычной мерой воздействия не только по отношению к сотоварищам, но даже и к воспитателям во время их ночевок в ученическом дортуаре. В мое время обычным проявлением массового недовольства в ученической среде было «гудение». Оно применялось чаще всего для выражения протеста против недостатков по продовольственной части. В огромной столовой, где собиралось к завтраку свыше 500 учеников, вдруг раздавалось громкое, зловещее гудение, которое производилось всеми с закрытыми ртами, так что никаких виновников нельзя было выделить из общей гудящей массы. В этих случаях нервозность директора доходила до размеров патологических. Он бегал между столами, истерически кричал не только на учеников, но иногда и на воспитателей, ударял учеников по головам, но был бессилен против стихийного проявления недовольства. При приближении его к одному концу столовой, гудение здесь замирало, но тем с большей силой оно раздавалось на противоположном конце и т. д. Обыкновенно такое революционное действие приносило желанные результаты. Производилось расследование и пища улучшалась.

Мое личное пребывание в училище ознаменовалось двумя метаморфозами. Одна из них носила чисто формальный характер. Я поступил в первый класс приходящим учеником, а когда перешел в третий класс, материальное положение отца настолько ухудшилось, что он должен был исхлопотать для меня стипендию, что было связано с жизнью в школьном пансионе. Попав из семьи, преимущественно женской, в громадное мужское общежитие, я чувствовал себя первое время, как рыба, выброшенная на берег. Я заливался горькими слезами, когда в положенный для этого день — в среду, домашние приходили навещать меня, а потом с нетерпением ждал субботы, чтобы на воскресный день отправиться домой. Правда, гнетущая бедность семейной обстановки не могла быть для меня источником

радости, но всё же общение с родными, хотя бы и на фоне горестей и печалей, было для меня привлекательней, чем казенная обстановка школьного пансиона и грубая среда товарищей, испытывавших новичка путем всяческих издевательств.

Мое положение в товарищеской среде явилось как бы почвой для второй метаморфозы более глубокого внутреннего характера. Мягкость и застенчивость моей природы, подчеркнутая пребыванием исключительно в женском обществе, наряду с женоподобностью моего лица, служили в первые годы пребывания в училище неистощимым поводом насмешек и издевательств не только со стороны товарищей, но иногда и преподавателей. Отчетливо помню, как меня точно кипятком обдало при замечании учителя французского языка: «Вы можете быть миловидным сколько вам угодно, но двойку я вам всё-таки поставлю». На что последовал взрыв хохота целого класса, а потом многодневные, обидные для меня комментарии. Мне дали прозвище «Катя», которое мне казалось верхом унижения. В классе было несколько «сильных», и единственным средством откупаться от их особенно назойливых и грубых приставаний была отдача гостинцев, которые мне приносили из дома.

Несмотря, однако, на все эти огорчения, мое учение проходило успешно. Правда, я никогда не поднимался до положения первого ученика, которое было похвально с точки зрения начальства, но возбуждало презрительное к себе отношение со стороны сотоварищей и часто связывалось с кличкой «зубрила». У меня не было больших способностей к механическому зазубриванию, что и явилось поводом к следующему парадоксальному обстоятельству. Самым слабым предметом был у меня немецкий язык. Преподаватель, он же и воспитатель, грозивший дать ногой в ухо, считал меня совершенно неспособным усвоить этот предмет. Как бы он подивился, однако, если бы узнал, что на немецком языке я впоследствии читал лекции и докла-

ды на международных ученых съездах и написал свыше тысячи страниц ученых работ, рефератов и т. п.

Итак, не будучи зубрилой, я старался проникать, насколько это было возможно, в глубину и сущность изучаемых мною предметов — свойство, которое помогло мне впоследствии стать научным исследователем. А в школьное время мне приходилось, благодаря этому, нередко выступать в роли помощника своим одноклассникам при приготовлении ими уроков. Это относилось особенно к геометрии, когда нам задавали какую-либо сложную теорему. Утром, перед началом уроков, когда у всех были еще свежие головы, я объяснял ее целому классу, притом в выражениях более простых и удобопонятных, чем это стояло в учебнике. Естественным следствием такого способа приготовления уроков с затратой минимальной энергии было чувство благодарности и уважения ко мне со стороны товарищей. Помню, как однажды, после такого удачного объяснения, один из «сильных», мой бывший преследователь, с нежной трогательностью обнимал меня, приговаривая: «ясная ты моя головушка».

Вторая услуга классу заключалась в том, что я специализировался на задавании учителям вопросов, ответы на которые отвлекали их от спрашивания уроков. Особенно успешно это применялось по отношению к священнику, очень симпатичному человеку, любившему пофилософствовать. Его пространные ответы иногда растягивались на целый учебный час и ученики получали двойное удовольствие: слушали интересное изложение и не подвергались тяжкой необходимости отвечать урок.

Наконец, в последние годы пребывания в училище симпатии ко мне сотоварищей возросли еще более, благодаря активным проявлениям оппозиционности против действий начальства, казавшихся нам несправедливыми.

Весьма возможно, что при врожденной застенчивости моего характера мне не удалось бы выбраться

за пределы нивелирующей посредственности окружавшей меня жизни. Во всяком случае мечты моего отца простирались лишь до того, чтобы я сделался бухгалтером какого-нибудь крупного предприятия. Но окружавшая меня в последние годы пребывания в школе популярность, если и не вскружила мне голову, то во всяком случае приподняла меня в собственных глазах, и я стал мечтать о продолжении образования, о поступлении в университет. Таких мечтателей в нашем классе было трое: кроме меня, мой будущий свояк А. Ф. Малинин и мой близкий приятель А. П. Шахно, с которым меня сблизило, между прочим, и общее несчастье, так как он в младших классах также подвергался преследованиям, однако, по другой причине: он был поляк и католик.

Но вот выпускные экзамены окончены, двери школы открыты, и мы выпускаемся в новую, самостоятельную жизнь. Коммерческое училище снабжало своих выпускников существенными прерогативами. Все получали звание личного почетного гражданина, а особо отличившиеся, кроме того, титул кандидата коммерции. Я и мои друзья, все трое кандидаты коммерции, подошли вплотную к вопросу о том, как нам избавиться от коммерческой дороги, подняться на дальнейшие ступени образовательной лестницы и накопленные таким образом силы и знания отдать на служение народу, так нуждающемуся в просвещенных деятелях. Для двух других, как для людей более зажиточных, этот вопрос разрешался сравнительно просто. Мой будущий свояк сейчас же нанял себе учителя для подготовки к дополнительным испытаниям на гимназический аттестат зрелости, чтобы потом поступить в университет на медицинский факультет. Особую трудность этим испытаниям придавала необходимость знать древние языки, латинский и греческий, о которых в Коммерческом училище не было и помину. Но Малинин, очень способный молодой человек, блиставший в то время в обществе своей развязностью и находчивостью, легко справился с этими затруднениями. На следую-

щий год он уже был студентом, а по окончании университетского курса, во время которого профессора сулили ему прекрасную будущность, и после поездки заграницу для усовершенствования в медицинских знаниях, занял должность больничного врача, которая, однако, и стала его скромным пожизненным уделом. Так свершился его снижавшийся жизненный путь.

Другой приятель, Шахно, избрал себе более легкий путь. Он подготовился к конкурсному экзамену в Высшее техническое училище, по окончании которого занимал различные, более или менее высокие должности в области промышленности. Всю жизнь он оставался простым и милым человеком, добросовестным работником в своей, сравнительно узкой, специальности.

Мое положение было гораздо более сложным. Я чувствовал, что на мои плечи взваливается судьба моей пятичленной семьи. Уже при переходе из седьмого в восьмой класс я начал давать уроки, а по окончании курса вскоре получил службу в одном из страховых обществ. Для пополнения заработка я не оставлял и занятия уроками. Мой трудовой день был таким образом весьма продолжительным. С утра я отправлялся в контору, а в 4 часа, по окончании службы, сразу шел по урокам, которые продолжались иногда до девяти часов вечера. Только после этого я возвращался домой, ужинал и потом до глубокой ночи просиживал над книгами, готовясь к экзамену на аттестат зрелости. Конечно, при таком образе жизни моя подготовка двигалась весьма медленным темпом. Мне представлялось большой удачей то обстоятельство, что первый после службы урок приходился у булочника Кондратьева, недалеко от места службы. Я репетировал двух сыновей его, учившихся, как и я, в Московском коммерческом училище. Булочник платил мне очень скромно, но так как он боялся, что при «еткзаменовантьи» его сыновья могут провалиться, то всячески старался ублажать меня предметами своего производства. Во время урока мне подавался чай с большой порцией жареных пи-

рожков и пирожных. В этом состоял мой обед, но в этом же коренился и один из источников моих позднейших гастрических заболеваний.

При такой усиленной работе благосостояние семьи было вскоре восстановлено. Мы снова обзавелись квартирой, хотя скромной, но состоявшей из четырех комнат, и повели образ жизни, соответствовавший уровню среднего московского обывателя. Однако, духовная сторона жизни во мне не замирала. Запас юных сил даже в сравнительно слабом моем организме, а главное энтузиазм к обогащению себя новыми познаниями, были так велики, что я мог следить за всем, что происходило в русской культурной жизни. Как курьёз, припоминаю, что, заказывая пальто, я категорически требовал от портного, чтобы карманы были сделаны по размеру тогдашних толстых ежемесячников: «Русской Мысли» и «Русского Богатства».

Мое мировоззрение, при общем оптимистическом уклоне характера, было окрашено в цвет пессимизма. Я постоянно щеголял цитатами из Шопенгауера, Гартмана и Леопарди. Отчасти это было следствием тяжелых переживаний моего детства, но большую роль играло, несомненно, некоторое духовное кокетство, следование моде на трех выше названных писателей, которая была в то время широко распространена в Москве.

Так прошло около полутора лет, в течение которых я увидел, что моя подготовка к поступлению в университет подвигается чересчур медленно и может совершенно увязнуть среди остальных житейских забот. А между тем репетиторская работа проходила успешно, гонорары повышались, и я принял, правда, к огорчению родителей, героическое решение оставить службу, по вечерам ходить на уроки, а дневные, наиболее подходящие для продуктивной работы, часы посвящать изучению древних языков. Эта работа, которую я повел отчасти самостоятельно, отчасти с дружеской помощью Малинина, бывшего в то время уже студентом, счастливым женихом и впивавшего, как он

любил выражаться, радости жизни всеми фибрами своего существа, пошла у меня весьма успешно. Через несколько месяцев я уже свободно читал Юлия Цезаря и Ксенофонта. Еще полугодичное усилие, и я мог бы предстать перед экзаменационной комиссией, требования которой к этому времени несколько смягчились. Но судьба повела меня к намеченной цели иным путем.

III. ГЕЙДЕЛЬБЕРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

"Alt Heidelberg, du feine,
Du Stadt an Ehren reich,
Am Neckar und am Rheine
Kein' andre kommt dir gleich".

Scheffel.

Моя подготовка к поступлению в Московский университет прекратилась по совершенно неожиданной, хотя всецело от меня исходившей причине. Я женился, и, несмотря на то, что родители моей жены были очень состоятельные люди, я не мог рассчитывать на регулярную материальную поддержку со стороны тестя. Таким образом к заботам о семье родителей присоединилась забота о своей собственной семье. Мне снова пришлось поступить на службу, на этот раз в банк, а по вечерам я продолжал давать уроки. Но теперь я смотрел на службу не как на временное, переходное занятие. Приходилось считаться с тем, что, может быть, мне и на всю жизнь придется остаться банковским работником. Поэтому я, хотя и занимал скромное место помощника корреспондента, старался вникнуть в общую сущность банковского дела и проштудировать его различные операции. В моей служебной карьере это оказало мне, однако, весьма незначительную помощь. За мою трехлетнюю службу я нисколько не продвинулся по иерархической лестнице, и все мои старания были вознаграждены лишь незначительной прибавкой жалованья.

Но тем не менее, за время своего пребывания в банке я получил нравственное удовлетворение от общения с сослуживцами, которые проявляли ко мне трогательную симпатию, особенно после того, как мне уда-

лось организовать кооперативную библиотеку, которая пользовалась среди служащих большим успехом. Впоследствии, между дирекцией банка и служащими возникли некоторые конфликты профессионального характера, и дирекция для устранения этих конфликтов согласилась на учреждение трехчленного комитета служащих. Было созвано общее собрание всего персонала банка для выборов комитета, и меня, несмотря на мою молодость и на то обстоятельство, что я был сравнительно новичком в банковском деле, громадным большинством голосов избрали в этот комитет. Но вскоре после того я захворал, а затем покинул службу в банке.

Серьезное практическое изучение банковских операций, о котором я упомянул выше, принесло мне побочную выгоду в двух направлениях. Во-первых, я с достаточным авторитетом заменял в течение зимы больного преподавателя бухгалтерии в одном из реальных училищ, а во-вторых, меня пригласили для чтения лекций по банковскому счетоводству при Обществе распространения коммерческих знаний. Это Общество возникло по инициативе председателя Московского общества взаимного кредита и видного общественного деятеля Алексея Семеновича Вишнякова и было зародышем будущего Коммерческого института, в котором мне приходилось читать уже не бухгалтерию, а сравнительную анатомию позвоночных животных. Так причудливо иногда переплетаются обстоятельства человеческой жизни. Исполнять как бы профессорские обязанности, да еще под руководством такого просвещенного и благожелательного человека, как А. С. Вишняков, присутствовавшего и при экзаменах моих слушателей, было для меня, 22-летнего юноши, весьма лестно. А то, обидное для меня обстоятельство, что эти лекции были не ученого характера, я старался смягчить ссылкой на Гёте, высказавшего мысль, что двойная итальянская бухгалтерия является одним из замечательнейших изобретений человеческого ума.

Но самым выдающимся благоприятным событием

этого периода моей жизни было получение женой наследства от деда и бабушки, умерших уже давно, но о существовании которого мы до того времени ничего не знали. Эта твердая материальная база сразу повысила наше жизненное настроение. Правда, я как раз начал прихварывать, но мы поехали в Крым, провели в Ялте чудесную осень, наслаждаясь волшебными красотами черноморского побережья и радуясь на свою дочку, которой только что исполнился год. Мне потом приходилось много путешествовать. Но только в одном месте Европы я нашел такое же величественно-причудливое сочетание горных и морских красот. Это было в Монте-Карло.

По достижении финансовой независимости мы с женой решили в первую очередь обзавестись квартирой, соответствующей гигиеническим требованиям. Наличие такой квартиры нам казалось необходимым для рационального воспитания нашей дочери и поджидавшегося в то время другого ребенка. В Москве, однако, такие квартиры были редкостью, и я начал подыскивать участок земли для постройки дома по собственному вкусу. Но в это время мне пришлось сделать операцию, которая осложнилась заражением крови, чуть не сведшим меня в могилу. Я не помню перипетий болезни, большей частью державшей меня в бессознательном состоянии, но никогда не забуду чувства не только душевного, но какого-то органического ликования в период выздоровления, когда я чувствовал могучий прилив новых сил, как бы воскресение из мертвых и вместе с Фаустом готов был воскликнуть: «О жизнь, возьми меня, я снова твой!» Это было в конце февраля; в Москве царила наша чудодейственная среднероссийская весна, о прелести которой и не подозревают в западно-европейских странах. Под ярким солнцем быстро, почти на глазах, таяли громадные массы снега, накопившиеся за долгую зиму. Везде на улицах весело журчали ручьи. Во всём ощущался отблеск какого-то весеннего благодушия, радостного ожидания полного пробуждения природы от зимнего сна.

При таком гармоническом сочетании весеннего оживления, с одной стороны, в окружавшем меня макрокосме, а с другой — в микрокосме моего внутреннего я, во мне начали зарождаться порывы к новой жизни, целью которой было бы искание добра и истины. Порывы эти, однако, не оформились пока ни в какое определенное намерение, и по выздоровлении я снова взялся за хлопоты об устройстве квартиры. Скоро подходящий участок земли нашелся, и я с головой ушел в новую для меня, и сразу захватившую меня, работу архитектурного строительства. Профессиональный архитектор был приглашен лишь для получения разрешения на постройку, а подробное планирование дома и надзор за производством строительных работ я взял на себя. Конечно, при моей неопытности квартира не вполне соответствовала нашим ожиданиям, но всё-таки была настолько благоустроена, что мы пользовались ею в течение 18 лет, вплоть до того времени, когда при коммунистическом режиме образовался домовый комитет, взявший на себя мои прерогативы, как хозяина дома, а я, в качестве ректора Московского университета, получил казенную квартиру в университетском здании.

Лихорадочная работа по постройке продолжалась всё лето, а осенью, когда мы, теперь уже с двумя дочками, вселились в новый дом, я почувствовал снова пустоту, и в моей душе опять зазвучали призывы к новой жизни, более осмысленной и более богатой духовным содержанием. Всё это было связано, конечно, с мыслью о поступлении в университет.

В это время мне было уже трудно по моему, как общественному, так и семейному положению думать о Московском университете, и я надумал попробовать счастья заграницей. Я уже решил, что буду заниматься биологией, искать разрешения вопроса о материальной сущности жизни и изучать ее разнообразнейшие, подчас столь загадочные проявления в мире растительных и животных организмов. Но беда в том, что в моем ближайшем окружении не было достаточно компе-

тентных людей, которые бы поняли мои стремления и могли бы дать мне руководящие указания. Да и самая мысль о переходе из коммерческого училища в университет многим казалась странной. Еще задолго до этого, в период моих мечтаний о Московском университете я однажды сказал очень уважаемому в Москве педагогу А. Н. Глаголеву, на уроках которого я в свое время отличался по геометрии, что я собираюсь поступить в университет. Он лишь иронически пожал плечами, а на мое замечание, что Малинин уже проделал это, ограничился кратким ответом: «Ну, Малинин, это другое дело».

Всё это меня не особенно обнадеживало, но стремление мое было безудержно, и я решился взять быка за рога. У меня не было знакомых среди университетской профессуры, но я много слышал о профессоре ботаники К. А. Тимирязеве, авторе популярной книжки «Жизнь растений», которую я читал с увлечением. Он был любимцем студентов и вообще лево настроенной части московской интеллигенции. Его называли выдающимся ученым, широко известным в заграничных кругах. Это привело меня к мысли просить у него совета относительно предположенной мной поездки заграницу и возможности поступления в один из иностранных университетов, где, как мне говорили, на естественно-научные факультеты принимались лица с реальным образованием, чему вполне соответствовал мой аттестат Коммерческого училища. Я отправился к Тимирязеву на квартиру и был принят с очаровательной любезностью. Но меня сразу поразила какая-то манерность, даже вычурность его поведения. Во время разговора со мной он порывисто вскакивал, подбегал к этажерке, брал там пробирку, смотрел на свет и ставил ее на место. Всё это должно было производить на непосвященного впечатление какой-то таинственной научной работы. С течением времени я всё больше и больше убеждался, что это был один из приемов, которыми он снискал удивление и преклонение со стороны молодежи. В общем он очень сочув-

ственно отнесся к моему намерению поехать учиться в Германию, но говорил лишь общими фразами и никакого конкретного совета мне не дал. Обещал подумать, приготовить рекомендации и просил зайти через несколько дней. А когда я пришел во второй раз — снова фейерверк красивых слов, таинственное разглядывание пробирки и ничего определенного. Посоветовал мне лишь поездить по германским университетским городам, благо они расположены так близко один от другого, и самому выбрать то, что мне покажется наиболее подходящим. Для меня это было жестоким разочарованием, и не только с личной точки зрения, но и в смысле потускнения ореола, который был у меня связан с именем модного московского ботаника, ревностного проповедника дарвинизма.

Всё дальнейшее только подтвердило мое первое впечатление. Во время последующего пребывания в Западной Европе я несколько раз спрашивал тамошних профессоров ботаники, что они знают об их московском коллеге. И слышал в ответ, что имя Тимирязева им неизвестно, но что они знакомы с работами целого ряда других русских ботаников, имена которых ими тут же назывались. А потом уже много времени спустя, когда я спрашивал у старых членов Совета Московского университета о том, что они думают о Тимирязеве[3], я узнал от них, между прочим, что характерным свойством его было желание считаться самым левым членом Совета, чем он щеголял также среди студентов и приобретал в их среде популярность. Щеголял он также личным знакомством с Ч. Дарвином, но близко знавшие это дело говорили, что хотя он и ездил на поклон к великому английскому ученому, однако, не мог заручиться его симпатиями и попадал к нему лишь благодаря своей неутомимой настойчивости, как говорится, через заднюю дверь.

В своей книге «На рубеже двух столетий» А. Бе-

---

[3] Когда я был профессором и ректором университета, Тимирязев был уже на пенсии и в Совете участия не принимал.

лый с увлечением описывает элегантную манеру и внешний блеск лекций Тимирязева. Я никогда не слыхал его лекций, но охотно представляю себе, что Белый совершенно прав. Тимирязев был великолепным популяризатором. Широкая натура москвичей не удовлетворилась, однако, такой квалификацией и приписала своему любимцу ранг выдающегося научного исследователя.

Не получив от Тимирязева нужных мне сведений, я оказался в затруднительном положении. Куда мне теперь толкнуться? Но тут я припомнил, что один из моих учителей в Коммерческом училище Р. И. Державин, добродушно подбодрявший учеников ударами резинки по головам, занимал в это время должность инспектора студентов в университете. К нему то я и обратился с просьбой представить меня кому-либо из профессоров. «Чего же лучше, — получил я в ответ, — я познакомлю вас с нашим ректором, Александром Андреевичем Тихомировым; он постоянно ездит заграницу и будет вам весьма полезен».

О Тихомирове, который читал зоологию, А. Белый дает отзыв, совершенно иной, чем о Тимирязеве. Это был человек правых воззрений, резкий противник дарвинизма, с которым он остроумно, но без успеха полемизировал на своих лекциях. А кроме того, он был высоким начальством. Всё это делало его крайне непопулярным среди студенчества, которое в подавляющей своей массе было настроено радикально-революционно.

Я, однако, ничего этого не знал и, хотя мои политические взгляды были довольно левые, испытывал благоговейный трепет, когда предстал пред очи самого ректора. Но к моему полному восторгу, он обошелся со мной в высшей степени запросто, внимательно расспрашивал меня о моем прошлом и о семейном положении, к чему великолепный Тимирязев не проявил никакого интереса. Одобрив мое намерение учиться в Западной Европе, он, не задумываясь, назвал мне несколько университетов. «Если вы хотите специали-

зироваться в ботанике, — сказал он, — вам лучше всего ехать в Бонн, к профессору Страсбургеру, а если вам больше нравится зоология, то могу вас рекомендовать двум выдающимся ученым и талантливым преподавателям: проф. Лангу в Цюрихе или проф. Бючли в Гейдельберге». При упоминании Гейдельберга моему воображению представилась Тургеневская Ася, и мое решение было принято: учиться в Гейдельбергском университете.

Придя через несколько дней вторично к Тихомирову, я получил от него рекомендательное письмо и несколько оттисков его научных работ для передачи Бючли. Впоследствии, когда я узнал, что нахожусь под покровительством известного московского ретрограда, я при своем либеральном запале почувствовал неловкость. Но когда мне стало известно (о чем умалчивали или что старались вышучивать в Москве), что Тихомирову принадлежит заслуга открытия т. наз. искусственной партеногенезы, т. е. развития неоплодотворенного яичка животных под влиянием механических или химических раздражений, и что его имя таким образом занесено в историю естествознания, мои политические соображения отпали на второй план, и я был горд, что моим первым, хотя и мимолетным руководителем в области зоологии, был заслуженный ученый с европейским именем.

Советы Тихомирова и мой выбор университета оказались весьма удачными. Учителя, лучшего чем Бючли, трудно себе представить. Рекомендация же Тихомирова мне очень помогла, так что я был принят сразу на большой практикум, которым руководил сам профессор, без обычных предварительных занятий под руководством его ассистента. Этим время прохождения мною университетского курса сократилось на целый семестр. Формальности по приему прошли тоже гладко, мой диплом был признан достаточным, и во время торжественной имматрикуляции, я был, принесением соответствующей присяги и пожатием руки декана, произведен в действительные студенты, т. е.

сделался по тамошней терминологии академическим гражданином. Это было в октябре 1901 года.

Не могу не отметить, что мои переговоры с главным секретарем университета оживились громогласным проявлением его остроумия, приведшего в веселое настроение всю его канцелярию. Когда я сообщил ему, что родился 14/27 марта, имея при этом в виду старый и новый стиль, он с деланным соболезнованием заметил: «Ах, ваша бедная мама; это продолжалось у ней так долго: целых тринадцать дней!»

Гейдельбергский университет по времени своего основания (в 1385 г.) является одним из первых. Когда я с семьей приехал в Гейдельберг, в нем еще сохранились остатки старинного быта, весь тон городской жизни задавали студенты, и весь небольшой городок был как бы придатком к университету. Правда, благодаря чрезвычайно живописному расположению Гейдельберга по обоим берегам быстро текущего Некара, среди красивых гор, покрытых в значительной части хвойными деревьями, городское управление уже в то время начало заботиться о превращении его в курорт. Были сделаны даже попытки, однако, неудачные, разыскать там минеральные воды. Всё это нарушало, конечно, чисто университетский характер города. Но студенчество не сдавалось. Во время семестров, зимнего и летнего, улицы города пестрели разноцветными фуражками, отличительными знаками многочисленных студенческих корпораций, а ночью часто оглашались веселым нестройным пением возвращавшейся со своих комершей молодежи. Бывали случаи, когда это веселье принимало более буйный, но всё-таки сравнительно невинный характер: или фонари на целом ряде улиц оказывались погашенными, или вывески бывали перемещены так, что вывеска булочника приходилась над лавкой мясника и наоборот. Надо отдать справедливость, что если при этом для жителей города возникал материальный ущерб, корпорации, располагавшие обычно значительными средствами, без всяких затруднений его возмещали. Поэтому городское обыватель-

ство, получавшее и вообще от пребывания студентов большие выгоды, относилось к ним с предупредительной почтительностью, а часто и с отеческой нежностью.

Особенным оживлением отличались дни, в которые праздновалась годовщина какой-нибудь корпорации. По улицам тянулись длинные вереницы экипажей с восседавшими на них юбилярами. Экипажи эти были громоздкие четырехместные ландо, но согласно обычаям корпораций, отражавшим их тщеславие и стремление к аристократизму, сидеть полагалось только на задних сиденьях; передние, т. е. задом к лошадям, оставались пустыми. Иногда на них помещались лишь уродливые мопсы, на которых среди студенчества была большая мода. При этом, чем собака была безобразнее и страшнее, тем выше она ценилась.

В других торжественных случаях по улицам проходили студенческие процессии, причем во главе их несли корпорационные знамена и шел оркестр. Знаменосец, его ассистенты и некоторое количество старших корпорантов шествовали в красивых средневековых костюмах, а остальные в своих цветных шапочках и с лентами определенного цвета через плечо. Особенно пышное шествие устраивалось после инсталляции нового ректора, который выбирался ежегодно. При этом, обыкновенно, в вечернем шествии корпоранты, предшествуемые своими знаменами и оркестрами музыки, шли двумя стройными цепями по обеим сторонам улицы, неся в руках зажженные факелы. Вся эта длинная процессия устанавливалась перед зданием университета, где новый ректор обращался к студентам с речью. Потом факелоносцы собирались на площади, где образовывали круг и по данному сигналу бросали в свободную середину круга горящие факелы, которые там медленно догорали. Всё это представляло собой величественную, эффектную картину.

Но самым красивым, традиционно-любимым зрелищем было, известное далеко по свету, освещение

развалин Гейдельбергского замка. Эти развалины, расположенные на горе возле Некара, были и сами по себе живописны. Но когда при полной вечерней темноте их ярко освещали бенгальскими огнями, а из уцелевших башен неслись к небу блестящие фейерверки, перед глазами зрителей, толпившихся на противоположном берегу Некара, вставала поистине феерическая картина. Эффект усиливался еще тем, что внизу, по течению Некара, плыли в это время многочисленные барки и лодки, украшенные разноцветными лампионами. Такое освещение устраивалось не только в связи с корпорационными праздниками, но также по случаю каких-либо городских торжеств, научных съездов и т. п.

Своеобразной, для нас совершенно непривычной стороной студенческой жизни были так назыв. мензуры и дуэли. В специально приспособленных для этого залах, с наличием быстрой медицинской помощи, корпоранты упражнялись в фехтовании на рапирах и шпагах. При этом грудь, а иногда и голова были защищены, но лицо оставалось открытым, так что по окончании университетского курса оно оказывалось более или менее изрубцованным. Рубцы служили признаком мужества и предметом гордости для их носителя и для целой корпорации. Но и практически упражнения эти не были бесцельными. Ссоры между корпорантами, возникавшие даже по самым пустячным поводам, а иногда даже искусственно вызванные, часто оканчивались ожесточенными дуэлями, при которых одному из противников наносились шпагой весьма серьёзные повреждения. Правда, смертельные исходы дуэлей благодаря строгому контролю со стороны секундантов и быстрой медицинской помощи, были чрезвычайно редки. Всё это было, как отзвук средневековой старины, весьма романтично, но плохо вязалось с современными представлениями о сущности и смысле высшего образования.

Из сказанного следует, что значительная часть учебного времени студентов-корпорантов тратилась на торжества, мензуры и обязательное участие в товари-

щеских попойках. Обычно первые семестры почти целиком уходили на то, чтобы перебеситься. Зато в последующих семестрах учебная работа велась с чисто немецкой систематичностью и упорством.

Участие в корпорациях приносило их членам на их последующем жизненном пути существенные выгоды. Старшие члены корпорации, т. наз. «alte Herren», уже достигшие высоких служебных степеней, помогали своим молодым коллегам и оказывали им протекцию. Все члены корпорации, независимо от различия их рангов и общественного положения, обращались друг к другу на ты. Насколько легко было иностранцу зачислиться в немецкий университет, настолько же трудно ему было проникнуть в корпорацию. Я не припоминаю ни одного такого случая.

Гейдельбергский университет обслуживался блестящей профессурой. Выдающиеся ученые охотно переходили туда из других университетов, как благодаря стародавней славе университета и его сравнительно хорошим учебно-вспомогательным учреждениям, так и из-за живописного расположения города.

Моим главным учителем был, как уже сказано выше, профессор О. Бючли, которого надо было при разговоре именовать высоким титулом тайного советника. Это был человек высоких научных порывов и, в то же время, чрезвычайной усидчивости и работоспособности. Он начал свою научную работу в области минералогии, но скоро почувствовал, что изучение только мертвой природы его не удовлетворяет. Т. о. он сделался профессором зоологии и сравнительной анатомии. Естественно поэтому, что его больше всего привлекала пограничная область между живым и мертвым, т. е. наиболее элементарные проявления жизни. С этой точки зрения он приступил к исследованию простейших одноклеточных животных, результатом которого было опубликование классического трехтомного труда.

В то же самое время, т. е. во второй половине истекшего столетия, целым рядом выдающихся уче-

ных разрабатывались вопросы, касающиеся строения и функции недавно перед тем открытых элементарных составных частей растительных и животных организмов-клеток. Особенное внимание исследователей привлекал к себе процесс непрямого или митотического клеточного деления, посредством которого из одноклеточного женского зародка (у животных яичка), по оплодотворении его мужской семенной клеткой, возникает взрослый организм со всем разнообразием его тканей и органов. Этот сложный процесс пробегает с изумительной точностью и закономерностью. Поэтому с самого его открытия можно было предполагать, что дальнейшее его изучение выяснит загадку наследственности, что и подтвердилось в действительности. В этих работах Бючли принял деятельное участие.

В конце столетия, когда строение клеточного ядра и способы его деления были в достаточной мере выяснены, Бючли обратил свое внимание на вторую существенную часть клетки — протоплазму. Эта студенистая, полужидкая масса, в которой плавает ядро и в которой совершаются различные жизненные процессы, казалась вначале аморфной. Но с усовершенствованием микроскопа и улучшением методов исследования некоторые авторы начали констатировать в ней наличие структуры. Одни утверждали, что это основное жизненное вещество состоит из жидкости, в которой рассеяны мельчайшие, стоящие на границе микроскопической видимости, твердые зернышки. Им приписывали даже значение элементарных биологических единиц. Другие описывали волокнистую структуру, как явление типичное для протоплазмы, причем волокна считались также твердыми образованиями. Бючли целым рядом остроумных опытов выяснил, что протоплазма примитивных клеток (как, напр., у одноклеточной амебы) должна состоять только из жидкости. Что же касается структуры, то он ее объяснил тем, что протоплазма складывается из двух, не смешивающихся между собой жидкостей, какими являются, например, вода и растительное масло. Такая комбинация пред-

ставляет собой тончайшую эмульсию, которая при сильных микроскопических увеличениях имеет вид ячеек в пчелиных сотах или пивной пены. Такая структура была названа ячеистой или пенистой. Эта теория пользовалась одно время большим успехом, так что автор решил расширить ее на всевозможные виды протоплазмы, ядра, а также и на различные продукты выделительной деятельности клетки, как, напр., на твердное костное вещество, наружный панцырь ракообразных и т. п. Такое обобщение натолкнулось, однако, на серьезные возражения, и теория ячеистого строения протоплазмы не получила всеобъемлющего значения. А в последнее время было с несомненностью установлено, что протоплазма представляет собой коллоидальную смесь, что структура ее носит мицеллярный характер, стоящий под границей обычных микроскопических увеличений. Это подало многим авторам повод думать, что теория Бючли окончательно отжила свой век. Однако, такой выдающийся знаток этих вопросов, как Румблер, утверждает, что ячеистая структура, которую правильнее назвать спумоидной, совершенно отчетливо выступает на некоторых объектах. Не только в качестве ученика Бючли, чтущего его память, но и с соблюдением объективности я в нескольких своих публикациях пытался доказать, что при свертывании (коагуляции) коллоидных веществ в них возникают различные структуры. Думаю, что наиболее частою такой структурой, образующейся в примитивной протоплазме, является структура спумоидная. Эту же структуру мне приходилось фотографировать в примитивных продуктах клеточного выделения, как, напр., в скорлупках яиц некоторых низших рачков, где она выступает с полной отчетливостью. Таким образом можно утверждать, что теория Бючли была предшественницей коллоидальной теории, с которой она имеет общее основание, заключающееся в признании жидкого аггрегатного состояния примитивной протоплазмы, могущей обладать, в зависимости от степени коагуляции, большею или меньшею вязкостью.

Блестящий лектор, Бючли был и во всех других отношениях прекрасным учителем. Человек по природе своей несколько угрюмый, которого помощники его побаивались, он к ученикам относился с чрезвычайной внимательностью. Два раза в день, утром и после обеда, он обходил лабораторию, в которой работало иногда до 20 специалистов, со всеми ними беседовал, просматривал их препараты и давал им советы. Это подало повод одному русскому студенту, любителю легких достижений, к замечанию, что достаточно каждый день записать то, что ему скажет тайный советник, потом через семестр или два скомбинировать эти записки, и из этого получится прекрасная диссертация.

Из школы Бючли вышло большое количество выдающихся научных исследователей, в числе которых фигурируют и несколько русских имен[4].

В зоологическом институте, наряду с Бючли, преподавал еще один интересный ученый, Гербст, тогда еще приват-доцент, а впоследствии наследник кафедры Бючли. Это был человек довольно грубых манер, неискусный лектор, но прекрасный экспериментатор, существенно обогативший область т. наз. механики развития. Близким другом Гербста был Г. Дриш, знаменитый основатель неовитализма, учения об автономии живых организмов, т. е. о том, что их деятельность находится в зависимости от внутреннего духовного начала — энтелехии. Он часто навещал зоологический институт, и беседы с этим глубоко и разносторонне образованным зоологом и блестящим экспериментатором были весьма поучительны. Широта его кругозора характеризуется тем, что впоследствии он сделался профессором философии Лейпцигского университета.

К характеристике идеологической терпимости Бючли важно отметить, что, сам склонявшийся к механистическому воззрению на живую природу, он легко

[4] Более подробный очерк жизни и деятельности моего учителя я опубликовал в особой брошюре «О. Бючли и его работа», изданной в 1922 г. в Петрограде.

уживался со своими коллегами-виталистами. Однако, в политическом отношении он был левее большинства других профессоров, что держало его в некотором от них отдалении.

Моим учителем по ботанике был проф. Пфицер, ученый совершенно иного типа, чем Бючли. Узкий систематик, опубликовавший прежде несколько ценных исследований об орхидеях, он в мое время был уже старым человеком, готовившимся уйти на покой. Вместо Бючливского энтузиазма при чтении лекций у него наблюдался какой-то унылый квиетизм, хотя лекции были всегда составлены умно и стройно. Живя в здании ботанического института, он приходил иногда на лекцию в ночных туфлях. И научные воззрения его, в отличие от новейших теорий Бючли, отдавали стариной. Обучая нас на практических занятиях приготовлять тончайшие прозрачные срезы различных растительных объектов для рассматривания под микроскопом, он обратился к нам приблизительно со следующими словами: «Вот в последнее время понастроили множество сложных машин, — микротомов, помощью которых, якобы, достигается чрезвычайная тонкость и равномерность срезов. Может быть, это и правда, но можно достигнуть этой цели и более простым способом. Я вам советую делать так: возьмите зажженную свечку в правую руку, а предметное стеклышко в левую, накапайте на него несколько капель стеарина, быстро положите на него объект, который хотите резать и сейчас же залейте его дальнейшими каплями стеарина. А когда стеарин затвердеет, можно его вместе с заключенным в нем объектом сковырнуть ногтем со стеклышка и резать хорошо наточенной бритвой». Такие архаические приемы преподавались нам с милым добродушием, которым вообще дышала фигура старого профессора. Он был, между прочим, поклонником русского гостеприимства и рассказывал мне, как при посещении им России по случаю каких-то научных торжеств его подводили к длинному столу, сплошь заставленному бутылками с вином и всевозможными закусками. По

его словам, нужно было выпить из каждой бутылки и закусить с каждой тарелки. А после этого почему-то подавали обед, который был вовсе не нужен, так как человек был уже совершенно сыт и чувствовал себя превосходно.

Я был одним из последних учеников Пфицера, который вскоре вышел на пенсию. На его место был приглашен знаменитый ботаник Клебс, известный своими трудами по изменению формы растений под влиянием наружных воздействий. При нем ботанический институт приобрел совершенно модерный характер.

В связи с моими занятиями зоологией и сравнительной анатомией, для меня имели большую важность лекции по палеонтологии. Строение ныне живущих организмов часто бывает трудно понять без изучения их вымерших предшественников, остатки которых сохранились в горных породах в виде окаменелостей. Учителем палеонтологии был молодой тогда профессор Саломон, великий энтузиаст своей науки. Изумительный мастер преподавания, он излагал предмет так логически точно, а в то же время образно и выпукло, что лекция как бы сама собой укладывалась в мозгах слушателей. Он постоянно собирал всевозможные материалы для оживления своих лекций. Помню, во время посещения Гейдельберга уже в двадцатых годах, я был приглашен к нему на обед, после которого в дружеской беседе я задал ему вопрос по его специальности: почему морская вода соленая. Мой собеседник сейчас же воспламенился и начал пространные объяснения. Я его, однако, прервал и шутливо заметил, что дело обстоит гораздо проще: морская вода соленая, потому что в ней плавают селедки. Он весело расхохотался, сделал заметку в записной книжке и попросил у меня разрешение использовать эту остроту для своих лекций.

Профессор физики, тайный советник Квинке был человек современных научных воззрений, но старых академических традиций. В старину доступ в универ-

ситет женщине был закрыт. В описываемое мною время в аудиториях начали появляться первые, единичные студентки. Студенты-корпоранты, тоже весьма консервативно настроенные, не хотели с этим мириться и при входе слушательницы в аудиторию, принимались неистово шаркать ногами о пол, что служило выражением порицания (одобрение проявлялось не рукоплесканием, а топанием). Но беда, если девушка запаздывала на лекцию Квинке. Вход в аудиторию помещался позади кафедры, так что все студенты сразу видели входившую. Шарканьем, смехом и разными обидными выкриками они прерывали лекцию, при чем профессор благодушно поглядывал на своих учеников, а иногда даже поощрял их, приподымая с иронической улыбкой черную шапочку, которую он постоянно носил во время лекций. Несчастная жертва этой демонстрации, раскрасневшись и чуть не плача, торопливо пробиралась на заднюю скамью. Так добивались женщины права на высшее образование в стране, где император Вильгельм II определял, как тогда говорили, назначение женщин тремя К: «Kirche, Kinder, Küche».

О профессоре химии, также гехеймрате, Курциусе у меня сохранилось мало воспоминаний. Помню лишь, что это был очень толстый человек, лицом и фигурой напоминавший скорее торговца мясом, чем профессора. Его лекции не были блестящи, но, так как они составляли одну из главных основ естествознания, посещались весьма усердно не только натуралистами, но и медиками.

Кроме перечисленных предметов и некоторых доцентских курсов естественно-научного факультета, я счел необходимым ознакомиться с лекциями двух выдающихся представителей медицинского факультета. Первым был анатом Фюрбрингер, ученик и наследник по кафедре знаменитого Гегенбаура. С работами этого последнего мне впоследствии пришлось много считаться, когда я реформировал созданную им систему сравнительной анатомии. Лично его узнать, мне, однако, не пришлось, и судьбе угодно было дать мне воз-

можность лишь присутствовать на его похоронах (в 1903 г.). Фюрбрингер прославился изданием необычайно громоздких фолиантов по сравнительной анатомии птиц. Но и анатомию человека, этот труднейший предмет, он преподавал нам весьма обстоятельно и удобопонятно.

А другим медиком был Коссель, профессор физиологии, известный своими открытиями в области строения примитивных белковых соединений, впоследствии лауреат Нобелевской премии. Лекции этого профессора меня прельстили своей элегантной формой, а также и тем, что в них подробно и с большим уважением говорилось о работах нашего И. П. Павлова, тогда еще только восходившей звезды на научном небосводе.

Как я уже упомянул выше, диапазон моих умственных интересов был в то время весьма широк. Поэтому наряду с лекциями естественно-научного характера я старался, поскольку позволяло время, проникнуть и в другие специальности. Помню, что особенное впечатление производили на меня лекции проф. Елинека, которые он читал на юридическом факультете. Судя по фамилии, он происходил из чешского рода, но обладал выдающимся немецким красноречием. Особенно памятна мне его речь, обращенная к студентам после факельного шествия по случаю его инсталляции ректором. В ней он говорил о традициях и идеалах, как о двух факелах, стоящих перед началом и в конце нашего жизненного пути. Только по такому освещенному пути можем мы смело идти. Иначе заплутаемся.

Лекции этого профессора об общем характере правовых норм были прекрасным дополнением к тем знаниям по законоведению, которые я приобрел в Коммерческом училище. Всё это мне очень помогало во время моей последующей работы в Государственной Думе, где мне приходилось быть докладчиком по многим вопросам народного образования, особенно по организации высших школ. Забегая вперед, расскажу

забавный инцидент, происшедший в бюджетной комиссии, членом которой я не состоял и где меня, следовательно, знали сравнительно мало. Когда я защищал свой законопроект, один из членов бюджетной комиссии в пылу спора заявил мне: «Я не понимаю, как может хороший юрист защищать подобное положение». Моя реплика для многих была совершенно неожиданна: «Я не юрист, а зоолог, но тем не менее настаиваю на правильности моего мнения». В конце концов, соответствующий пункт законопроекта был принят в представленной мной редакции.

Другим посторонним предметом, которым я увлекался, была философия. В начале моего пребывания в Гейдельберге там гремела слава Куно Фишера, автора многотомной истории философии, необычайно искусного и остроумного лектора. В течение летнего семестра он читал, между прочим, курс о «Фаусте» Гёте с допущением посторонних слушателей. Эти лекции происходили в обширном актовом зале и на них собирался, как на концерт выдающегося артиста, весь цвет гейдельбергского общества. Куно Фишер был действительно артистом. Такому впечатлению способствовало и его выразительное, гладко выбритое лицо. Зная трагедию Гёте целиком наизусть, он декламировал ее с неподражаемым искусством, сопровождая каждый отрывок глубокомысленными философскими пояснениями. Но некоторые из этих пояснений попадали не в бровь, а прямо в глаз присутствовавшему на лекциях корпоративному студенчеству. Например, говоря, в связи с какими-то строками трагедии о традиционной для тогдашних немецких университетов академической свободе, он с насмешливой улыбкой в сторону корпорантов заметил: «Однако, мы можем различать два вида академической свободы: свободу к учению и свободу от учения».

К сожалению, слава знаменитого философа не прошла для него даром. Она вскружила его, казалось, такую уравновешенную голову. В старости, когда он получил звание действительного тайного советника, свя-

занное с наименованием «экселенц», он очень обижался, если в разговоре с ним не упоминали этого титула. Его ассистент, впоследствии тоже известный философ, Ласк, представил ему как-то своего брата, скромного сельского священника, которого предупредил о слабости шефа. Когда тот, в восторге от разговора с великим человеком, после каждой фразы стал говорить «экселенц», Куно Фишер благодушно похлопал его по плечу и сказал: «Ну, экселенц можно упоминать и не так часто».

А в глубокой старости, после 80-летнего юбилея, во время которого он получил массу всяких подарков, в том числе и серебряных, славный философ впал в детство. Семья оберегала его от сношения с внешним миром, и он сидел дома, забавляясь, как ребенок, своими серебряными игрушками.

К характеристике того, насколько в среде немецкой профессуры того времени было сильно стремление к получению титулов, рассказывают о случае с всемирно известным химиком Либихом, который, несмотря на свои научные заслуги, долго и безуспешно ждал титула гофрата. Один русский агроном, очень интересовавшийся лекциями Либиха и узнавший, что вход на них для всех доступен, не мог, однако, проникнуть в аудиторию из-за ее совершенного переполнения. Огорченный неудачей, он заявил хозяйке комнаты, в которой поселился, что едет обратно домой. Она стала охать и ахать, жалея тароватого жильца. А когда из разговора выяснилось, что он имеет чин надворного советника, т. е. по-немецки гофрата, лицо ее немедленно просияло. «Закажите себе скорей визитные карточки с вашим титулом, — сказала она, — и отправляйтесь с визитом к профессору». Визит увенчался полным успехом. Либих очаровал своего собеседника и пригласил его со следующего дня ходить на лекции. А когда тот явился в аудиторию, его уже ждал служитель, который усадил его на стул, специально для него поставленный перед самой кафедрой. Профессор же, появившись в аудитории, обратился прежде всего к

нему со словами «господин гофрат», причем приподнял свою шапочку. Затем надев ее снова на голову, и обратившись к студентам, сказал «господа» и начал лекцию. Эта процедура, приводившая нашего скромного соотечественника в немалое смущение, повторялась и при всех последующих лекциях.

К моему повествованию о философских лекциях в Гейдельберге мне хочется добавить одно замечание личного характера. Как известно, люди часто гордятся своими проявлениями не на главном, а на второстепенном поле своей деятельности. Так напр., А. П. Чехов легко переносил критику своих литературных произведений, но обижался, когда сомневались в его достоинствах, как врача. Так и во мне, почти профане в области философии, долгое время коренилось горделивое сознание от того, что я слушал в Гейдельберге три поколения профессоров философии. Когда я, уже по окончании курса и по получении в Москве звания приват-доцента, снова вернулся в Гейдельберг для усовершенствования в научно-исследовательской работе, я нашел на кафедре философии проф. Виндельбанда, который был, если я не ошибаюсь, не только наследником, но и учеником Куно Фишера. У него, уже не в качестве студента, а с особого его разрешения, я прослушал курс логики. Проф. Виндельбанд был плотным человеком низенького роста с небольшой окладистой бородкой. Усевшись на табуретку за кафедрой, он вытаскивал из кармана затрепанную тетрадку, диктовал студентам основное положение, а потом, отложив тетрадку в сторону, развивал положение в яркой, красноречивой форме.

А когда я, спустя еще около пятнадцати лет, снова попал в Гейдельберг, уже пережив всевозможные почести на своей родине, я узнал, что кафедру философии занимает проф. Риккерт, сотрудник и наследник Виндельбанда. Он был очень доволен, когда узнал, что я, бывший ректор Московского университета, хочу послушать его лекции, чтобы пополнить мою коллекцию трех поколений гейдельбергских философов. Эти лек-

ции мне не пришлось, однако, слушать долго, потому что я должен был переехать в Прагу. Проф. Риккерт был человек высокого роста, с большой бородой, и когда он читал свои прекрасно составленные лекции, он производил впечатление совершенно здорового человека. Но он страдал редкой болезнью — боязнью пространства. Поэтому он должен был приезжать в университет в экипаже, а от входа до кафедры его должны были провожать жена или сын, которые по окончании лекции отводили его обратно.

Возвращаясь теперь к моим студенческим годам, я должен поделиться воспоминаниями об окончании университетского курса. Этот курс на естественно-научном факультете укладывался минимум в шесть семестров, но часто растягивался и на гораздо больший срок. Экзамены производились по завершении курса и были двух родов: государственые, дававшие право на преподавание в гимназиях, и докторские, имевшие целью выяснить научную подготовку кандидата, следовательно, определявшие возможность для него академической карьеры. Для меня, конечно, имел значение только докторский экзамен. Как я уже упомянул выше, я поступил в университет, будучи человеком многосемейным. Поэтому я напрягал все усилия к тому, чтобы скорей окончить курс. Коллеги подтрунивали иногда над моим усердием, особенно когда я отказывался идти с ними куда-нибудь в ресторан, но Бючли вполне оценил мое усердие и еще перед концом шестого семестра, когда диссертация моя была готова, исхлопотал мне право приступить к докторскому экзамену.

Экзамен этот отбывался в один день, продолжался два часа и обнимал три предмета по выбору экзаменовавшегося. У меня главным предметом была зоология, а добавочными ботаника и палеонтология. За производство экзамена была назначена высокая такса и производился он в торжественной обстановке, в присутствии трех экзаменаторов и декана. Кандидат должен был явиться во фраке, цилиндре и белых перчатках. А декан, которому причиталась значительная доля

экзаменационной таксы, заботился об угощении. Невдалеке от экзаменационного стола, покрытого зеленым сукном, стоял стол с белой скатертью, уставленный вином и закусками. Испытание по главному предмету продолжалось около часу, после чего декан приглашал кандидата к соседнему столу подкрепиться. Помню, с каким трудом, задыхаясь от волнения по поводу предстоящих остальных экзаменов, я проглотил полстакана вина и съел бутерброд. Когда же я кончил, экзаменаторы, предоставив мне время для отдыха, сами уселись за стол и с завидным аппетитом выпили и закусили.

Добавочные экзамены продолжались минут по двадцати и не носили такого углубленного характера, как главный. А потом для кандидата наступало самое тягостное время, когда он в соседней комнате дожидался результата совещания экзаменаторов. Помню с каким замиранием сердца я вернулся в экзаменационный зал, где меня встретил декан, прочитавший мне протокол совещания. Это был один из счастливейших, если не самый счастливый миг в моей жизни. Оказалось, что мои успехи были оценены наивысшей отметко «summa cum lauda», которая редко присуждалась даже немецким студентам. В этот незабываемый момент я почувствовал, что вступаю твердой ногой на новый жизненный путь, путь научно-исследовательской работы, путь искания истины. Если истина, как бесконечно удаленный идеал, и недостижима, то даже малое приближение к ней оправдывает существование человека и придает смысл его жизни. Затем последовали приветственные рукопожатия экзаменаторов и традиционное вручение в соседней комнате золотой монеты обер-педелю. А в вестибюле уже ждали букет цветов и поздравления от коллег. Торжество закончилось товарищеским ужином, который продолжался до утра. Я жил тогда в одиночестве, так как моя семья пребывала на курорте, и, возвратившись в свою комнату около 7½ часов утра в чрезвычайно веселом и возбужденном настроении, решил проявить геройство и отправиться

на лекцию Бючли, которая начиналась в 8 часов. Чтобы минутку отдохнуть, я присел на стул, но сообразил, что в таком положении я могу под влиянием винных паров, изобильно во мне бродивших, заснуть. Поэтому я вскочил со стула, чтобы немедленно пойти на лекцию, но в это время услыхал звук гонга, призывавшего жильцов нашего пансиона к обеду. Оказалось, что я проспал, сидя на стуле, несколько часов, и горделивое геройство мое не осуществилось. Зато было не мало смеху, когда потом я рассказал об этом коллегам.

Итак, я значительно продвинулся к достижению поставленной себе жизненной цели, но главная моя задача заключалась в том, чтобы войти в состав своего отечественного, Московского университета. Мой докторский экзамен состоялся 4 августа 1904 года. Отдохнув короткое время у своих на курорте, я поспешил переехать с семьей в Москву, чтобы продолжать научную работу на родной почве. Политические события того времени, например, русско-японская война или рождение наследника, лишь поверхностно затрагивали мое внимание, целиком поглощенное наукой. Но по возвращении в Россию они нахлынули на меня, уже в сгущенной форме, могучей волной. Следствием этого были сначала частичные отклонения от научной деятельности, а потом и полное раздвоение личности, принужденной работать в двух сферах: теоретически-научной и практически-общественной.

IV. МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

«И вместе мы сошлись сюда
С краев России необъятной
Для просвещенного труда,
Для жизни светлой, благодатной»

Из стихотворения студента К. Аксакова, прочитанного им на годичном акте Московского университета.

Мой путь к Московскому университету, как это явствует из предшествующего изложения, был длинный и осложненный всяческими препятствиями. Может быть, этим отчасти и объясняется моя исключительная любовь к нему, подобная нежности матери к долгожданному и с большими страданиями полученному ребенку.

Еще в то время, когда я служил в банке и не видел перед собой иной жизненной перспективы, университет однажды, как бы пророчески напомнил о себе. При чтении газет мне бросилось в глаза сообщение о том, что в находящемся при университете Императорском обществе испытателей природы состоится годичное общее собрание, на котором проф. М. А. Мензбир произнесет речь на тему о дарвинизме. Это было в самом конце XIX столетия, когда учение Дарвина безраздельно господствовало в самых широких кругах интеллигенции, признавалось альфой и омегой не только для естествознания, но и для некоторых других научных дисциплин. Понятно, что меня, следившего за развитием науки, особенно в области природоведения, эта речь известного ученого заинтересовала. Я пригласил жену, и мы с трепетным волнением перед храмом науки отправились в университет. Выйдя на улицу мы не на-

шли ни одного извозчика. А ходить пешком в театр или куда-нибудь на вечер тогда, по крайней мере в нашем кругу, было не принято. Вдруг видим, что в нужном нам направлении едет карета без седоков. Кучер охотно согласился за соответствующее вознаграждение довезти нас. И вот мы торжественно въехали в университетский двор и подкатили к подъезду, чем вызвали некоторую сенсацию среди швейцаров, думавших, очевидно, что явилось какое-нибудь важное начальство. Но и мы при этом первом посещении универистета волновались не менее, и, войдя в аудиторию, забрались в задние ряды, на самый верх.

Вся процедура годичного собрания произвела на меня неизгладимое впечатление. Тут я впервые увидел маститого президента Общества проф. Н. А. Умова, величественного старца с белоснежной львиной шевелюрой и небольшой седой бородкой. Грубоватые черты лица не мешали его вдохновенному выражению, что подчеркивалось и его речью, торжественной и витиевато-элегантной. А обстоятельный, до конца исчерпывающий тему доклад М. А. Мензбира, тогда еще сравнительно молодого, черноволосого и чернобородого, празднично облеченного во фрак профессора, положительно очаровал меня.

Когда я покидал собрание, во мне снова загорелись уже полузабытые мечты об университетском образовании. Но мог ли я, скромный, никому неведомый, не видевший во всём многолюдном собрании ни одного знакомого лица, думать о том, что я впоследствии сделаюсь членом правления Общества испытателей природы и, совместно с проф. Мензбиром, редактором научных изданий этого Общества, буду состоять в дружественных отношениях с проф. Умовым, буду на половинных началах с проф. Мензбиром переводить с английского языка учебник сравнительной анатомии Кингсли, буду делать, как и он, торжественный доклад на годичном собрании Общества и буду, наконец, вызывать уже обоснованное волнение среди швейцаров своим появлением в университете в качестве ректора.

Судьбе угодно было, чтобы всё это осуществилось, совсем как в волшебной сказке.

Уже во время пребывания заграницей я собирал от многих, обучавшихся там русских сведения о московских зоологических учреждениях. Между прочим, в лаборатории Бючли работал в летнем семестре, т. е. во время русских каникул, ассистент проф. Мензбира, Н. К. Кольцов, который мне много рассказывал о том, как его шефу в первое время профессорствования приходилось ютиться между двумя другими зоологическими учреждениями Московского университета, вполне прилично оборудованными, а именно Зоологическим музеем и Зоологической лабораторией. Это бесприютное положение весьма картинно описывает и А. Белый в своих, уже цитированных мною воспоминаниях. Но потом, по словам Кольцова, Мензбиру удалось достать нужные средства и организовать Институт сравнительной анатомии, который был оборудован новейшими научными приспособлениями.

Поэтому первые мои шаги, по возвращении в Москву, были направлены в Институт сравнительной анатомии. Кольцов представил меня суровому на вид Мензбиру, который, выслушав рассказ о моем пребывании в Гейдельберге, охотно предоставил мне рабочее место в своем институте. Таким образом я вступил в среду московских зоологов.

Институт сравнительной анатомии был обставлен гораздо более богато, чем Зоологический институт в Гейдельберге. Но богатства эти не были в достаточной мере использованы. Поражало меня и то, что многочисленные, работавшие там молодые специалисты должны были вести свои исследования совершенно самостоятельно, без всякого руководства со стороны главы учреждения. В Гейдельберге я привык видеть, как уже упомянуто выше, что Бючли два раза в день обходил своих учеников, среди которых бывали и люди уже обладавшие научным именем, просматривал приготовленные ими препараты и подолгу беседовал с

каждым. Это гарантировало и соответствующий уровень выпускавшихся из института научных работ. В Москве же, среди хороших исследований, нередко выпускались публикации, хотя весьма обширные, но легкомысленные, как бы любительские, в которых явно сквозил недостаток школы. В еще большей степени, чем к Институту сравнительной анатомии, это относилось к другим учреждениям, на что также обращает внимание А. Белый. Правда, некоторые молодые люди, работавшие в области позвоночных животных, обращались иногда за советом к Мензбиру. Но мне и другим, занимавшимся изучением беспозвоночных, нельзя было рассчитывать на его советы. Тем более, что он был специалистом по исследованию фауны, а к нашей микроскопической технике не проявлял большого интереса. Что касается меня лично, то в описываемое время я в советах уже не нуждался. Будучи пропитан гейдельбергской школой, я быстро двигался по проложенным таким образом научным рельсам.

Рабочая и товарищеская атмосфера, царившая в институте, оставила во мне самое приятное воспоминание, и когда впоследствии, уже в бытность мою профессором, М. А. Мензбир, несправедливо отстраненный начальственным декретом от заведывания институтом, высказывал мне свое желание, чтобы я сделался, при наступлении лучших времен, его преемником в институте, я охотно прислушивался к этим словам, мечтая, с одной стороны, о возглавлении широко поставленного научного предприятия, а с другой стороны, о том, чтобы восстановить справедливость и вернуть создателя и бывшего директора снова в институт, создав там для него какую-либо особо почетную обстановку. Но этой мечте не было суждено осуществиться.

Возвращаясь к воспоминаниям о времени своего пребывания в Институте сравнительной анатомии, я должен отметить, что мы вообще не часто видели нашего директора. Он был переобременен всяческой работой: чтением многочисленных лекций, редактированием научных трудов Общества испытателей природы,

переизданием своих учебников и т. д. В остальное время он был погружен в свои орнитологические коллекции, которые, по словам знатоков, были исключительно богаты и интересны.

Внешне угрюмый, особенно, когда с опущенной головой, тяжеловесными, как говорили, слоновьими шагами, он задумчиво проходил по коридору института, Михаил Александрович Мензбир проявлял тем не менее неизменную благожелательность к своим ассистентам и научным сотрудникам. Его институт явился колыбелью серии выдающихся ученых. Его достоинства, как лектора, мастерски изображены в цитированной уже мной книге А. Белого.

Старший ассистент института, Петр Петрович Сушкин, в то время уже доктор зоологии, представлял собой также весьма симпатичное явление. Добродушный, но в то же время остроумный, часто до язвительности, он был автором капитальнейших трудов по орнитологии. Его главная монография приближалась по размерам к вышеупомянутому опусу Фюрбрингера, но трактовала не об анатомии, а о систематике птиц, т. е. о теме, для нас, биологов, мало интересной. Поэтому, даря мне эту книгу, он снабдил ее посвящением: «Не для чтения, а в знак почтения». Но производя свои исследования в сравнительно узкой научной области, он был разносторонне образованным человеком и интереснейшим собеседником. Это проявлялось особенно за общим лабораторным полуденным чаем, во время которого он в более или менее анекдотической форме рассказывал нам последние новости из университетской жизни. Тут-то и выступала его остроумная находчивость и язвительность. Припоминаю, между прочим, его повествование об экзаменовавшемся у него А. Белом, из которого вытекало, однако, что неуспех этого экзамена обусловился не только антипатией Сушкина к символистам и декадентам, как на это жалуется Белый, но главным образом, уровнем научных познаний талантливого поэта, обиженного тем, что он

во второстепенной отрасли своей деятельности не получил желательного ему признания.

Впоследствии П. П. Сушкин стал профессором Харьковского университета, куда, после смерти своего тамошнего коллеги, проф. Никольского, он пытался перетащить и меня. Но к тому же самому времени подоспели выборы в Государственную Думу, и мне пришлось университетскую кафедру променять на парламентскую трибуну. В большевистское время Сушкин, так же, как и Мензбир, был избран членом Академии Наук.

Вторым ассистентом и заведующим библиотекой института был уже вышеупомянутый Николай Константинович Кольцов, очень способный ученый, у которого впоследствии образовалась и группа учеников. Он профессорствовал на Высших женских курсах и в Народном университете имени Шанявского, своеобразном учебном заведении, созданном Московским городским управлением на средства, завещанные генералом Шанявским, в котором, наряду с популярными лекциями, велась также работа научного содержания. Но настоящую университетскую кафедру Кольцову получить не удалось, что и было предметом его ущемленного самолюбия. В Московском университете он читал доцентские курсы и только при большевистском режиме сделался т. наз. декретным профессором. Его специальностью были вопросы цитологической области, успешная разработка которых и принесла ему солидное имя в заграничных ученых кругах. Но некоторыми чертами характера он напоминал Тимирязева. То же левое направление в политике, то же искание популярности. Будучи уже давно магистром, он, в описываемое мною время, подготовил докторскую диссертацию на тему о строении спермиев у ракообразных животных. Эта работа, которая с точки зрения биолога казалась заслуживающей уважения, вызвала к себе, однако, резкую критику в факультетских кругах университета. Возражения, главным образом, исходили от физиков, которые нашли в ней серьезные погрешности

против основ своей науки. Тогда автор неудачной диссертации сделался яростным противником двух ученых степеней и начал доказывать, что одной магистерской степени вполне достаточно, но что эта степень должна быть переименована в докторскую.

Такая точка зрения вообще часто высказывалась тогда в левых академических кругах. Подкреплялась она и тем соображением, что в немецких университетах присуждалась лишь одна степень. Необходимо, однако, иметь ввиду, что между немецкой университетской жизнью и русской существовало значительное различие. При очень большом количестве университетов в Германии, там проявлялась двоякого рода конкуренция. Во-первых, конкурировали между собой университеты, стараясь заполучить в свои стены наиболее заслуженных в науке профессоров. А во-вторых, и эти последние стремились из более бедного университета перебраться в более богатый, где они могли получить лучшую обстановку для своей научной деятельности. Такое соревнование, помимо внутреннего фактора — любви к науке, было весьма существенным поводом к интенсификации научно-исследовательской работы. Научная жизнь в Германии кипела ключом.

В России же, при одиннадцати университетах на весь ее необъятный простор, наблюдалась иная картина. Профессор, как правило, всю свою жизнь проводил в одном и том же университете. Шансы на его перемещение были крайне малы. А когда он выслуживал свой срок и уходил на пенсию или когда он умирал, то кафедру его обыкновенно получал в наследство, и тоже пожизненно, кто-нибудь из его помощников. Таким образом создавался известный квиетизм в профессорской среде, который не способствовал широкому развитию исследовательской работы. Внутреннее горение есть, как известно, удел немногих, а потому и для научной деятельности часто бывает необходим внешний импульс. Особенно в стране, культурный уровень народа которой был сравнительно низким. Таким импульсом и являлась вторая, т. е. докторская

диссертация, к которой предъявлялись высокие требования в том смысле, что она должна была содержать в себе серьезное научное открытие. Вследствие этого она обычно приурочивалась ко второй половине жизни ученого. До того же времени он мог быть лишь экстраординарным профессором, или, в крайнем случае, в виде исключения, исполняющим должность ординариуса.

Докторская диссертация, как и магистерская, защищалась в публичном собрании факультета, т. е. под широким общественным контролем. Начиналось такое заседание вступительной речью диспутанта, в которой он обрисовывал основные положения своей работы. Затем слово предоставлялось двум официальным оппонентам, назначенным факультетом, далее остальным членам факультета, желающим возразить, и наконец, посторонним лицам из публики. Случалось иногда, что из среды последних выступал специалист со столь основательной и неопровержимой критикой, что диссертация, уже одобренная факультетом, подвергалась вторичному рассмотрению и признавалась недостаточной. Такой строгий контроль несомненно служил, хотя бы до известной степени, повышению уровня научной продукции.

В связи с этим в университетской среде циркулировало следующее шуточное объяснение букв, помещенных на магистерском и докторском нагрудных знаках. Эти знаки были такой же формы, как и значки, носимые всеми, окончившими университет, обрамленные, как известно, белым эмалевым ромбом. Но они имели значительно больший размер, причем магистерский знак был серебряный, а докторский золотой. На первом была помещена буква М, что по мнению шутников означало, что человек поработал в научной области еще мало, а на втором Д, т. е. достаточно.

Возвращаясь к характеристике Н. К. Кольцова, я должен, к сожалению вспомнить, что его карьера в Институте сравнительной анатомии кончилась довольно

печально. Произошло это из-за конфликта между наукой и политикой. В 1904 году, когда земские собрания одно за другим направляли императору Николаю II ходатайства о смягчении монархического режима и о переходе к конституционному образу правления, копии этих ходатайств были использованы для пропаганды среди населения. Одним из деятелей по размножению их в виде листовок и распространению был кн. С. И. Шаховской. Кольцов с ним близко сошелся и печатал листовки на ротаторе в институте. Однажды Мензбир, роясь в институтской библиотеке, находившейся, как сказано, в заведывании Кольцова, нашел множество таких противоправительственных прокламаций, запрятанных среди научных книг. Придя в негодование по поводу того, что ответственность за революционный акт переносится таким образом на целое научное учреждение, Мензбир крупно поговорил с Кольцовым, в результате чего последний перестал посещать институт. Но тем большую популярность он приобрел себе среди революционно настроенной молодежи.

Из других ассистентов, служивших в институте за время моего там пребывания, отмечу лишь В. А. Дейнегу, принадлежавшего к типу т. наз. вечных ассистентов, вроде известного в Москве ассистента по химии, кн. Волконского, живой образ которого нарисовал в своих воспоминаниях А. Белый. У нас говорили, что существуют «две Дейнеги»: одна ботаническая — Валериан Аверкиевич, весьма способный приват-доцент, а другая зоологическая — Вячеслав Аверкиевич, милейший человек, исключительной аккуратности и добросовестности, которому не удалось продвинуться по научно-исследовательскому пути, но который был незаменимым хозяйственным ассистентом. Впоследствии он по наследству от Мензбира перешел ко мне, что дало мне возможность чувствовать себя совершенно избавленным от хозяйственных забот, так мешавших научной работе. Лишь при моем отъезде из Москвы в конце 1922 г. ему, уже многим старшему чем я, был поручен для чтения один из моих курсов.

Во время моего прибытия в Москву, кроме Мензбира, во главе учебно-вспомогательных учреждений по зоологии стояли еще два профессора: Г. А. Кожевников и Н. Ю. Зограф. А. А. Тихомиров, о котором я говорил выше, был уже на пенсии, не заведывал никаким институтом, а читал лишь лекции, в которых громил дарвинизм. Его противники с удовольствием рассказывали о его неудаче с заключительным эффектом на одной из его лекций. В качестве последней картины для волшебного фонаря он подготовил фотографию уродливой обезьяны. Последние слова его лекции были: «А теперь я спрошу у вас, господа, напоминает ли чем нибудь эта гнусная харя образ человеческий?». При этих словах он повернулся в полуоборот к экрану, а демонстратор нечаянно, а может быть и с намерением, не успел вложить диапозитив в фонарь, так что на освещенном круге экрана отчетливо вырисовался силуэт профессора. Непопулярный лектор должен был покинуть аудиторию под бурно-насмешливые аплодисменты.

Григорий Александрович Кожевников при своих административных занятиях по управлению обширным музеем имел мало времени для научной работы. Он занимался изучением пчел, объекта уже достаточно известного, и опубликовал на эту тему несколько исследований. Между прочим, ему удалось найти у пчелы неизвестную до того времени железку. Этим он очень гордился и всюду рассказывал о своем «откнытии» (он произносил букву р как н). Большим научным авторитетом он не пользовался, а его помощники и студенты постоянно высмеивали его произношение, различные неудачные обороты речи и другие смешные стороны его поведения. Так например, однажды его ассистент В. С. Елпатьевский в ужасе сообщил ему, что какой-то дурак напустил в музейном зале по всему полу почти на вершок воды. На это Кожевников ему спокойно ответил: «Это я: я боялся, как бы там не потрескались от сухости шкафы». Другой, совершенно трагикомический инцидент произошел у него уже в советское время

с ассистентом Плавильщиковым, человеком, страдавшим тогда, повидимому, нервной неуравновешенностью. Плавильщиков принес ему из банка ассигновку на музей в размере нескольких миллионов рублей (это было время инфляции), и пока Кожевников пересчитывал деньги, выхватил из кармана револьвер, выстрелил ему в лицо, а затем забежал сзади и еще раз пальнул ему в затылок. Но револьвер был, повидимому, не на высоте своей задачи, и Кожевников, прижимая платок к кровоточащему виску, выскочил на университетский двор и крикнул проходившему там экзекутору: «Иван Дмитнич, меня застнелили, везите меня сконей в клинику». Через неделю, однако, он уже снова был в музее, и от полученных им ран остались лишь незначительные следы. После этого, в связи с его могучей, коренастой фигурой и огромного размера головой, на которую, как он жаловался, он не мог подобрать в Вене достаточно просторной шляпы, у нас стали шутить, что его череп нельзя пробить револьверной пулей и, что если Плавильщиков захочет повторить свое покушение, ему придется запастись артиллерийским орудием. Однако, к характеристике добродушного характера проф. Кожевникова надо отметить, что он не преследовал своего ассистента, который после пребывания в больнице по нервным болезням, снова вернулся к исполнению своих служебных обязанностей.

Его имя промелькнуло потом даже в иностранной литературе в связи с попыткой, по его словам удачной, повторить опыт некоего немца с перенесением голов от одного таракана на обезглавленное тело другого. Но в дальнейшем по поводу этого, казалось бы столь эффектного опыта, наступило полнейшее молчание, из чего явствует, как и следовало ожидать, что его видимый успех был основан на каком-то недоразумении.

Бóльшим успехом мог похвалиться Елпатьевский, эмбриологические исследования которого цитируются в заграничной научной прессе. Втроем, вместе с Елпатьевским и В. Д. Лепешкиным, богатым фабрикантом и

любителем зоологии, мы издавали одно время, при финансовой поддержке со стороны последнего, «Биологический журнал», который печатался на иностранных языках и поэтому имел хождение не только в России, но и за ее пределами.

Директором Зоологической лаборатории, которая впоследствии была переименована в Зоологический институт, и в которой обучались также студенты медицинского факультета, состоял проф. Николай Юрьевич Зограф, автор обширного, но не особенно толкового учебника зоологии для медиков. С этим корректным и добродушным старцем у меня сразу, по приезде в Москву, завязались дружественные отношения, несмотря на возникшую между нами конкуренцию. А именно, он только что издал в это время в виде особой брошюры свое исследование над строением глаз низших ракообразных из группы бранхиопод. Я же привез отдельные оттиски статьи, опубликованной в самом распространенном немецком зоологическом журнале, буквально на ту же тему. Но несмотря на то, что на статью молодого ученого, правда выполненную в знаменитой немецкой лаборатории, было обращено большее внимание со стороны специалистов, чем на публикацию старого профессора, изданную в Москве, Н. Ю. Зограф проявил ко мне большую симпатию, и мы подолгу беседовали с ним об общих объектах нашей исследовательской работы. А на торжественном ужине по случаю его юбилея, в ответ на мою приветственную речь, он напророчил мне прекрасную научную будущность. Поэтому, когда я решил приступить к магистрантским экзаменам, я прежде всего обратился к нему. Но тут он оказался на самой вершине академических требований и задал мне проштудировать для экзамена у него литературу приблизительно в 50.000 страниц. Однако, и за это я ему был в конце концов благодарен, потому что в результате напряженной работы нескольких месяцев я приобрел богатый запас знаний, очень помогший мне в осуществлении его же пророчества.

Надо заметить, что мое положение лица, работавшего в Институте сравнительной анатомии и дружившего с проф. Зографом, не было приятным, потому что между двумя соседними учреждениями всегда существовали холодные отношения, которые по временам даже совершенно прерывались.

Такая натянутость взаимоотношений есть явление, к сожалению, весьма часто наблюдаемое между профессорами, обслуживающими одну и ту же научную дисциплину в том же университете. Так, в Москве это имело место между всеми тремя зоологами, между двумя ботаниками, двумя химиками, двумя физиками и т. д. С подобным явлением я неоднократно встречался не только в России, но и заграницей. Повидимому, оно органически связано с каким-то соревнованием в области не то научных исследований, не то управления однородными учреждениями и напоминает до известной степени традиционные интриги в актерской среде. Меня, с самых юных лет восторженно стремившегося в храм науки, это явление глубоко поразило и оскорбило. Поэтому всю свою жизнь я старался поддерживать со своими соседями по научной работе самые добрые отношения. Однажды получил даже от профессора Мензбира по этому поводу упрек в том, что у меня чересчур мягкий характер.

Старшим ассистентом у проф. Зографа, а после его смерти заведующим институтом, был Николай Васильевич Богоявленский, теперь тоже уже скончавшийся. Это был добрейшей души человек, любимый студентами, но не оставивший в науке сколько-нибудь заметного следа. Он получил кафедру лишь по выслуге лет, по преемству от своего учителя и шефа.

К группе профессоров, занимавшихся зоологическими объектами, принадлежал и Иван Флорович Огнев, профессор гистологии медицинского факультета. Его институт находился на университетском дворе, как раз против Зоологического музея. Его взаимоотношения с профессорами зоологами были приблизительно стольже «нормальны», как и описанные мною выше. У нас в

институте его постоянно высмеивали за привычку складывать необычайно мягкие губы в виде как бы воронки, узким отверстием вперед. Сушкин язвительно сравнивал это с одной из частей куриного тела, каковая неприличная кличка за ним и утвердилась. Но у меня возникла с ним самая дружественная связь, особенно укрепившаяся в течение лета, проведенного нашими двумя семьями на соседних дачах в окрестности гор. Можайска. Там, на живописном берегу Москва-реки, мы целыми часами беседовали на научные и иные темы. Он был человеком весьма широкого умственного кругозора, не только великолепно ориентировавшимся в биологических вопросах, но начитанным и в области философии. Из этих бесед я, тогда только что вступивший на самостоятельный научный путь, извлек много поучительного.

Между прочим он рассказывал мне о своем учителе, знаменитом гистологе Бабухине, который, по привычке, свойственной многим гениальным русским ученым, не любил опубликовывать свои открытия. «Полулежа на диване в своем лабораторном кабинете, — говорил мне Огнев, — он разъяснял нам, своим молодым сотрудникам строение нервной системы так, как это впоследствии было описано Гольджи, Рамон-и-Кахалом, Апати и другими учеными, которым и приписывается ныне заслуга этих выдающихся открытий». Еще более ярким примером такой беззаботности был, по словам Огнева, проф. Рулье, который увлекался спиртными напитками, а в 40-х годах, когда состарился, перестал читать лекции в университете. Лиц же, интересовавшихся его своеобразными научными воззрениями, он приглашал в соседний с университетом трактир, где и вел с ними как бы семинарские занятия. И вот, когда в 1859 г. была опубликована теория Дарвина, получившая потом мощное распространение во всём ученом мире, для собеседников Рулье она не представляла большой новости. Многое, что было изложено в книге прославленного англичанина, они слышали из уст своего учителя в московском трактире.

Эта печальная для русского национального самосознания традиция коренится, как мне стало ясно впоследствии, в личности праотца русской науки и университетской образованности, М. В. Ломоносова, который многие из своих гениальных открытий в области естествознания, повторенных потом иностранными учеными и принесших им мировую славу, опубликовал лишь на русском языке или даже вовсе не обнародовал, оставляя лежать записки о них в архиве академии, где они и были найдены лишь в самое последнее время[5].

Войдя в самое дружеское общение с вышеназванными московскими учеными и с их молодыми сотрудниками, я продолжал в Институте сравнительной анатомии свои научные исследования, начатые и намеченные мной в Гейдельберге. Прекрасная школа, которую я там получил, придавала мне известную авторитетность среди коллег, а первоклассный микроскоп Цейса, вывезенный из-заграницы, очень облегчал мою исследовательскую работу. Никакого официального положения в институте я не занимал, так что всё мое время мог отдавать научной работе. Построенный мной дом обеспечивал нам бесплатную квартиру и скромный доход, на который мы могли существовать. Это было большой удачей по сравнению с большинством коллег, которые должны были тратить много времени на добывание средств к жизни, занимая должности ассистентов, учителей в средних учебных заведениях и т. п. Такая необходимость заработка буквально сломала многим талантливым ученым их академическую карьеру. К парадоксам моей жизни относится между прочим и то, что я, достигший впоследствии самых вершин университетской иерархии, никогда не был ни ассистентом, ни экстраординарным профессором.

В конце первого учебного года моего пребывания в Москве я решил приступить к сдаче магистрантских экзаменов. Секретарь физико-математического факуль-

[5] Более подробно я писал об этом в моей книге «Русские естествоиспытатели», изданной в Праге в 1927 г. на чешском языке.

тета, проф. Э. Е. Лейст, милейший человек, но строгий формалист-немец, объяснил мне, что я, как доктор иностранного университета, имею право приступить к этим экзаменам, если у меня есть ученые труды. Поэтому, пояснил он, вы должны иметь не одну, а две напечатанные работы. У меня в то время их оказалось уже три, так что с формальной стороны всё обстояло благополучно. Труднее было дело по существу. Впоследствии магистрантские экзамены были упрощены и сведены к испытаниям по одному главному и двум второстепенным предметам по выбору экзаменующегося. В мое же время надо было сдавать пять экзаменов: по зоологии беспозвоночных, по зоологии позвоночных, по физиологии, по палентологии и по ботанике. При том по основному моему предмету — беспозвоночным, мне надо было прочитать, как упомянуто выше, около 50 тысяч страниц. Пришлось забросить исследовательскую работу и всё лето и осень зубрить с утра до вечера.

А между тем в Москве, как и по всей России, начали разыгрываться грозные политические события. После неудачной для нас русско-японской войны в обществе быстро нарастало революционное движение, одним из центров которого был университет с его богатым взрывчатым материалом, т. е. со студенческой средой, уже давно пропитанной крайне-левыми политическими настроениями. В студенческой массе чувствовалось непрерывное брожение, которое подчас выливалось в открытые студенческие беспорядки, жестоко подавлявшиеся, вплоть до наказания студентов отдачей в солдаты.

Университетское начальство всячески старалось предотвратить столкновение студенчества с полицией. Помню большую студенческую сходку, на которой тогдашний ректор, кн. С. Н. Трубецкой, убеждал молодежь «не делать из университета площади и из площади университета». Но это и подобные ему увещания оставались голосом вопиющего в пустыне. Вскоре после этого князь, во главе делегации от общественных деятелей,

ездил к государю с ходатайством о смягчении монархического режима. Но и это его обращение осталось бесплодным. Сердце выдающегося профессора, общественного деятеля и пылкого патриота не выдержало всех выпавших на его долю испытаний, и он умер в сравнительно молодом возрасте. На его похоронах я впервые услыхал революционную песню, сделавшуюся потом весьма популярной: «Вы жертвою пали в борьбе роковой». Но революционная Москва на похоронах этой жертвы не собралась. Провожавшая гроб толпа студентов и народа была сравнительно немногочисленна, что, по словам одного из моих коллег, объяснялось тем, что С. Н. Трубецкой «был только либералом».

Совсем другой характер носили похороны революционера, рабочего Баумана, убитого во время столкновения с полицией. Эти похороны приняли характер грандиозной политической демонстрации. На два километра тянулось шествие с красными флагами и плакатами, за которым следовал гроб, обитый также красной материей. Это были первые в Москве революционные похороны, на которых, по соглашению революционеров с правительством, полиция отсутствовала, и порядок поддерживался самими рабочими.

Однажды старое здание университета с целым прилегающим к нему кварталом различных институтов и лабораторий, где всюду происходили политические митинги с участием посторонней университету публики, было забаррикадировано от пытавшейся проникнуть туда полиции. Целую ночь на внутреннем дворе университета горели костры и раздавались революционные песни. Но в конце концов, полицейская осада увенчалась успехом, и академическая крепость сдалась на милость победителей. Много слышалось после этого возмущенных голосов, обвинявших полицию в том, что она нарушила традиционные прерогативы университета и насильственно вторглась в его аудитории. Другие, однако, оправдывали полицию, яко бы защищавшую университет от наплыва в него чуждых элементов.

К числу кровавых событий, особенно взволновавших общественное мнение, принадлежит шествие петербургских рабочих нереволюционеров, направлявшееся 9 января 1905 г. под предводительством священника Гапона к Зимнему дворцу для подачи петиции государю. В шествии этом несли иконы и портреты царской семьи. Но, тем не менее, против него были двинуты полиция и войска, которые стреляли в безоружный народ. Много людей было убито и ранено. Остальные разбежались. Этот инцидент воочию показал растерянность правительства и его неспособность орьентироваться в создавшейся обстановке.

А между тем развивался революционный террор. В феврале 1905 г. произошло убийство Московского генерал-губернатора, великого князя Сергея Александровича, нелюбимого за его крайне консервативные мероприятия. Это убийство совершилось в Кремле, в непосредственной близости от университета, посредством бомбы, брошенной студентом Каляевым, что еще более повысило настроение революционного студенчества.

В декабре 1905 года, после длительного периода митингов и других выступлений, на которых открыто провозглашались революционные лозунги, и к которым правительственная власть относилась как-то растерянно-терпимо, разразилось в Москве вооруженное восстание, жестоко подавленное присланным из Петербурга Семеновским гвардейским полком. Командир полка ген. Мин был вскоре после этого убит террористами. Но и главный герой восстания лейтенант Шмидт, превративший фабричный район Пресни в укрепленный лагерь, был захвачен и казнен.

Правительство не могло уловить требования момента.

Булыгинский проект создания законосовещательной думы, который соответствовал пожеланиям, высказанным в некоторых из вышеупомянутых всеподданнейших адресов земских собраний, уже никого не

удовлетворял, и некоторое успокоение внес лишь манифест 17-го октября 1905 года, по которому ни один закон не мог иметь силу без одобрения Государственной Думы и Государственного Совета. В этот день, выйдя из университета, я столкнулся с многолюдной манифестацией, направлявшейся к Бутырской тюрьме с целью освободить находившихся там политических заключенных. По дороге толпа снимала с домов национальные флаги, вывешенные по случаю объявления манифеста, обрывала с них белую и синюю полосу, а древко с красной полосой уносила с собой. На Тверской улице против генерал-губернаторского дома был устроен митинг. Генерал-губернатор, если не ошибаюсь, Дубасов, приветствовал с балкона толпу, но протестовал, правда в довольно мягкой форме, против порчи национальных флагов, т. е. против надругательства над русским национальным самосознанием. Эти убеждения принимались с насмешкой. Ведь русская революция проходила не под знаком патриотизма, как великая французская, а под лозунгом интернационала. Освободить заключенных толпе, однако, не удалось, что вызвало новый ожесточенный взрыв в революционных кругах.

Вообще революционное движение отнюдь не замерло после 17-го октября и вспыхнуло с новой силой сначала в форме декабрьского восстания, а потом в связи с роспуском первой Государственной Думы, когда даже либеральная, конституционно-демократическая партия, составлявшая в этой Думе большинство, вступила опубликованием Выборгского воззвания на путь чисто-революционный. Подписавшие это воззвание были преданы суду и приговорены к тюремному заключению. Возложенный на них, таким образом, ореол мученичества еще более сгустил революционную атмосферу. Особенно ярким доказательством общественного полевения были выборы во вторую Государственную Думу, в которой центральное руководящее место оставалось за кадетами, но резко усилилось левое крыло, за счет социалистов.

Лишь с роспуском второго думского состава, с изменением избирательного закона, которым создавалась «законопослушная дума», и с другими твердыми мероприятиями правительства, во главе которого оказался решительный, искусный администратор П. А. Столыпин, мало считавшийся с общественным мнением, но умевший разделять и властвовать, наступило более спокойное время. Правда и это спокойствие оказалось лишь поверхностным. Революционное движение, загнанное в толщу народных масс, вспыхнуло с новой силой под воздействием неудачной для России мировой войны и повело к неслыханному в мире государственному перевороту.

И вот в такой обстановке революционного развала настал в начале декабря 1905 года долгожданный день моего первого магистрантского экзамена, который должен был состояться в связи с назначенным на этот день факультетским собранием. Когда я в послеобеденное время направился в университет, мальчишки на Тверской улице продавали экстренные выпуски газет с известием о начале всеобщей забастовки. А придя в университет заблаговременно перед заседанием, я услышал от сторожей, что оно может не состояться в том случае, если забастуют и рабочие электрического завода. Встревоженный их словами и тем, что короткий зимний день уже начал склоняться к вечеру, я поспешил вручить им деньги на покупку нужного для заседания запаса свечей. Опасения мои оказались, однако, напрасными. Электричество в этот вечер еще не погасло, заседание состоялось, и проф. Зограф, промучивши меня больше часу, объявил факультету об успешности испытания. А свечи или деньги на них, если свечи не были еще куплены, сыграли роль золотой монеты после моего Гейдельбергского экзамена.

Так политика ворвалась уже в первые шаги моей московской научной жизни. Впоследствии это неоднократно повторялось, притом в гораздо большей степени, вплоть до того, что мне на значительные проме-

жутки времени приходилось прерывать мою ученую деятельность.

Другие экзамены по второстепенным предметам не требовали уже столь громоздкой подготовки и были закончены мной в течение оставшейся зимы и весны 1906 года. Этому способствовало и то, что хотя революционные веяния и отзвуки политических бурь проникали в наш Институт сравнительной анатомии, как это доказывает вышеописанная история с Кольцовым, но доминирующей роли в его стенах они не играли, так что научная жизнь протекала без особенно больших потрясений.

Экзамен по зоологии позвоночных и сравнительной анатомии у проф. Мензбира прошел в атмосфере серьезной научной беседы, для меня, по крайней мере, в высокой степени интересной. Весьма оживленным и коротким оказался экзамен по физиологии у проф. Л. З Мороховца, который был известен не только своими прекрасными научными работами, но также эксцентрическими выходками на лекциях. И экзамен он начал следующим своеобразным заявлением: «Ну, расскажите мне о деятельности кровеносной системы, а я за это время напишу протокол об успешной сдаче испытания». А когда кончил писать протокол, задал мне еще несколько беглых вопросов, рассказал какой-то анекдот, и всё было готово.

Совершенно другой характер имел экзамен по палеонтологии у проф. А. П. Павлова. Этот фанатик науки, исследования которого находили живой отклик и в заграничной печати, вместе со своей женой, тоже выдающейся исследовательницей в области палеонтологии, вели жизнь научных отшельников. Он взял меня, как говорится, на мушку и битый час истязал разными каверзными вопросами, так что я даже не был уверен в успешности испытания, несмотря на то, что за мной была солидная гейдельбергская школа проф. Саломона. Но всё кончилось благополучно и без того, чтобы мне пришлось прибегать к экзаменационным

трюкам, которыми был известен мой старший коллега, тоже гейдельбергский выученик, Н. А. Иванцов. Этот весьма решительный и беззастенчивый человек, экзаменуясь у того же А. П. Павлова, на вопрос о размере зуба ископаемого анхитерия развязно заявил, что он зуба не мерил. А на реплику профессора, что он не требует точного размера, а просит сравнить его с какой-либо монетой, ну напр. с гривенником или с двугривенным, Иванцов своим громоподобным басом воскликнул: «Ну, конечно, он размером с пятиалтынный». Впоследствии, часто встречаясь с Алексеем Петровичем и Марией Васильевной Павловыми в Обществе испытателей природы, я от души полюбил этих прекрасных, отзывчивых на всё доброе людей, и завязал с ними самые дружеские отношения.

Последний экзамен — по ботанике у двух молодых и довольно безцветных профессоров М. И. Голенкина и Ф. Н. Крашенинникова прошел совершенно гладко, без всяких инцидентов.

После экзамена, для получения звания приват-доцента, надо было прочитать две пробные лекции, одну на тему, предложенную факультетом, другую по собственному выбору. Тема, назначенная мне факультетом — о группе иглокожих животных (морских звезд, морских ежей и т. д.) была мне очень приятна, так как во время пребывания заграницей я посетил русскую приморскую биологическую станцию в Виллафранке, где с большим интересом ознакомился с этой своеобразной группой. Сам же я, желая показать, что не хочу замыкаться исключительно в область беспозвоночных, подготовил лекцию о теменном глазе ящериц, в то время еще мало исследованном, который впоследствии стал объектом моей докторской диссертации.

Сделавшись приват-доцентом Московского университета, я не хотел немедленно приступать к преподавательской деятельности, а решил еще некоторое время посвятить углублению в научно-исследовательскую работу. Двухлетняя, бесплатная командировка была

мне дана университетом без всяких затруднений, и осенью 1906 г. я снова выехал с семьей заграницу.

В Гейдельберге, куда я прежде всего направился, меня ждал приятный сюрприз. Там готовился международный съезд по изучению раковых заболеваний. Съезд интересный не только для медиков, но и для биологов вообще. Воспользовавшись своим научным званием, я записался в члены съезда и с большим интересом следил за его работой. Это был первый международный съезд, на котором я присутствовал. Он происходил в весьма торжественной обстановке, так что напр., на открытие его было предписано явиться во фраках. Сидя в этом блестящем собрании мировых научных светил и вглядываясь в лица знаменитых ученых (некоторых я знал по портретам), я вдруг с радостью увидел своего славного соотечественника И. И Мечникова, который был в то время одним из руководителей Пастеровского института в Париже. По окончании заседания я, не без внутреннего трепета, представился ему и на его предложение посидеть где-нибудь в кофейной ответил приглашением закусить у нас дома. Мы только что приехали из Москвы и могли развернуть у себя чисто московское гостеприимство, предложив ему икру, балык и другие московские лакомства. Но он в это время уже строго придерживался выработанного им, на основании его научных исследований, пищевого режима и из всего нашего угощения должное внимание оказал лишь икре и фруктам. Зато в течение своего визита, продолжавшегося не менее двух часов, он знакомил меня и жену со своими воззрениями на то, как человек должен питаться. С бактериальной фауной кишечника, вредящей здоровью и вызывающей преждевременное старение организма, надо бороться приемами кислого молока, т. е. благодетельных для организма молочно-кислых бактерий. Но кроме того следует заботиться о том, чтобы не вводить в организм новых вредоносных микробов. А чтобы они не попадали в тарелку во время еды, лучше всего есть из посуды, стоящей на зажженной спиртовке. Белок

яйца должен быть круто сварен, ибо в него при прохождении яйца через наружные выводные каналы курицы могут проникнуть бактерии. Молоко можно пить, конечно, только кипяченое, фрукты есть лишь после обмывания горячей водой. Даже банан, который своей толстой кожурой идеально защищен от проникновения внутрь бактерий, он всё-таки для предосторожности советовал перед едой окунать в горячую воду. Мы некоторое время с благоговением следовали этим предписаниям знаменитого гигиениста, особенно по отношению к детям. Потом постепенно, из-за их крайней обременительности, стали пренебрегать ими. А в последующее время, с развитием учения о том, что тело человека должно вырабатывать в себе антитела, т. е. внутреннюю сопротивляемость вредоносным микроорганизмам, а также с открытием витаминов, этих благодетельных для здоровья составных частей пищи, которые при сильном согревании разлагаются или ослабляются, гигиенические рецепты Мечникова в значительной мере утратили свой смысл. Поэтому, когда я в 20-х годах путешествовал по Болгарии с одним из учеников Мечникова, тоже видным биологом и сотрудником Пастеровского института С. И. Метальниковым, и, заметив, что он купленный на рынке виноград кладет прямо в рот, сказал, что было бы аппетитнее предварительно опустить его в воду, чтобы удалить микробы, он беззаботно ответил мне: «Ничего, они смоются у меня в желудке».

С И. И. Мечниковым мне приходилось встречаться и впоследствии. Однажды я навестил его в Пастеровском институте, с деятельностью которого он меня подробно ознакомил. Потом, когда он проезжал через Москву по дороге в Киргизские степи для выработки мер против развивавшегося там туберкулеза, я принял участие в уговорах его переехать из Парижа в Москву. На это он ответил решительным отказом, ссылаясь на то, что старому человеку трудно привыкать к новой обстановке. Наконец, когда уже после первой мировой войны я посетил Пастеровский институт, меня провели

в библиотеку, где на одном из шкафов возвышалась урна с прахом нашего выдающегося ученого, который являлся в то же время гордостью французской науки.

По окончании ракового конгресса я снова засел в столь дорогой мне по воспоминаниям Зоологический институт и, на этот раз свободный от посещения лекций, мог целиком отдаться научным исследованиям. Во время своей двухлетней командировки я несколько раз возвращался на каникулы домой, где поддерживал связь с Институтом сравнительной анатомии, ездил в Париж и работал на биологических станциях в Виллафранке, Триесте и Ровиньо. Опубликовав несколько научных трудов и подготовив материалы для русских диссертаций, я вернулся в Москву уже вполне сформированным ученым.

Моя академическая жизнь протекала на редкость удачливо. Преподавательскую деятельность я открыл чтением курса общей гистологии. Лекции, хотя и необязательные, собрали значительный контингент слушателей, и я с увлечением бросился в новую для меня область духовного руководительства молодежью. Я так сблизился со своими учениками, что в конце 1908-09 учебного года, на пасхальных каникулах сорганизовал с ними преинтереснейшую экскурсию в Крым. Нам удалось исследовать недавно перед тем открытую Скельскую сталактитовую пещеру, в которой мы сделали серьезные научные находки, впоследствии мною опубликованные. На биологической станции в Севастополе я ознакомил моих спутников с чарующей наблюдателя морской фауной, в которой я уже чувствовал себя специалистом. Но когда мы потом приехали в Алупку, чтобы заняться собиранием сухопутных форм животных, т. е. насекомых и т. п., наша экскурсия натолкнулась на непреодолимое препятствие к работе. А именно, там оказалась другая экскурсия — слушательниц Московских высших женских курсов, приехавших исключительно для целей отдыха и развлечения. Чудная крымская весна, сказочные красоты морских и горных видов, зовущие к прогулкам, теплые ароматные

вечера под мириадами ярко сверкающих звезд, присутствие молодых, веселых спутниц; против всего этого наука оказалась бессильна. После неудачной попытки водворить трудовую дисциплину, я предоставил своим студентам возможность закончить экскурсию флиртом на фоне южной природы, а сам, захватив с собой собранный научный материал, укатил в Ялту, а потом в Москву.

Вскоре после моего возвращения из-заграницы совершилось еще одно вторжение общественной жизни в мою научную работу. Я был избран гласным Московской городской думы. Но эта функция, давая мне почетное положение отца города, что в мои молодые годы не могло не льстить мне, не отнимала, однако, слишком много времени от моих академических занятий. Я мог не только работать над своими лекционными курсами, приготовляясь читать в следующих семестрах сложный и ответственный курс общей биологии, но и имел достаточный досуг для писания магистерской диссертации, которая к 1909 году у меня была уже готова. Так как она носила гистологический характер, была посвящена исследованию хряща и кости, то главным официальным оппонентом был назначен И. Ф. Огнев, с которым у меня во время диспута, в присутствии многочисленной публики, произошел весьма оживленный и интересный обмен мнений. Второй оппонент Г. А. Кожевников представил возражения довольно слабые, указав между прочим на то, что я, как заграничный ученый, злоупотребляю иностранными терминами. Мой ответ, что это замечание имеет значение относительное, так как и одна из героинь Островского, замоскворецкая купчиха, негодовала по поводу пользования чужими словами — металл и жупел, вызвал бурный смех всего собрания. В толстой, неуклюжей фигуре проф. Кожевникова было нечто, напоминавшее старинную русскую купчиху.

Таким образом я сделался магистром в 33-х летнем возрасте, т. е. несмотря на пропущенные мною для академической жизни 7 лет после окончания средней

школы, догнал своих коллег, а некоторых из них даже перегнал. Но усвоенная мною привычка спешить с продвижением на научном поприще не оставила меня, и немедленно после магистерского диспута я принялся за подготовку докторской диссертации по материалам, в значительной степени уже разработанным заграницей.

Эта диссертационная работа, относящаяся, как было уже упомянуто выше, к теменному глазу ящериц, казалась мне особенно удачной. В ней я впервые с полной подробностью описал строение этого третьего глаза позвоночных животных, и доказал, что это есть образование не рудиментарное, как думали раньше, а нормально функционирующее, в качестве органа зрения. Теменной глаз соединен нервом с определенными центрами головного мозга и является приспособлением для предупреждения животного от грозящей ему сверху опасности, которая для маленьких беззащитных ящериц бывает особенно грозной.

Так как диссертация была посвящена позвоночным животным, было ясно, что первым оппонентом будет проф. Мензбир. Поэтому я передал ему свою рукопись для просмотра и просил отдать ее для напечатания в университетские ученые записки. Вскоре я узнал, что работа печатается, но когда Мензбир передавал мне первые два листа для корректуры, он, к величайшему моему огорчению, заметил, что вряд ли работа подойдет в качестве диссертации, потому что в первых листах он не усмотрел никакого научного открытия. Я попросил его вооружиться терпением и дочитать работу до конца. Вскоре после этого я был командирован университетом на международный съезд зоологов в Граце, состоявшийся в августе 1910 г., где должен был сделать доклад на тему моей диссертации, содержание которой было организаторам съезда известно по опубликованному уже мной краткому предварительному сообщению. Велико было мое ликование, когда по приезде в Грац я узнал, что мой доклад поставлен не на секционное заседание, а на общее собра-

ние съезда, в числе наиболее интересных сообщений. Весь съезд с его богатством научными интересами и всевозможными развлечениями произвел на меня чарующее впечатление, и я почувствовал, что вступаю твердой ногой в международную семью ученых.

А когда я вернулся в Москву и пришел к Мензбиру, который уже вполне ознакомился с моим исследованием и до которого дошли слухи о благоприятном приеме, оказанном мне на съезде, он сразу заявил, что согласен рекомендовать мою работу факультету в качестве докторской диссертации. Защита диссертации была назначена на один из дней в первой половине января 1911 года. Но судьбе угодно было поставить мне перед осуществлением этого дела еще два препятствия — одно академического, другое политического характера.

За несколько дней до диспута проф. Мензбир подошел ко мне с нахмуренным лицом, не предвещавшим ничего доброго, и заявил, что у него снова возникли сомнения относительно моей диссертации. Он выписал книгу лондонского профессора Денди и, хотя еще не успел прочитать ее, но уже видит, что по своему содержанию она совпадает с моей работой, что уменьшает значение этой последней, как диссертации. Я, однако, поспешил успокоить моего будущего оппонента, сказав ему, что я получил книгу в виде подарка от автора, и попросил его обратить внимание на последние страницы книги, посвященные моей работе, где автор целиком признает приоритет моих открытий и называет работу «eminent paper». На другой день Мензбир, уже с веселым лицом, заявил мне, что всё в порядке.

Но накануне диспута снова разразились сдуденческие беспорядки, и поэтому доступ посторонней публики в здание университета был прекращен. А между тем, по университетскому уставу, защита диссертации должна была происходить в публичном собрании. Всё утро мне пришлось бегать по различным должностным лицам, чтобы добиться пропуска посторонних лиц исключительно в ту аудиторию, которая была предназна-

чена для диспута. Поднимаясь перед началом диспута на кафедру для произнесения вступительной речи, я испытывал не только естественное волнение перед предстоящими прениями, но и опасение, как бы посторонняя публика, в большом количестве собравшаяся в аудитории, не надумала воспользоваться удобным случаем, чтобы превратить ученый диспут в политический митинг. Но всё прошло благополучно, хотя пререкаться с таким умником и испытанным диспутантом, как профессор Мензбир, мне было нелегко. Припоминаю, напр., что после того, как я с полной ясностью доказал ему справедливость моего мнения по одному вопросу диссертации, он припечатал эту часть диспута словами: «Всё это может быть и так. Но ведь вы же сами сказали во вступительном слове, что вы собираетесь еще продолжать свои исследования. Следовательно вы не вполне уверены в достигнутых вами результатах. Ну, а теперь перейдем к другому вопросу».

Таким образом мой докторский диспут совершился всего через год с небольшим после магистерского, срок необычайно краткий в условиях нашей академической жизни. То обстоятельство, что я сделался доктором Московского университета, а следовательно приобрел право на занятие должности ординарного профессора в сравнительно молодом возрасте, было для меня большой удачей. Если бы я не поспешил, то при политических осложнениях, вторгшихся в мою жизнь вскоре после этого, мой докторат мог бы и вообще не осуществиться.

Вскоре после моего диспута над университетом разразилась жесточайшая катастрофа на почве защиты университетской автономии. Принцип самостоятельности университета в осуществлении научных и преподавательских целей был намечен еще основателем Московского университета М. В. Ломоносовым. Затем после многих колебаний правительственной политики, когда свобода и права университетов сводились подчас совершенно на нет, автономия в довольно широких пределах была закреплена уста-

вом 1863 г., изданным в эпоху великих реорфм Александра II. Но при наступлении реакционного режима в царствование Александра III университеты уставом 1884 г. были снова лишены многих прав, в том числе и самостоятельности в выборе профессуры и высших должностных лиц. Лишь с вышеописанным зарождением в России конституционных начал, долгожданная автономия была возвращена университетам Высочайшим указом 1905 г. Но она продолжала оставаться как-бы бельмом в глазу у многих старорежимных администраторов и даже у некоторых бюрократически-консервативно настроенных профессоров. И вот один из таких деятелей Московского университета, профессор гражданского права Л. А. Кассо, человек не русского происхождения, сделался министром народного просвещения. По поводу одного из его распоряжений, изданного в 1911 году и шедшего в разрез с принципом автономии, президиум Московского университета, состоявший тогда, как говорили шутники, из трех М, т. е. из профессоров А. А. Мануилова (ректора), М. А. Мензбира (помощника ректора) и П. А. Минакова (проректора), заявил протест. А когда министр стал резко настаивать на выполнении его распоряжения, трое М подали в отставку от своих административных должностей. В ответ на это министр издал уже совершенно незаконное распоряжение об отрешении членов президиума от профессорских обязанностей и о выселении их в двухнедельный срок из казенных университетских квартир. Этот акт, в котором явно сквозило чувство мстительности бывшего профессора к своим более достойным коллегам, вызвал в университетской среде глубочайшее возмущение. Сто тридцать наиболее популярных профессоров и доцентов вышли в виде протеста в отставку. Произошел таким образом большой общественный скандал во всероссийском масштабе. Но, благодаря тому, что третья, законопослушная Государственная Дума приближалась к концу своих полномочий, и ее члены больше интересовались предстоящими выборами, чем академическими делами, а

правительство, оправившись от своей растерянности перед революционным движением, твердо держало бразды правления, скандал постепенно замер к вреду, конечно, для университета, утратившего свои лучшие преподавательские силы, но к торжеству для его инициатора — министра народного просвещения. Единственно, что могло его обижать, было широко распространившееся в публике замечание какого-то остроумца: в университете произошел глупый случай — cas sot.

Мне лично было очень тяжко расставаться с Московским университетом, в котором я еще так недавно и так успешно начал свою научную деятельность. Но преклонение перед свободой научной мысли, а следовательно и перед университетской автономией, которое я культивировал в себе в течение всей жизни и сохранил до наступившей ныне глубокой старости, не давало места для сомнения. Я с полной решимостью подписал заявление об отставке.

Пробегая мысленным взором свои академические выступления, я могу сказать, что трижды принимал участие в коллективных протестах в защиту университетской автономии. Второе выступление состоялось в 1920 г., когда я, в качестве ректора Московского университета, резко возражал против радикальной ломки основы университетского самоуправления Народным комиссариатом по просвещению, о чем речь будет ниже. А третий случай произошел совсем недавно, в начале 1945 года, когда сенат Братиславского университета, членом которого я состоял, единодушно протестовал против закона изданного Словацким правительством и пытавшегося установить, в угоду Гитлеру, диктаторские приемы управления высшей школой.

Возвращаясь к московскому университетскому скандалу, я должен отметить, что наряду с героизмом многих старых профессоров, которые, исходя из идеальных мотивов, покинули свое почетное и в материальном отношении выгодное положение, а также (что

было еще труднее) свои, многими годами упорной работы созданные или усовершенствованные библиотеки, институты и лаборатории, наблюдались и действия совершенно противоположного порядка. Некоторые ученики вышедших в отставку профессоров не только не сплотились с ними в общем благородном порыве, но использовали удобный случай и заняли освободившиеся кафедры. Я помню огорчение М. А. Мензбира, когда он узнал, что его кафедру и заведывание его институтом, из которого он был так грубо и бесцеремонно изгнан, принимает на себя один из любимейших учеников его — А. Н. Северцов. Такое же огорчение испытал проф. П. И. Новгородцев от своего ученика Б. П. Вышеславцева.

Покинув Московский университет, я утратил лабораторию, где мог заниматься научными исследованиями. Но возможность преподавательской деятельности у меня сохранилась, так как незадолго до того я был приглашен для чтения курса сравнительной анатомии на техническом отделении Московского коммерческого института. Это своеобразное высшее учебное заведение, слагавшееся из двух отделений — экономического и технического, возникло по инициативе и на средства московского купечества. Правительство в начале текущего столетия довольно скупо отпускало средства на высшее образование. А купечество того времени не состояло исключительно из тех замоскворецких элементов, среди которых протекало мое детство. В нем выкристализовался высший слой просвещенных общественных деятелей и меценатов. Знаменитый далеко за пределами нашей родины московский клинический городок был построен и оборудован главным образом на средства, пожертвованные представителями купечества. Это запечатлелось и в наименовании клиник: Морозовская, Базановская, Абрикосовская и т. д. Когда же в торгово-промышленных кругах созрела мысль о желательности подготовить обширные кадры высоко квалифицированных специалистов для обслуживания хозяйственной жизни нашей родины, было решено соз-

дать на частные средства высшее учебное заведение и передать его в заведывание не Министерства народного просвещения, которое отличалось особой косностью, а более либерально настроенного Министерства торговли и промышленности[6]. Идея оказалась целесообразной, и вскоре в целом ряде промышленных центров (в Киеве, Москве, Петербурге, Харькове) возникли такие коммерческие институты. Постоянная материальная поддержка со стороны капиталистов давала им возможность прекрасного оборудования библиотек и лабораторий, что, вместе с царившим там более свободным политическим настроением, привлекало в них лучшие академические силы.

Относительно материальных возможностей припоминаю случай, происшедший в Московском институте. В Попечительном совете института, в котором заседало главным образом именитое купечество и где преемником вышеупомянутого инициатора учреждения А. С. Вишнякова был его сын — Петр Алексеевич, возник вопрос о желательности постройки особого здания для химического института. Один из членов совета, шелковый фабрикант и гласный Московской городской думы Н. В. Щенков внес предложение устроить для этой цели бал. Некоторые из присутствовавших на заседании недоумевали, но не возражали, рассчитывая таким путем положить хотя бы первое основание для нужного капитала. Бал был организован с чрезвычайной роскошью, и в результате оказалась чистая при-

---

[6] Интересно подчеркнуть, что высшее образование не было в то время, к счастью для него, сосредоточено в одном министерстве. Многие специальные школы находились в ведении соответствующих их программам государственных органов. Так напр. Петербургский политехнический институт, детище С. Ю. Витте, принадлежал Министерству финансов, Петровская сельскохозяйственная академия под Москвой — Главному управлению земледелия и государственных имуществ и т. д. Под начальством этих правительственных органов учебные заведения чувствовали себя многим свободнее, чем под гнетущим до мелочей контролем школьного министерства.

быль в сто тысяч рублей, на которые и было в кратчайший срок возведено новое здание.

Директором Московского института был Павел Иванович Новгородцев, блестящий профессор юридического факультета, автор нашумевшей в свое время книги об общественном идеале. Глубокий юрист-философ, он был в то же время умелым практиком-организатором, что возбуждало к нему уважение в среде Попечительного совета и немало содействовало процветанию института. Работа же в Попечительном совете проходила под его председательством столь согласованно и единодушно, что когда, однажды при баллотировке оказался один черный шар, все присутствовавшие объяснили это недоразумением и потребовали перебаллотировки, при которой уже все шары оказались белыми. П. И. Новгородцев был членом Государственной Думы, но, как осужденный за подписание Выборгского воззвания, не имел права выставлять свою кандидатуру в последующие составы Думы. В числе вышеупомянутых ста тридцати он покинул Московский университет. Случилось так, что я одновременно с ним писал в канцелярии Коммерческого института заявление об отставке. При этом он с горечью признался, что совершенно так же, как и при подписании Выборгского воззвания, он ощущает всю практическую нецелеобразность этого акта, но чувство чести властно диктует сделать это.

Деканом технического отделения был уже упомянутый выше, мой учитель Яков Яковлевич Никитинский. Он возвел преподавание на большую высоту, непрестанно заботясь о том, чтобы профессиональные предметы изучались на широкой основе естествознания. Исходя из этой мысли он одной из подготовительных стадий для изучения своего курса товароведения считал мои лекции по сравнительной анатомии позвоночных животных.

Состав преподавателей, особенно на экономическом отделении, был блестящий. Кроме П. И. Новгородцева там преподавали: бывший председатель 1-ой

Государственной Думы С. А. Муромцев, муж величавого вида и глубоких юридических познаний, ректор Московского университета А. А. Мануилов, известный авторитет по римскому праву И. А. Покровский, который был приглашен из Петербурга после неприятности, происшедшей у него с министром Кассо, и многие другие университетские профессора. Кадры технического отделения составлялись главным образом из профессоров Технического училища и Петровской академии. Среди них выделялся своим изумительным красноречием ботаник — Николай Николаевич Худяков, которого после особенно удачных лекций студенты с триумфом несли на руках из аудитории до профессорской комнаты.

С Я. Я. Никитинским и Н. Н. Худяковым у меня завязалась впоследствии самая тесная дружба, так что, принимая во внимание наши имена-отчества, нас называли тремя квадратами. Ботаник, зоолог и товаровед, который все свои знания базировал на наших двух науках, мы находили неистощимые темы для ученых собеседований и дебатов.

После нескольких лет существования в качестве частного учреждения, Московский коммерческий институт получил права казенных учебных заведений и превратился, таким образом, в правительственное учреждение, содержимое на частные средства. Я имел в то время уже русскую докторскую степень и был назначен ординарным профессором. Таким образом институт мне временно вознаградил мою неудачу с университетом.

Надо сказать, что и вообще лица, покинувшие университет после скандала с Кассо, не остались безработными. Подобно тому, как И. А. Покровский после своего разрыва с Кассо был приглашен в Московский коммерческий институт, многие из протестантов Московского университета рассосались по высшим учебным заведениям, находившимся в более либеральных ведомствах. А для остальных был сооружен на частные

пожертвования Московский научный институт, первым инициатором которого был врач М. С. Зернов, известный общественный деятель, основатель и директор громадного санатория в Ессентуках. Этот институт мог хотя бы в некоторой степени заменить ушедшим из университета покинутые ими лаборатории. Однако, гордость русской физики, проф. П. Н. Лебедев, известный всему ученому миру своим открытием светового давления, которому институт предоставил для продолжения научных работ сравнительно неудобное, подвальное помещение в Мертвом переулке, не выдержал катастрофы, нарушившей весь привычный уклад его жизни, и погиб от разрыва сердца в сравнительно молодом возрасте.

Что касается меня лично, уход из Московского университета, не знаменовал уменьшения моей рабочей нагрузки. Лекции и практические занятия в Коммерческом институте, разъездные лекции по провинции от имени, возникшего недавно перед тем, Общества народного университета, расширившийся диапазон деятельности в роли городского гласного, участие в организационном комитете Научного института, и в целом ряде других культурно-общественных начинаний, без остатка поглощали всё мое время. Я с величайшим увлечением отдавался всей этой разнообразной работе, не смущаясь различными мелкими неудачами, неизбежными в общественной деятельности, которые к тому же часто можно было отстранить более или менее остроумными приемами. Так однажды я огорчился полицейским запрещением моей лекции в одном из провинциальных городов на тему о дарвинизме. Но в правлении Народного университета меня утешили, сказав, что приготовленную мною лекцию я могу прочесть, но под другим заглавием, например: «О природе Австралии». Лекция состоялась и имела особенно большой успех благодаря рекламе, которую полиция сделала ей своим запрещением.

Приблизительно в это время или несколько позже я получил телеграмму от П. П. Сушкина, который был

уже профессором Харьковского университета, с предложением выставить кандидатуру на вторую кафедру по зоологии в Харькове, освободившуюся за смертью проф. Никольского. Но жизнь в столице была так полна и увлекательна, что несмотря на лестность сделанного мне предложения, я медлил с решением перебраться в провинцию. А через некоторое время подоспели выборы в Государственную Думу, и жизнь моя снова перевернулась почти на 180°. О Харьковском университете уже не могло быть и речи.

Время, проведенное мною в отдаленности от Московского университета, представлялось мне тогда весьма продолжительным. Теперь же, когда я оглядываюсь как бы с высоты птичьего полета на всю совокупность моей жизни, оно оказывается сравнительно кратким. Оно продолжалось всего 5 лет. В бытность мою членом Государственной Думы, когда во главе Министерства народного просвещения стал благожелательный к общественности гр. П. Н. Игнатьев, мне удалось посодействовать примирению министерства с покинувшими университет профессорами, многие из которых вернулись на свои старые кафедры. А в 1916 году, когда я однажды проходил по кулуарам Таврического дворца, мне была вручена телеграмма от проф. Мензбира из Москвы, в которой неожиданно для меня сообщалось, что в заседании Физико-математического факультета я избран ординарным профессором. Я чувствовал глубокое нравственное удовлетворение, но занятый организацией целого ряда новых высших учебных заведений, в которых наша родина испытывала величайшую нужду, я не спешил с оформлением моей новой профессуры и приступил к преподаванию лишь с наступлением революции, когда работа Государственной Думы прекратилась.

Моим избранием создавалась новая кафедра зоологии, и было необходимо позаботиться об устройстве соответствующего учебно-вспомогательного учреждения. Зоологическим музеем продолжал в это время заведывать Г. А. Кожевников, во главе Зоологи-

ческого института, по смерти Н. Ю. Зографа, стал Н. В. Богоявленский, а управление Институтом сравнительной анатомии, после изгнания оттуда М. А. Мензбира, принял на себя А. Н. Северцов, бывший перед этим профессором Киевского университета. М. А. Мензбир, как уже заслуженный профессор, не мог претендовать на заведывание учебно-вспомогательным учреждением. Для меня было решено устроить новую зоологическую лабораторию. Но тут началась обычная в таких случаях волокита с подысканием помещения. Ни в музее, ни в институтах свободного места не оказывалось, и директора этих учреждений играли мной как мячиком, посылая меня один к другому. Наконец, удалось освободить комнату, расположенную на границе между существовавшими уже учреждениями, в которой мне удалось устроить довольно удобный кабинет для своих личных занятий. Этому способствовало и то обстоятельство, что я был избран ректором университета. Помещение же для занятий со студентами мне удалось оборудовать лишь впоследствии, когда мы достроили здание Геологического института, и в освободившихся от этого института комнатах старого здания университета я мог с полным простором разместить мою лабораторию.

Начало революции и период Временного правительства уложились почти целиком в каникулярное время, так что регулярные занятия в Московском университете мне пришлось начать лишь с водворением в России большевистского режима.

В последний год существования Государственной Думы, когда и в этом учреждении проявился значительный сдвиг влево, в сторону оппозиции, мне удалось продвинуть давно уже заготовленный мною законопроект об изменении университетского устава. Но проведение в жизнь этого проекта осуществилось лишь при Временном правительстве, при обстоятельствах, о которых я буду говорить в соответствующей главе. Главнейшими пунктами проекта, долженствовавшими консолидировать внутреннюю жизнь универ-

ситета, были следующие. Во-первых, осуществлялась с небывалой до того времени полнотой автономия, т. е. самостоятельность выборных органов управления университетом. Во-вторых, к управлению университетом привлекались представители т. наз. младших преподавателей, т. е. приват-доцентов и ассистентов, со стороны которых до того времени раздавались непрестанные упреки по адресу профессуры, как единственной носительницы власти в университете. Наконец, третье мероприятие, имевшее целью дать удовлетворение самой юной части университетской семьи, заключалось в предоставлении студентам права организовать общества и союзы. Всё это, вместе взятое, обеспечивало гармоническую согласованность университетской жизни, которая без особых потрясений царила в Московском университете в первые годы большевистского режима, вплоть до того времени, когда коммунистическое правительство произвело новый натиск, на этот раз слева, на принцип академической автономии.

Ректором реформированного таким образом университета был избран М. А. Мензбир, в твердых руках которого взбудораженная академическая жизнь скоро пришла в полный порядок. Помощником ректора был профессор математики Д. Ф. Егоров, человек чрезвычайной точности и щепетильности, но как большинство ученых, не обладавший достаточным для тех трудных времен размахом и инициативой в хозяйственных делах, которыми ему по должности приходилось ведать. Поэтому, когда настали зимние холода, университет оказался без дров, трубы центрального отопления полопались, так что учебная и ученая работа натолкнулась на тяжкие препятствия.

Моя преподавательская деятельность в университете между тем понемногу налаживалась и развивалась. Чтение лекций перед аудиторией в 200-400 человек, с которой у меня быстро установился внутренний контакт, давало большое удовлетворение. Я имел возможность выбрать себе курсы, наиболее меня интересовавшие, а именно общую биологию, в которой за-

трагивались основные вопросы о сущности жизни, и сравнительную анатомию беспозвоночных, каковой курс в Московском университете до того времени не читался. Для меня же он был особенно привлекателен, так как в этой области я произвел уже много самостоятельных научных исследований и сделал несколько открытий. Практические занятия проходили также весьма оживленно. Я не предоставлял этих занятий, как это в Москве обычно делалось, исключительному руководству ассистентов, а пользуясь Гейдельбергским образцом, старался присутствовать на них самолично, чтобы быть в возможно тесном общении со студенчеством и разъяснять те вопросы, в которых ассистенты чувствовали себя недостаточно компетентными. Правда, потом, когда на меня были возложены деканские и ректорские функции, а также другие ответственные обязанности вне университета, мне пришлось несколько манкировать практическими занятиями. Но к этому времени ассистентский персонал настолько втянулся в свою работу, что моих предварительных указаний было достаточно, чтобы всё шло, как по маслу.

Не мало содействовало этому и то счастливое обстоятельство, что состав ассистентов подобрался на редкость удачно. О достоинствах ассистента по хозяйственной части Дейнеги я вспоминал уже выше. Трудно было найти человека более исполнительного и аккуратного. Старшим ассистентом по научным делам был П. А. Косминский, который интересовался вопросами наследственности и опубликовал несколько интересных исследований над бабочками, касающихся этих вопросов. Его опытность, как экспериментатора, являлась прекрасным дополнением к общему морфологическому направлению лаборатории. Следующим ассистентом был Птушенко, фаунист, страстный охотник и усердный собиратель материала для практических занятий. Наконец, последней по возрасту ассистенткой была моя старшая дочь, Татьяна, памяти которой я должен посвятить здесь несколько слов не только

как отец, но и как объективный естествоиспытатель. Она была на редкость талантлива в научной работе. К этому присоединилось еще то, что она проделала прекрасный зоологический практикум по гейдельбергскому образцу на Высших женских курсах у Кольцова. Обладая выдающейся способностью схематически зарисовывать наблюдаемые ею объекты, как микро- так и макроскопические, она в результате этого практикума составила большой художественный альбом, представлявший из себя целый курс зоологии. Поэтому при практических занятиях и во время экзаменов, когда ей приходилось спрашивать подчас более старших, чем она сама, студентов и студенток, она проявляла высокую степень компетентности. Но иногда, в связи с ее молодостью, происходили курьезы. На экзамены ко мне записывалось обычно по несколько сот человек, так что производить их приходилось фабричным способом, при содействии всех ассистентов. Стол для Тани, как самой младшей и наименее опытной из ассистентского персонала, я ставил неподалеку от своего, чтобы держать ее под своим постоянным контролем. И вот однажды я слышу, как приблизившаяся к ней студента обращается к ней с недоуменным вопросом: «А ты, Таня, что здесь делаешь?». Смущенная экзаменаторша отвечает пониженным голосом: «Садись, садись, я тебя буду спрашивать». Оказывается это была ее подруга по женским курсам, которая задержалась в своем учении и перешла в университет. Экзамен, к которому я прислушивался более внимательно, чем к словам отвечавшего мне студента, прошел не только успешно, но и с полной объективностью. Вторым свойством моей дочери и ассистентки, наряду с талантливостью, была чрезвычайная скромность. Страдая с двухлетнего возраста бронхиальной астмой, которая зачастую проявлялась у ней в форме мучительных припадков, она, может быть, считала себя неприспособленной к тому, чтобы брать на себя ответственную научную работу. Когда мы переехали в Чехословакию, она поступила препараторшей к моему старому приятелю

проф. К. Шульцу в Брно. Ознакомившись с ее прекрасной подготовкой, проф. Шульц предложил ей занять должность ассистентки в его лаборатории. Но она категорически отказалась, а в скором времени совершенно отрешилась от ученой деятельности, отдавши себя целиком семейной жизни и воспитанию детей. Она умерла от страшного припадка астмы в сравнительно молодом возрасте, на 45 году жизни. Блестящие достижения в духовной области непрестанно переплетались с проявлениями тяжкого телесного недуга, подтачивавшего ее силы.

Летом 1921 г. я с частью своего лабораторного персонала предпринял научную экспедицию на Мурманское побережье. Впечатление от своеобразных, сказочных красот этой гиперборейской страны было огромно. День и ночь светящее солнце, скрывающееся за горизонтом лишь на какой-нибудь час в течение суток. Безбрежный океан с мрачной, негостеприимной водой свинцового оттенка, так разнящийся от теплых, приветливых, сине-зеленых вод южных морей. Величественные прибрежные скалы, покрытые жалкой травой и карликовыми, ползучими по земле деревьями. А когда приближаешься к берегу на лодке, часто можно любоваться стройными фигурами северных оленей, самки которых, в отличие от их среднеевропейских сородичей, украшены наравне с самцами, великолепно разветвленными рогами. Удавалось нам наблюдать издалека и гигантскую тушу кита, плывущего на поверхности воды и выпускающего из носовых отверстий фонтаны густеющего пара. А вблизи, почти под самой лодкой, проходили бесконечные косяки сельдей такой густой массой, что можно было воткнуть в эту массу весло, и оно оставалось в вертикальном положении, продвигаясь вместе с рыбой. Несколько глубже ходила треска, и тоже в таком изобилии, что ее можно было ловить на крючок, без всякой приманки — «на поддев». Эта рыба и ее печень, из которой вырабатывают так ненавидимый детьми рыбий жир, если они приготовляются в свежем виде, представляют собой одно из

самых лакомых блюд. С богатством морских недр рыбами гармонирует и фауна беспозвоночных животных, особенно иглокожих. Таких гигантских морских ежей, звезд и голотурий не встретить в южных европейских морях. Одна из моих слушательниц собрала там прекрасный, редко встречающийся материал для исследования: своеобразных, примитивно организованных членистоногих из группы пикногонид.

Мы жили на прекрасно оборудованной биологической станции в маленьком городке Александровске. Помимо лодок, станция располагала для сбора научного материала небольшой яхтой, названной в честь знаменитого зоолога «Александр Ковалевский», а для более далеких экспедиций к северу могла пользоваться судами военного флота. Пропитание на станции, благодаря нашему хорошему снаряжению, а также запасам, оставшимся на станции от оккупировавших побережье во время войны англичан и, наконец, благодаря богатой рыбной ловле, оказалось преизобильным, совершенно необычным в то голодное время. В результате, когда мои четыре студентки вернулись в Москву, то родственники, встречавшие их на вокзале, едва узнали их, — до того они поправились. Но вместе со здоровьем мы привезли с собой и богатый научный материал. Таким образом экспедиция удалась во всех отношениях. Лишь в одном своеобразном упущении обвинили меня местные рыбаки. Когда я им предложил в награду за их услуги некоторое количество привезенного с собой чистого спирта, представлявшего тогда большую редкость, они выразили сожаление, что это не денатурат. А на мое замечание, что для выпивки ректификат лучше, северные морские волки ответили: «Нет, как можно: денатурат, тот крепче забирает».

Общая жизнь университета в начале большевистского режима протекала более или менее нормально, лишь иногда нарушаемая распоряжениями Народного комиссариата по просвещению, не посягавшими, однако, на самую сущность университетской автономии.

Правда, уже в 1918 г. была сделана попытка к реформированию высшей школы в виде созыва академических деятелей и представителей студенчества. Но проект реформы, предложенный правительством на рассмотрение съезда, оказался столь непрактичным и подвергся столь единодушной критике, что от проведения его в жизнь комиссариат воздержался. После этого начали появляться отдельные распоряжения Наркомпроса, имевшие целью якобы демократизацию высшей школы, а на самом деле пытавшиеся превратить школу в политическую площадь, от чего предостерегал в свое время студентов проф. Трубецкой.

Так был издан приказ об общедоступности университетского образования, согласно которому все лица, достигшие 16-летнего возраста, независимо от уровня их образовательной подготовки, могли быть зачислены в студенты. Этот приказ был исполнен, но сама жизнь вскоре показала его практическую неосуществимость. В первое время аудитории переполнились полуграмотными рабочими, которые вскоре, однако, поняли, что «грызть гранит науки» не такая простая вещь, как об этом думали их политические руководители. Что-же касается различного рода практических занятий в семинариях и лабораториях, играющих в современной постановке высшего образования часто доминирующую роль, то к ним неподготовленная публика и вообще не могла быть допущена. В результате состав студенчества скоро вновь снизился почти до своего первоначального уровня. Это было учтено и Наркомпросом, который через некоторое время, когда мне уже снова пришлось расстаться с Московским университетом, обратился к другой крайности и завел весьма строгие испытания для поступления в высшую школу. Но одновременно с этим был выдвинут новый демагогический лозунг — предоставление сначала почти исключительного, а потом преимущественного права поступления в высшие учебные заведения представителям рабоче-крестьянского класса. Эта попытка превращения высших школ в приви-

легированные учреждения также потерпела в значительной степени фиаско.

Вторым мероприятием, которым правительство хотело освежить профессорские кадры университетов, а может быть и приблизить их к своей идеологии, было возведение приват-доцентов, пробывших в этой должности не менее трех лет, в звание профессора. Таким образом категория младших преподавателей, которая по закону Временного правительства принимала участие в органах университетского управления лишь через своих представителей, вливалась непосредственно в состав факультетских собраний и Совета. То же самое относилось к приват-доцентам, занимавшим профессорскую должность в каком-либо другом, специальном высшем учебном заведении. Привлечением этих, т. наз. декретных профессоров состав органов управления значительно расширялся и приобретал несколько более левую политическую окраску. Но существенного приближения к коммунистической идеологии этим достигнуто не было. Наоборот, весь преподавательский персонал еще теснее сгрудился на почве защиты университетской автономии против последовавших затем на нее нападений.

Наконец, третьим декретом, пытавшимся изменить личный состав университетов, на этот раз, однако, не в сторону его расширения, а наоборот сокращения, путем отстранения наиболее старых его элементов, были назначены перевыборы всех профессоров, прослуживших в профессорской должности 10 и более лет. Умысел инициаторов этого декрета заключался, очевидно, в том, что омоложенные составы университетских коллегий забаллотируют стариков, с которыми у младших преподавателей уже с давних пор установились неприязненные отношения. Но консолидация преподавательского персонала, счастливо начатая в период Временного правительства, проявилась во всей своей силе. Почти все старики оказались вновь переизбранными. На нашем факультете, как бы по иронии судьбы, провалился лишь профессор астрономии Штерн-

берг. Этот, мрачного вида человек, который, ни в качестве ученого, ни в качестве профессора не представлял чего-либо выдающегося, с которыми мы общались не только в университете, но и в Обществе испытателей природы, не подозревая в нем политика, вдруг оказался партийным коммунистом. Когда, после февральской революции была переизбрана Московская городская дума, он прошел в состав гласных по большевистскому списку. В думе он тоже не играл сколько-нибудь заметной роли. Помню лишь одно его оппозиционное заявление о том, что городские часы, поставленные на площадях Москвы, не согласованы и показывают различное время. Тогдашнему городскому голове, эсеру Рудневу было не трудно отпарировать этот удар указанием, что в революционной обстановке не до забот о согласованности уличных часов. Как бы в подтверждение этого, через короткое время, с водворением большевистской власти, часы совершенно перестали действовать. Забаллотированный в университете, Штернберг отправился с партийным поручением в Сибирь, откуда пришло потом известие о его гибели.

Правительственный декрет о перевыборе профессоров оказал существенное влияние на мое личное положение в университете. На основании этого декрета ректор и деканы, как выслужившие уже 10-летний профессорский срок и подвергавшиеся перебаллотировке, должны были оставить свои административные должности, а на их места вступали старшие члены совета и факультетов, не имевшие, однако, 10-летнего стажа. Ректорство при этих обстоятельствах автоматически перешло к В. С. Гулевичу, профессору физиологической химии, весьма почтенному ученому, известному не только в России, но и заграницей. А на мою долю выпала роль декана Физико-математического факультета. Я счел своим долгом первым делом нанести визит моему предшественнику, маститому профессору математики Л. М. Лахтину и высказать ему мое смущение по поводу того, что vis major принуж-

дает меня занять его место. Но к полному моему нравственному удовлетворению он рассыпался передо мной в комплиментах и высказал свою радость, что именно я буду его преемником. Ободренный этим приемом, я с полным рвением принялся за исполнение деканских обязанностей. Перевыборы профессоров мне удалось, благодаря опытности в общественных делах, провести в техническом отношении очень гладко. Это и послужило, повидимому, причиной того, что вновь сорганизованное факультетское собрание избрало меня деканом и на дальнейшее время.

Освеженный молодыми силами факультет энергично принялся за работу. Первые проявления его реформаторской деятельности вытекали из заботы о младших членах преподавательской семьи, положение которых продолжало оставаться еще недостаточно урегулированным. С этой точки зрения был поднят вопрос об упрощении магистрантских экзаменов, сложность которых тормозила расширение профессорских кадров. А между тем в таком расширении ощущалась острая потребность. Многие кафедры, особенно в провинции, пустовали или были замещены исполняющими должности профессоров. А с другой стороны, экзамены, при которых многое зависит от случайности, а иногда от настроения экзаменатора или ловкости испытуемого, казались нам устарелым способом проверки знаний, особенно в предвидении публичного магистерского диспута, в течение которого научная личность кандидата получала всестороннее освещение. Поэтому было решено, по примеру германских докторских экзаменов, ограничить число предметов тремя, т. е. одним главным, для которого требовалось всестороннее владение предметом и знакомство со специальной литературой, и двумя дополнительными, для которых считалось достаточным знание главнейших руководств. Большую работу пришлось проделать факультету при комбинировании групп предметов, допускаемых к экзамену, так, чтобы предметы каждой группы были между собой логически связаны.

Второй реформой было введение предметных комиссий. Несмотря на расширение личного состава факультетских собраний, которое вытекало из закона Временного правительства и декрета Наркомпроса, далеко не все младшие преподаватели были привлечены к обсуждению вопросов преподавания. За бортом оставались наиболее молодые приват-доценты и обширный кадр ассистентов, на которых часто возлагалась ответственная работа самостоятельного руководства практическими занятиями студентов, среди которых фигурировали старые, заслуженные деятели, как напр. уже упомянутые выше кн. Волконский и Дейнега. Их слово при обсуждении методов преподавания было бы очень ценно. А с другой стороны, перегружение состава факультетских собраний грозило уменьшением их работоспособности. В большом собрании затягиваются прения и замедляется работа. Все эти затруднения устранялись, однако, созданием т. наз. предметных комиссий, в которых участвовал весь без исключения преподавательский персонал по данному предмету (напр. по математике, химии, ботанике). Постановления комиссии потом вносились для утверждения и согласования с другими комиссиями в факультетское собрание. Эта демократическая реформа была воспринята и другими факультетами.

Работа факультетского собрания протекала в приятной атмосфере реформаторского подъема и взаимного доверия. Но мне недолго пришлось руководить ею. Весной 1919 г. были назначены выборы президиума университета, т. е. ректора, его помощника и проректора. В виду особого, создавшегося тогда положения, при котором от должностных лиц требовалась исключительная энергия и подвижность, было решено искать кандидатов в среде более молодых членов университетского совета. Мне, повидимому, в силу моих предшествовавших работ в Государственной Думе по организации высших учебных заведений, было предложено некоторыми коллегами баллотироваться на должность ректора. Это поставило меня в трудное положе-

ние. С одной стороны, меня влекла к себе только что организованная лаборатория и возможность, после многолетнего перерыва, заполненного политической деятельностью, вновь погрузиться в научные исследования. А с другой стороны, я опасался, что как раз эта бывшая деятельность может придать моей фигуре в глазах комиссариата характер одиозности, что вредным образом отразится на судьбе университета. Ведь многие из моих коллег по Государственной и Городской думе эмигрировали в это время заграницу. Я тоже имел возможность последовать за ними, но считал своим нравственным долгом оставаться на своем служебном посту и продолжать свою работу на пользу российского просвещения и русской науки, поскольку это было возможно в те трудные времена. Все эти соображения склоняли меня к решению отказаться от предложенной мне чести. Но в один из вечеров, предшествовавших выборам, после заседания в Коммерческом институте, мы, трое квадратов, о которых упоминалось выше, отправились поужинать в ресторан Прагу. Разговор естественно зашел о будущем университетском ректоре. Я рассказал друзьям о волновавших меня сомнениях. Я. Я. Никитинский, с присущей ему осторожностью старого человека, высказался нерешительно. Зато Н. Н. Худяков с яростным запалом и всем блеском своего остроумия разбивал наши сомнения и в конце концов заявил, что надо мной светит звезда, помогающая всем моим начинаниям, и что университет, поставленный под эту звезду, может быть на некоторое время предохранен от бедствий и потрясений. Его горячие, как бы вещие тирады запали мне глубоко в душу. А на следующий день явилась ко мне делегация студенчества, которая категорически настаивала на моей кандидатуре. В смысле же взаимоотношений с Наркомпросом, который тогда заигрывал со студентами, усматривая в них наиболее революционную часть университета, они обещали мне всемерную поддержку. Всё это вместе взятое разрешило мои сомнения, и я принял на себя ответственность за громадное учреждение, персонал

которого, если принять во внимание и больных, находившихся на излечении в клиниках, простирался до нескольких десятков тысяч человек.

Естественно, что, сделавшись ректором, я не в силах был нести обязанности декана, и на эту должность был избран профессор А. Н. Реформатский, с которым у меня потом установилось дружеское сотрудничество и в других культурных начинаниях. Проф. Реформатский обладал изумительным даром с поистине художественной ясностью излагать сложнейшие проблемы своей науки и был вследствие этого любимцем учащейся молодежи как в средних, так и в высших школах. Но как это часто бывает, и чему примером служит знаменитый профессор истории Грановский, гремевший своим красноречием в Москве в половине истекшего столетия, А. Н. Реформатский, увлеченный преподавательской деятельностью, не мог втянуться в исследовательскую работу и создать себе научное имя. Что лучше? Просвещать юношество или отыскивать новые химические элементы? Ответить на этот вопрос в общей форме трудно. Каждый работает в пределах отпущенных ему судьбой талантов.

Исполнение ректорских обязанностей в высокой мере облегчалось тем обстоятельством, что во главе канцелярии Совета стоял такой знаток университетского дела, как С. И. Преображенский, традиционная фигура университета, перевидавшая на своем веку не мало ректоров. Во время заседания Совета он, неся секретарские обязанности, сидел за маленьким столом позади ректора и был неизменно готов дать какую-либо справку формального характера. Он великолепно изучил также личные свойства профессорской коллегии. Когда я перед первым заседанием Совета спросил у него, сколько времени по его расчетам продлится обсуждение вопросов, намеченных в программе, он ответил мне: «Нормально два часа, но если придет В. М., который любит поговорить, то собрание может затянуться и на три часа». В другой раз, на мое замечание, что я могу побеседовать с одним из профессоров по-

сле заседания Совета, он категорически заявил мне, что это невозможно, так как на обсуждение таких-то и таких-то вопросов профессор не придет. Подобного рода предсказания всегда с точностью исполнялись.

Но в общем работа Совета была не легкая, так как из Наркомпроса часто поступали распоряжения, если не уничтожавшие автономию университета, то во всяком случае урезывавшие его права. Поэтому я решил возобновить деятельность давно уже перед тем не созывавшейся Советской комиссии, которая не имела официального характера, но в виду того, что она составлялась из наиболее заслуженных и опытных профессоров, ее суждения имели большое моральное значение в смысле подготовки решений Совета и возможно согласованного их проведения. Она являлась как бы сеньорен-конвентом и воплощала в себе совесть собрания Совета. Помню, что в состав этой комиссии вошли такие авторитеты медицинского факультета, как А. Б. Фохт, В. Д. Шервинский, И. Д. Спижарный, А. В. Мартынов. От юридического факультета был между прочим приглашен В. М. Хвостов, от филологического А. А. Грушка, от физико-математического Д. Н. Анучин и М. А. Мензбир. Это компетентное собрание значительно облегчало мне, новичку в университетских делах, руководство ими в духе старых академических традиций. Чрезвычайно важна была и нравственная поддержка со стороны испытанных деятелей на академическом поприще.

Первым ударом, обрушившимся на университет, вскоре после занятия мною должности ректора, было предписание Совета народных комиссаров об отдаче меня и бывшего ректора М. А. Мензбира под суд за неисполнение декрета о ликвидации домовых церквей. Промежуточного между нами ректора, В. С. Гулевича, это распоряжение, очевидно по канцелярской забывчивости, не коснулось. Но и обвинение нас было основано в значительной степени на недоразумении. Наш профессор богословия и настоятель университетской церкви Н. И. Боголюбский, испугавшись грозившей

ему от большевиков опасности, самовольно покинул кафедру и церковь, и укрылся в качестве священнослужителя в громадный, богатый приход Большого Вознесения. После ухода пастыря университетская церковь считалась нами как бы несуществующей. Ввиду легковесности обвинения, основанного, повидимому, на доносе, судебный процесс был прекращен, но со здания церкви были сняты особой командой рабочих, присланных Московским советом, религиозные эмблемы. Среди этих эмблем находилась и сравнительно недавно перед тем сделанная на фронтоне церкви выпуклыми буквами надпись: «Свет Христов просвещает всех». При наблюдавшемся в то время упадке архитектурного вкуса, эту надпись ухитрились сделать старославянской вязью, которая совершенно не гармонировала с ампирным стилем здания. Поэтому с художественной точки зрени многие приветствовали снятие надписи. Но в глазах широкой публики это было святотатство, за которым последовало чудесное обновление надписи. Тогда была вообще эпоха обновления икон и церковных куполов. Как это происходило, я не знаю, но обновление университетской надписи объяснялось довольно просто. Сбивши рельефные буквы, рабочие замазали следы известкой. А когда через несколько дней эта последняя была смыта дождями, следы букв снова выступили с полной отчетливостью, и перед зданием церкви стали собираться толпы набожного народа.

Между тем учебные занятия в университете натолкнулись на чрезвычайные затруднения, главным образом из-за недостатка топлива, о котором уже было упомянуто выше. Последним рессурсом для поддержания температуры в зданиях, в которых еще не лопнули трубы центрального отопления или где были поставлены печки, послужили подмостки, уже давно одевавшие старое здание университета, и вновь возведенный корпус Геологического и Палеонтологического институтов. Эти леса были распилены на дрова и перед глазами москвичей открылась печальная картина одряхлевшего, избитого лесами главного универ-

ситетского корпуса, которое когда-то являлось одним из наилучших образцов классического стиля, а рядом с ним недостроенного здания институтов с широко зияющими глазницами окон. Поэтому, как только закончился с грехом пополам учебный год, надо было позаботиться о хозяйственной части, привести в порядок здания и обеспечить их топливом.

К этой стороне университетской деятельности я вернусь в дальнейшем изложении, а сейчас продолжу воспоминания о моем личном отношении к университету. В начале учебных занятий осенью 1919 года я решил проверить свои полномочия и выяснить, не найдется ли кто-нибудь другой, готовый взять на себя великую честь и тяжкую обязанность ректорства. К этому меня побуждало и то обстоятельство, что в течение лета в Москве сорганизовалось новое большое культурное учреждение — Научная комиссия, деятельности которой будет посвящена особая глава. Я был избран ее председателем, и моя рабочая нагрузка достигла высшей степени. У меня не только не было времени на научно-исследовательскую деятельность, но и преподавание приходилось сводить к минимуму. Всё это я изложил Совету, собранному для выборов ректора. Но другой кандидат выставлен не был, и мне пришлось подчиниться довольно единодушному вотуму собрания и снова возложить на себя верховную власть над университетом.

Хозяйственная жизнь наша протекала между тем в следующем порядке. Было решено, совершенно отрешившись от бюрократических приемов, поставить ее на чисто коммерческую ногу. Хотя я был сыном купца-неудачника, но торговая жилка во мне окончательно не заглохла. При правлении университета возникло особое хозяйственное отделение, для заведывания которым был приглашен бойкий коммерсант из типа комиссионеров. Первой и основной задачей отделения было обеспечить университет топливом и необходимыми ему строительными материалами. Купить дрова и уголь было невозможно. Поэтому было решено приступить,

по проекту энергичного помощника ректора Яковлева, к самозаготовкам. В значительном отдалении от Москвы были заарендованы участки леса и приступлено к его вырубке. Потом, отчасти по железной дороге, отчасти гужевым способом, напиленные на месте дрова доставлялись в университет. При тогдашней разрухе транспорта это было тоже делом нелегким. Но зато, когда при наступлении холодов, исправленные за лето трубы и калориферы центрального отопления стали испускать живительные лучи тепла, мы почувствовали себя вознагражденными за все усилия. Университетская жизнь могла протекать нормальным порядком. Конечно, экономить было необходимо. Но все-таки в аудиториях и лабораториях можно было поддерживать температуру в 7-12°R, что составляло тогда наивысший предел пожеланий московского населения. Можно было читать и слушать лекции не надевая шуб и шапок, как это требовалось в предшествующую зиму, а в лабораториях не опасаться, что замерзнет вода и полопаются сосуды.

Второй тяжкой проблемой был недостаток помещений, который чувствовался уже давно, но особенно обострился, когда из нахлынувшей в университет по декрету толпы, некоторые, наиболее талантливые молодые люди в нем удержались, так что состав слушателей на некоторый процент повысился. А между тем на дворе университета, рядом со старым зданием, стоял, упираясь своей узкой стороной в Моховую улицу, длинный, недостроенный корпус Геологического института. Правда, архитектура его была неудачна. По длинному фасаду он представлял собой слабую копию классического старого здания, которая особенно проигрывала от близости прекрасного подлинника. Но менять архитектуру было уже невозможно, так как дом был выведен под крышу, и все заботы правления обратились на то, чтобы закончить его внутреннее оборудование. Каким-то чудодейственным образом хозяйственный отдел разыскал потребные материалы, и через несколько месяцев Геологический, Палеонтологи-

ческий и Минералогический институты водворились в новые помещения, чем нужда в жилищной площади была значительно смягчена.

Другая забота, которая меня, как любителя архитектуры, весьма тяготила, касалась грязного, облупленного, изгрызенного дырами от бывших лесов, фасада старого здания. Мне удалось продемонстрировать убогость фасада непосредственно Народному комиссару по просвещению А. В. Луначарскому, специалисту по вопросам эстетики, и заручиться от него обещанием финансовой поддержки. Но одних денег и строительных материалов, которые мог раздобыть наш хозяйственный отдел, было мало. Нужно было сохранить душу художественного творения, реставрировать его в том виде, как оно вышло из рук гениального строителя Джеларди. С этой целью была образована специальная комиссия, в состав которой вошли лучшие художники-архитекторы и во главе которой стал мой приятель, известный художник и историк живописи И. Э. Грабарь. При наличии такой комиссии я мог быть спокоен за безупречность реставрации. Но и здесь, как во всяком человеческом деле, нашлись недовольные, даже в близкой мне среде. М. А. Мензбир, напр., упрекал меня за то, что я не воспользовался удобным случаем к увеличению размеров окон в верхнем этаже, что послужило бы к лучшему освещению соответствующих комнат, а следовательно и к улучшению условий работы в них. Мои доводы, что я не могу посягать на классический памятник архитектурного искусства, который по словам Грабаря является одним из самых выдающихся в целой Европе, его нисколько не убеждали. Он продолжал оставаться на своей утилитарно-практической точке зрения. А из другой среды, со стороны комиссариата, последовало запрещение удержать на архитраве здания старый художественный герб с изображением Георгия Победоносца и требование заменить его гербом современным. Но и это затруднение удалось преодолеть благодаря посредничеству Комиссии по охране художественных

памятников старины. Здание было восстановлено во всем блеске своего первоначального архитектурного замысла.

Но если в финансовом отношении нельзя было упрекнуть Наркомпрос, который открывал университету кредиты щедрее и быстрее чем предшествующее Царское и Временное правительства, то в смысле учебной деятельности всё время приходилось испытывать затруднения и вести препирательства. Правда, принцип университетской автономии в самой своей сущности затронут еще не был. Даже больше. Рамки самостоятельности были со стороны университета расширены в том смысле, что никакие выборы, ни новых профессоров, ни членов президиума, не посылались в комиссариат на утверждение. Но зато со стороны Наркомпроса сплошь и рядом приходили распоряжения, подрывавшие нормальную преподавательскую работу.

Как известно, дорога в ад вымощена добрыми намерениями. И понятие коммунизма, как доктрины, стремящейся к равенству людей и к водворению общечеловеческого счастья, плохо согласуется с теми методами беспощадной диктатуры, которые применяются в советской действительности. Хорошая мысль была заложена и в основе организации рабочих факультетов. Когда открывался первый такой факультет при Московском коммерческом институте, то заместитель комиссара по просвещению М. Н. Покровский, бывший ученик проф. Ключевского, оставленный им даже при кафедре для подготовки к профессорскому званию, но отклонившийся затем от академической дороги на путь революционный, начал свою приветственную речь словами: «Ныне отпущаеши раба Твоего». Этим он хотел сказать, что исполнилась заветная мечта его жизни. И действительно, отчего не предоставить талантливым рабочим и крестьянам (а таковых имеется множество в толще русского народа) возможности подготовиться к прохождению курса высшего учебного заведения. Однако при обсуждении вопроса о такой демократизации школы надо иметь в виду следующие

соображения. Во-первых, не существовало, кажется, другой страны в Европе, где состав студенчества был бы так демократичен, как в дореволюционной России. Это обстоятельство особенно резко выступало при сравнении с английскими и немецкими университетами, в которых, как общее правило, могли обучаться лишь зажиточные люди. Материальное же положение русского студенчества лучше всего характеризуется студенческими переписями. Так из результатов киевской переписи 1872 года вытекает, что 60% студентов вели бедственный образ жизни, а юрьевская перепись 1907 г. свидетельствует, что 70,41% студентов происходили из незажиточных семей. В связи с этим и политическое настроение студенчества было крайне левым. По той же юрьевской переписи, к революционным партиям принадлежало около 70% студентов. И все эти незажиточные, революционные элементы могли поступать в высшую школу нормальным путем, т. е. получив достаточную предварительную подготовку, столь важную и необходимую для подлинного усвоения научных знаний.

А между тем, и это второй существенный момент, рабочие факультеты, как они были сорганизованы в то время, превратились в краткосрочные курсы для натаскивания молодежи на чисто формальное приобретение отрывочных знаний. В результате могли появиться в университете, куда абсольвенты рабочего факультета принимались без экзаменов, полуграмотные студенты, которые по окончании курса становились бы безграмотными врачами, судьями, преподавателями и т. д. Из чисто идеологических соображений я приветствовал рабочий факультет при Московском университете, ссылаясь на пример М. В. Ломоносова и многих других русских людей, вышедших из глубины народных недр и достигших высших ступеней научной и общественной жизни. Но когда я потом раскусил всю поверхностность знаний, дававшихся факультетом, и в то же время его горделивую претензию играть доминирующую роль в университете, я стал

энергично возражать в комиссариате против чрезвычайной бесцеремонности факультета, в частности против его поползновений на помещения университета в ущерб остальной учебной работе. Но заместителя наркома, ведавшего вопросами высшей школы, М. Н. Покровского, фанатика по природе, трудно было в чем-нибудь переубедить.

Немалое волнение в профессорских кругах вызвало назначение правительственной комиссарши для медицинского факультета. Но когда комиссарша появилась в факультетском заседании, она оказалась неокончившей курс студенткой, которая в присутствии своих учителей держалась скромно. Никакого влияния на ход факультетских дел она приобрести не могла, так как политические вопросы, которые бы ее интересовали, в круг деятельности медицинского факультета отнюдь не входили.

Гораздо большему воздействию подвергся юридический факультет, которому правительство желало привить коммунистическую окраску. После долгих и бесплодных переговоров о пополнении профессуры партийными работниками, не имевшими формального права на замещение кафедр, Наркомпрос распорядился о превращении юридического факультета в факультет общественных наук. Но беда была не в названии, которое многими, особенно принимая во внимание современное состояние науки, акцептировалось, а в том, что, наряду со старыми профессорами, в состав факультета назначались и отвергнутые им перед этим деятели коммунистической партии. При таких обстоятельствах и чтобы не подвергать разгрому университет в целом, с нашей стороны, т. е. со стороны университетского Совета было решено отмежеваться от нового факультета и считать его, вместе с рабочим факультетом, как бы инородным телом, вгнездившимся в организм университета, который в остальных своих частях продолжал оставаться здоровым и нормальным. На открытие факультета никто из членов университетского президиума не явился, и представитель факультета

в Правление университета не приглашался. Но как это часто бывает, жизнь и время оказали и в этом случае свое целительное воздействие. Новые преподаватели, занятые другими делами, ограничили свою академическую деятельность немногими лекциями, число которых, в виду их несоответствия с остальной программой университета, постепенно сокращалось. Через небольшой промежуток времени деканом факультета, восстановившего в своей работе почти полностью былой, нормальный порядок, был избран один из прежних деятелей университета А. М. Винавер, ученик проф. Хвостова. Факультет был снова инкорпорирован в общий обиход университета, и декан его стал посещать заседания Правления. Большинство вновь назначенных преподавателей вскоре окончательно отошло от университета, а многие из них в процессе последующих партийных чисток подверглись различным преследованиям за искривление партийной линии. Вообще репутация и даже судьба человека того времени была подобна утлой скорлупке, плавающей на разбушевавшихся волнах бурного моря.

И профессора университета находились в постоянной опасности ареста. Одной из тяжелых обязанностей ректора были хлопоты об освобождении заключенных коллег. Обыкновенно эти хлопоты увенчивались успехом, потому что никаких серьёзных обвинений нашим профессорам предъявить было нельзя. Но всё-таки надо было изыскивать наиболее удобные и верные пути для этих хлопот. Бывали, однако, и ошибки в расценке этих путей. Однажды, по поводу ареста одного из профессоров, я решил обратиться за протекцией к нашему доценту Г. Г. Шпету, который, как мне было известно, раньше сотрудничал в журналах вместе с Луначарским и поддерживал с ним добрые отношения. Но на приглашение посетить меня, я получил ответ, что и сам Шпет арестован.

Мое положение ректора и председателя Научной комиссии, которая играла видную роль среди учреждений Высшего совета народного хозяйства, также не

избавило меня от преследований. Когда подготовлялся судебный процесс о тактическом центре, поставившим своей задачей борьбу с правительственной властью, у меня был произведен обыск и я тринадцать дней просидел в чрезвычайке. Конечно, университет и комиссия сделали энергичные представления о моем освобождении. Поэтому я был допрошен сравнительно быстро, на одиннадцатый день ареста. Должен отметить, что допрос велся известным тогда следователем Аграновым в культурной форме. Предъявленное мне обвинение в том, что я участвовал в каком-то политическом собрании, мне не трудно было опровергнуть. И действительно, я был настолько перегружен научной и просветительной работой, что мне было не до политики. Через день после допроса, поздно вечером меня освободили. При отпуске директор тюрьмы Попов, который за несколько дней перед тем кричал на меня за то, что я попросил у него позволения из-за своего астматического состояния немного приоткрыть окно, защищенное решеткой, проявил ко мне чрезвычайную любезность. Он просил извинения, что не может предоставить мне автомобиль для переезда домой, предлагал остаться у них до утра, обещая устроить меня на ночлег в более комфортабельной обстановке, или, в крайнем случае, уговаривал меня взять с собой проводника-чекиста, который помог бы мне дотащить мой багаж. Отклонивши все эти любезные предложения, я с тяжелой ношей, но с легким сердцем вернулся домой. Через некоторое время, однако, я получил повестку с требованием явиться на заседание суда в качестве обвиняемого. Это требование было трудно осуществимо, так как я лежал в то время недвижно в постели со сломанной ногой. Но мой энергичный адвокат скоро принес приятное известие, что произошло недоразумение и что в суд мне являться не надо.

К такого рода переживаниям, к сознанию полной личной необезпеченности, несмотря, ни на лойяльное поведение, ни на ответственную работу, присоединялись еще недостатки материального характера, губи-

тельно влиявшие на здоровье. Пайки нам выдавались в очень ограниченном размере и часто составлялись из продуктов мало съедобных. Я помню радость моей семьи по поводу принесенных в пайке сельдей, у которых черви копошились только в головах. К числу лакомых блюд, наряду с печеньем из картофельной шелухи с сахарином, принадлежали эти соленые селедки, зажаренные в касторовом масле, которое тоже было трудно достать. После жарения масло уже не проявляло своих обычных неприятно-лечебных свойств. А университетские служителя, большей частью черносотенцы, которые в прежнее время помогали полиции при подавлении революционных выступлений студенчества, и которые теперь записались в коммунистическую ячейку, старались поддразнить нас сообщениями, что им в пайке выдали гусятину. Так осуществлялся старый революционный лозунг: свобода, равенство и братство.

Неудивительно, что смертность профессоров увеличилась примерно в шесть раз. Умирали главным образом от болезней, вызванных недостатком питания и нервным расстройством. Особенно трагичным был конец проф. Хвостова. Этот холодный, уравновешенный, всегда спокойно выдержанный юрист повесился у себя на квартире.

Профессура жила и умирала, продолжая стоять на своем славном посту науки и просвещения и защищая освященные веками традиции академической свободы. Утешительным явлением того времени было единодушие, господствовавшее между профессорами, младшими преподавателями и студентами. И даже распоряжение Наркомпроса весной 1920 г., которым в состав университетского Правления вводились представители студенческой коммунистической ячейки, а также служащих и служителей университета, не нарушило общей университетской гармонии. Заседания нашего хозяйственного органа, сделавшись более многолюдными, приобрели несколько более хаотический характер. Они уснащались разного рода демагогическими, безответ-

ственными выступлениями и затягивались из-за необходимости разъяснять новым членам, мало компетентным в вопросах управления, значение того или иного мероприятия. На учебную деятельность, однако, это не оказывало влияния, и она продолжала идти нормальным путем.

И только осенью 1920 г., после трехлетнего, сравнительно благополучного плавания университетского корабля по бурным советским волнам, ему был нанесен решительный удар. Декретом Наркомпроса, вдохновителем которого был, несомненно, М. Н. Покровский, университетская автономия совершенно ликвидировалась, и заведывание университетом передавалось коллегиям, большинство голосов в которых принадлежало лицам, назначенным правительством или, что то же самое, делегированным различными, чуждыми университету партийными организациями. Преподавательскому персоналу в управлении университетом отводилась второстепенная роль. Энергичная попытка нашего Правления добиться отмены или изменения декрета потерпела крушение, и новый устав был введен в жизнь[7]. Назначенный ректором доцент Боголепов, который до того времени был известен в университетских кругах под непочтительной кличкой «Митька», не мог удержаться на своем посту и скоро был заменен В. П. Волгиным, бывшим сотрудником газеты «Русские Ведомости», которую называли за ее серьёзность и сухость профессорской газетой. Так что, хотя в этом смысле новый ректор имел какое-то отношение к университету. По своей природе он был коммунистом буржуазного типа и старательно искал путей к сближению с профессурой. По соглашению с коллегами я предложил ему проект компромиссного разрешения вопроса с восстановлением принципа автономии. Он лично этому проекту симпатизировал, но натолкнулся на решительное сопротивление со стороны Наркомпроса. Лишь

[7] Более подробное описание университетской катастрофы содержится в моей статье, опубликованной в юбилейном сборнике «Московский Университет», Париж, 1930.

впоследствии, когда я уже был заграницей, университетский устав М. Н. Покровского, подобно другим его реформам, был подвергнут жестокой критике даже и в правительственных кругах. Многие частные практические изменения, которые я предлагал и которые вызывали негодование заместителя наркома, были проведены в жизнь. Но идея автономии осталась похороненной. По господствующему в большевистских кругах убеждению, автономия была нужна только прежде, для защиты свободы науки от произвола царских властей. Когда же власть оказалась сосредоточенной в руках пролетариата, никакой другой защиты не требуется. Таким образом наука выносится на площадь и круги Архимеда, которых никто не должен трогать, делаются достоянием толпы.

Может возникнуть вопрос, каким образом при таких обстоятельствах наука в России продолжает развиваться, и мы время от времени узнаем о достигнутых там научных успехах. На этот вопрос я постараюсь ответить в главе, которая будет посвящена воспоминаниям о большевистском режиме.

После оставления мною должности ректора, моя рабочая нагрузка отнюдь не уменьшилась. Наконец, наступил для меня желанный момент, когда я мог своей, уже достаточно оборудованной лаборатории посвятить больше времени и внимания. В это время некоторые из моих специалистов уже переходили от практических занятий к самостоятельным исследованиям. Я радовался, видя зарождение новых научных сил, наблюдая, как наивное любопытство по отношению к природе переходит в дисциплинированную, логически обоснованную любознательность и как постепенно, но неуклонно совершенствуется методика исследовательской работы. Конечно, и в этой области бывали неудачи. Так например, один студент обратился ко мне с просьбой дать ему тему для самостоятельной работы и на мое предложение изучить сравнительно-анатомически какой-то орган животных, задал мне недоуменный вопрос: «А какие же обще-биологические выводы

могу я извлечь из этого изучения?» Я старался разъяснить ему азбуку научно-исследовательской работы, указывая, что при первых шагах ее нельзя думать о конечных результатах, что научные открытия не висят в воздухе, а добываются долгим и упорным трудом, что общие выводы делаются обыкновенно после того, как ученый вполне овладеет своей научной дисциплиной. Но мой ученик не убедился этим и, влекомый наивным любопытством профана, ушел от меня в поисках другого института, где профессор не был бы так, с его точки зрения, придирчив.

Надо сказать, что подобные настроения были весьма распространены в среде нашей академической молодежи. Русская широкая натура не мирилась с необходимостью длительной школьной подготовки, а хотела сразу сказать свое веское слово в науке. Печатались работы, иногда в форме солидных фолиантов, которые оказывались источниками конфуза для авторов, или из-за их методологической неграмотности, или же благодаря тому, что в них трактовалось о вопросах, давно уже рассмотренных, о чем, однако, автору при поверхностном изучении литературы не было известно. В последнее время, когда уровень среднего и высшего образования значительно понизился, это печальное явление приняло еще более резкий характер. Отсутствие научной школы представляет типичную черту многих русских университетских институтов.

Кроме университета, я продолжал нести преподавательские обязанности в Коммерческом институте, который был переименован в Институт имени К. Маркса, и во вновь организованном Горном институте, куда я был приглашен незадолго до оставления мною должности ректора. А затем оставалась на моих плечах всё разраставшаяся работа по Научной комиссии, к которой добавлялось председательствование, то в Комитете по делам изобретений, то в Комиссии по использованию оставшихся от войны удушливых газов для борьбы с вредителями сельского хозяйства, то еще в каком-нибудь длительном или кратковременном учреждении.

Когда я теперь, на старости лет, вспоминаю и подсчитываю все эти дела, я диву даюсь, откуда у меня бралась энергия для выполнения такой сложной и разнохарактерной работы. Этому несомненно способствовало то обстоятельство, что недреманное око начальства еще не обратилось в то время на естествоиспытателей, которые могли продолжать свою работу нормальным порядком. Лишь после моего отъезда заграницу стали высказываться утверждения, «что в области естественных наук марксизм постепенно завоевывает первенствующее место». (Правда, 1925 г. № 34).

Но несмотря на всю сложность тогдашней действительности, бывали моменты, когда хотелось забыть о тягостях окружавшей повседневной жизни, стряхнуть с себя мрачное настроение и отдохнуть от непосильных трудов. Обыкновенно это совпадало с праздником Московского университета, Татьяниным днем, когда так ярко припоминалась былая слава русской науки и так сладко мечталось об ее блестящих перспективах в будущей свободной России.

В январе 1920 г., одновременно в студенческой и в профессорской среде, зародилось желание возобновить празднование Татьянина дня. Утром был отслужен молебен в соседней с университетом церкви, после обеда устроен чай для профессоров в круглом зале Правления, а вечером студенты организовали концерт и танцы в своем общежитии на Бронной. Профессорский чай прошел в обстановке исключительно уютной и дружественной. Неунывающий экзекутор университета проявил в этот день чудеса предприимчивости. В нормально, как в доброе, старое время, натопленном зале заседаний, украшенном хвойными гирляндами, от которых веяло смолистым ароматом леса, за стаканом давно невиданного настоящего чая с сахаром, к которому подавалось уже полузабытое угощение в виде сдобного белого хлеба и сладкого печенья, наши профессора почувствовали отдохновение от печальной действительности и переживаемых треволнений. В речах, которые полились непрерывным

потоком, звучали бодрые ноты, призывы выдержать до конца, каков бы он ни был, и твердо стоять на том культурном посту, который определила нам судьба. Долго не хотели расходиться присутствовавшие на собрании, так что мне пришлось значительно опоздать на студенческую вечеринку, где я должен был произнести речь. На вечеринке появились и народные комиссары А. В. Луначарский и Н. А. Семашко (комиссар здравоохранения, именем которого были насмешливо окрещены насекомые — носители тифозной заразы). Первый очаровал студентов каламбурным комплиментом, сказавши им, что советская власть заимствовала свою систему от университетов, давно уже управляемых советами. А второй снискал себе популярность более существенным подарком в виде нескольких бутылок водки, от которой сильно пахло эфиром, что доказывало происхождение ее из больниц, подведомственных комиссару. На вечеринке произошел трогательный инцидент. Там оказался мой добрый знакомый, артист Московского большого театра, А. И. Барцал, чех по происхождению. Маленький, толстенький, на коротких ножках, он был прирожденным исполнителем куплетной арии Трике в Евгении Онегине, которую он в театре неизменно должен был бисcировать. Он обратился ко мне с просьбой дать ему возможность спеть чешский национальный гимн: «Где домов мой». Самостоятельно он стеснялся это сделать, боясь своим буржуазным выступлением вызвать неудовольствие комиссаров, что могло бы ему повредить при предстоявшем в скором времени выходе на пенсию. К его великой радости, мне удалось аранжировать это выступление, мотивируя его желанием придать нашему торжеству международный характер. А для многих из нас, культурных работников, это было как бы предвестием того, что скоро нам придется на долгие годы переселиться в этот новый, гостеприимный «домов».

На следующий год студенты пригласили меня, уже бывшего ректора, на свой Татьянинский концерт, ко-

торый был устроен в помещении Высших женских курсов, переименованных во Второй государственный университет. Когда распорядители усадили меня на предназначенное место, я увидел, что недалеко от меня находится ректор Волгин, заявивший мне, что он очень удобно, вслед за мной мог пробраться в переполненный зал. Это в достаточной мере характеризовало отношение студентов к университетской реформе. На этот раз наш порядок празднования был, по сравнению с прошлогодним, обратный. Уже после студенческого концерта профессора собрались на ужин в одном из ресторанов, открывшихся в связи с новой экономической политикой правительства. Опять прозвучали бодрые речи, причем на жалобу о ликвидации университетской автономии А. П. Павлов привел в своей речи волжскую поговорку: «Вертит баба и задом и передом, а пароход идет своим чередом». Тогда нам было ясно, кто подразумевается под пароходом, твердо придерживающимся своего курса. Теперь приходится задуматься, не перешла ли его роль к тому, кто нам казался бестолково вертящейся бабой.

Таковы были радости, почерпавшиеся нами из научной работы и из коллегиального общения, но постоянно омрачавшиеся тяжелыми условиями общественной жизни. В сентябре 1922 г. надо мной разразилась еще одна катастрофа. Вместе с несколькими другими профессорами и общественными деятелями, мне предложено было оставить пределы Советского союза и выехать заграницу. Хотя подобный отъезд являлся тогда мечтой почти каждого интеллигентного человека, я его почувствовал как жестокую трагедию моей жизни. Конечно, избавиться от состояния полной личной необеспеченности, уйти от постоянно грозящего произвола — был заманчиво. Но это был уход в неизвестное будущее от только что налаженной лаборатории, от развивавшейся с большим успехом научной работы, от прекрасно подобранных помощников и любимых учеников. Высший предел отчаяния я испытал, когда через некоторое время после объявления

мне приговора о высылке, я пришел в студенческую лабораторию и увидел там четырех старших специалисток горько плачущих. Мелькала, правда, надежда, что отсутствие из Москвы не будет продолжительным. Поэтому я постарался распределить свои занятия между ассистентами, чтобы не передавать их в другие институты и заручился обещанием коллег держать до моего возвращения в неприкосновенности мою личную лабораторию и библиотеку.

Но вот прошли уже десятки лет, и следы, связывавшие меня с Московским университетом, заросли. Моя родная alma mater, которую я с таким трудом обрел, на защиту свободы которой дважды, при старом и новом режиме, становился грудью, и из которой меня в конце концов выгнали, продолжает изнывать под игом диктатуры. А я, ее неудачный сын, обратился в какого-то средневекового схоласта, бродящего по чужеземным университетам. И хотя звезда моя продолжала светить мне, и меня всюду встречали с достаточной приветливостью и гостеприимством, но жизнь без родины и Московского университета, несмотря на все последующие успехи ее, ощущалась мной как надломленная и неполная. Особенно обострялось это ощущение в день св. Татьяны, в годовщину нашего первого Российского университета, когда меня приветствовали, как последнего его выборного ректора, как носителя его свободолюбивых традиций. Какой иронией звучало это приветствие при сопоставлении его с современным положением университета, которому запрещается даже отпраздновать день своего основания.

Конечно, ход истории многоразличен, и волны исторического развития когда-нибудь вынесут Московский университет на путь блестящего расцвета таящихся в нем богатых возможностей. Но мне на склоне лет, когда вместе с упадком сил рассеивается и последняя надежда возвратиться домой, остается закончить эти воспоминания о нем лишь сердечным надрывом:

Прощай, родная alma mater!

V. МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

«Москва! как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!»

Пушкин.

«Ни Рим, где слава дней еще жива,
Ни имена, чей самый звук услада,
Тень Мекки и Дамаска и Багдада
Мне не поют заветные слова.
И мне в Париже ничего не надо.
Одно лишь слово нужно мне: Москва!»

Бальмонт.

Диапазон моих духовных интересов был в молодости весьма обширен. Усердный читатель «Русских Ведомостей», как бы в предвидении будущего, я посвящал особое внимание прекрасно составленным там описаниям деятельности Лондонского парламента, Берлинского рейхстага и Венского рейхсрата. Недаром московская профессорская газета была для русской интеллигенции многолетней школой парламентаризма. Но, кроме того, меня всегда привлекали и отчеты о заседаниях Московской городской думы, к которой газета относилась, как к цензовому учреждению, холодно, и печатала сообщения о ней обыкновенно петитом. Меня занимала в первую очередь процедура работы общественной организации с прениями, оппозиционными выступлениями и голосованиями. Но и сущность думских суждений представляла для меня интерес. Помимо хозяйственных вопросов, которые тоже не были мне чужды, много места в этих суждениях отводилось темам культурного характера. Ведь Московское городское управление

подготовляло в то время планомерную сеть начальных школ, принимало участие в контролировании частных гимназий, организовало Народный университет им. Шанявского, имело в своем ведении исключительную по своему богатству картинную галерею русских художников, собранную московским купцом П. М. Третьяковым и переданную им городскому управлению, и т. д.

Но мой интерес к городским делам был исключительно теоретическим. Если я в то время о чем-нибудь мечтал, то только о научной работе. А когда она начала у меня успешно развиваться, я чувствовал себя удовлетворенным и свою жизнь достаточно наполненной. Но судьбе угодно было постоянно переполнять ее. Так случилось и осенью 1908 года, когда я только что вернулся из-за границы с тем, чтобы приступить к исполнению приват-доцентских обязанностей в Московском университете.

Меня навестил мой сосед Н. Ф. Ржевский, у которого я снимал квартиру во время постройки собственного дома. Он сообщил мне, что в виду предстоящих городских выборов, в Москве организуются две группы избирателей: правая и прогрессивная. Выборы должны происходить по районам, и он в качестве председателя прогрессивного комитета нашего Сущевского района приглашает меня вступить в комитет и выставить свою кандидатуру в гласные. Это было жестокое вторжение в мою научную работу. Но убежденный его словами в том, что деятельность в Городской думе не отнимет у меня много времени, что я могу быть там полезен в деле просвещения беднейших классов населения и что думскому составу желательно придать возможно более интеллигентный характер, я согласился на его предложение. Началась предвыборная кампания, во время которой мы сражались против представителей правой группы, занимавшей в прежней думе господствующее положение. Такой состав думы легко объяснялся ее узко-цензовым характером. Избирательные права были законом предоставлены лишь домовладельцам и крупным коммерсантам, большинство которых

отличалось консервативным настроением[8]. Но тем не менее, в виду многих недочетов городского благоустройства, наши критические замечания на предвыборных собраниях принимались с большим сочувствием. Так например, указание старого гласного, прогрессиста Н. Н. Щепкина на то, что трамваи в Москве «ходят стадами» вызвало живейшее одобрение слушателей и несомненно повысило наши шансы на выборах. Благоприятным для нас обстоятельством было и то, что в выборах весьма энергичное участие приняла группа домовладельцев-арендаторов, мелких торговцев и ремесленников, которым удалось упорным трудом сколотить себе небольшие деньжонки и построить скромные домики на окраине города не на собственной земле, а на заарендованных участках. Эти более демократические элементы, притом прекрасно организованные в особый официальный союз, своим вступлением в прогрессивную группу значительно подняли ее шансы на выборах. Нельзя сказать, чтобы эти наши союзники были носителями каких-либо либеральных воззрений. Да и выборы проходили не под политическими, а исключительно под хозяйственными лозунгами. Но так как городское управление мало заботилось об окраинах города, где улицы не были замощены и плохо освещались, арендаторы, или, как некоторые из них себя называли, «арендатели» отличались резко оппозиционным настроением. Помню нескладно скроенную, но крепкими словами сшитую речь одного из этих оппозиционеров. С пафосом негодования он рассказывал о том, как на одной из окраинных площадей, в громадной луже, образовавшейся от осенних дождей, чуть не утонул монах. «Но так как, заключил оратор, монах человек казенный, то его спасли. А о наших детишках, которые могут тонуть там, никто не хочет позаботиться».

[8] Таким образом дума являлась как бы антиподом своего близкого соседа — университета, в профессорской среде которого преобладали либеральные, а в студенчестве революционные веяния.

Самая процедура выборов совершалась с медлительной торжественностью, отнимая у избирателей значительную часть дня. Избиратели собирались с утра в думский зал, где было расставлено несколько десятков избирательных урн или точнее ящиков. На каждом из них висела записка с указанием имени и общественного положения кандидата. Появлялся городской голова, и начиналась длительная проверка ящиков. Затем избиратели циркулировали вдоль рядов ящиков, производя баллотировку. Каждый из них шел в сопровождении городского базарного смотрителя, украшенного служебной цепью, который перед каждым баллотировочным ящиком давал ему шар. Этот шар избиратель мог незаметно положить в правую сторону ящика в знак своего согласия или в левую — в знак несогласия. По окончании баллотировки большинство избирателей оставалось в думе, следя за подсчетом шаров и ожидая результатов выборов.

В одном из соседних думских помещений устраивался буфет, где избирателям предлагалось угощение — чай и прекрасные бутерброды с икрой, семгой, ветчиной и т. д. Тут образовывался оживленный клуб с разговорами на всевозможные темы. Особенный успех имели, конечно, политические анекдоты и сарказмы. Незадолго перед этим произошла отставка министра финансов С. Ю. Витте, бывшего создателя конституционной реформы 1905 года, который упорно, но безуспешно добивался присоединения к своему ведомству торговых портов[9]. Главную роль в этой отставке сыграл крайне консервативный министр внутренних дел В. К. Плеве, по рекомендации которого новым министром был назначен ничем не выдававшийся директор Государственного банка Э. Д. Плеске. Вся эта история, сильно волновавшая общественное мнение, передавалась в форме следующей сентенции: «Витте ушел оплеванный, оплесканный и без портов». Такими же сарка-

---

[9] Подробности этого дела читатель может узнать из выше цитированных воспоминаний Витте и Коковцова.

стически негодующими фразами клеймила Москва вновь поставленные царские памятники. Так по поводу архитектурно неудачного кремлевского памятника императору Александру II, который состоял из центральной части с находившейся в ней статуей государя, и двух длинных боковых колоннад, говорилось: «Безумного строителя архинелепый план — царя-Освободителя поставить в кегельбан». Еще более злобно-ругательное содержание было вложено в четверостишие, которым характеризовали памятник Александру III в Петербурге на Знаменской площади. Это талантливое творение Паоло Трубецкого как бы подчеркивает ретроградный характер политики предпоследнего Российского императора. Его часто противопоставляли известному петербургскому же монументу Петра Великого, созданному еще в Екатерининские времена гениальным Фальконетом. Насколько в этом последнем памятнике чувствуется безудержное стремление вперед, настолько грузная фигура Александра III в маленькой шапочке, посаженная скульптором на не менее грузного коня с оттянутыми назад поводьями, стоящего на гладком монотонном постаменте, знаменует неподвижность и политическую реакционность. В публике широко распространилась следующая характеристика этого памятника: «Стоит комод; на комоде бегемот; на бегемоте остолоп; на остолопе шапка». При этом слово «остолоп» часто заменялось еще более оскорбительным, в рифму к двум первым строкам. Многие недоумевали, как это начальство не досмотрело, и был поставлен памятник со столь революционной тенденцией. Эта тенденция послужила, однако, памятнику охраной во время последующих революционных погромов, и он, насколько мне известно, и до сих пор красуется в Ленинграде.

Я уснащаю свое изложение этими, казалось бы мелочными анекдотами, исходя из мысли, что они ярко характеризуют общественное настроение. Во всяком случае в кулуарах Городской думы во время выборов 1908-го, а потом 1912-го годов, не говоря уже о конце

1916-го года, когда начиналась революция, ярко выступали антиправительственные тенденции. Эти последние проявлялись не только в среде прогрессивных избирателей, но часто и у правых. Купеческая Москва была вообще оппозиционно настроена по отношению к петербургскому, преимущественно дворянскому начальству.

На первом выборном собрании, из-за множества кандидатов, между которыми разбивались голоса, нужный состав гласных обыкновенно не добирался. Назначалось второе собрание, которое по внешности соответствовало первому, но не было столь длительным, так как сомнительные кандидатуры отпадали. Иногда возникала потребность и в третьем собрании.

В результате городских выборов 1908 года состав думы значительно полевел. Правда, руководящая роль в думе осталась попрежнему за правой группой, но прогрессисты представляли столь многолюдное меньшинство, что с ними приходилось серьезно считаться. Что касается меня лично, то несмотря на то, что я в то время был в Москве человеком новым, только что вернувшимся из заграницы, я довольно гладко прошел в гласные, благодаря отчасти моему приват-доцентскому знанию, которое импонировало в купеческих кругах, а отчасти нескольким удачным выступлениям на предвыборных собраниях. Это было началом длинной серии удач на всевозможных выборах. Моя звезда мне светила, и, насколько помню, я никогда не проваливался. Но к великому огорчению, наш лидер, Н. Ф. Ржевский, почтенный человек, глубоко проникнутый любовью к общественному служению, не прошел в гласные. Он занимал должность податного инспектора, и купцы не желали избирать человека, участвовавшего в собирании с них податей. Висевший на нем знак мытаря помешал его избранию и в 1912 году. Лишь в 1916 году, когда выборы происходили под левыми политическими лозунгами, его многолетняя мечта осуществилась, и он, хотя на короткое, предреволюционное время, сделался городским гласным.

Уже в первом заседании новой думы, в начале 1909 г. я выступил с речью, которая имела большой успех. Но впоследствии я стыдился этого успеха, так как в моем выступлении был привкус демагогии. На предвыборных собраниях много говорилось о необходимости соблюдать экономию в расходовании общественных денег. А когда перед выборами городского головы на разрешение думы был поставлен вопрос о размере его содержания, который управа в своем докладе намечала в 30 тысяч рублей в год, я предложил сократить эту сумму, ссылаясь на пример заграничных учреждений, где довольствуются более скромными окладами. К голосам прогрессистов присоединились и некоторые правые, хозяйственно настроенные, гласные, и оклад был уменьшен до 24 тысяч. Во время моей речи несколько раз раздавались аплодисменты, которые председательствовавший товарищ городского головы В. Д. Брянский резко прекращал, указывая на то, что в заседаниях Городской думы, исключительно деловых, рукоплескания не приняты.

На следующее заседание было между прочим внесено предложение об оказании помощи пострадавшим от страшного, катастрофического землетрясения, происшедшего в Мессине. Сфера интересов Московского городского управления была, таким образом, весьма обширна. На этот раз я горячо поддерживал проект управы, указывая на то, что постигнутые катастрофой места дороги и для русской науки, ибо несколько выдающихся наших ученых работали там над исследованием морских глубин.

После этих двух выступлений стали поговаривать о том, что я собираюсь занять видное положение среди гласных. Но на меня как раз в это время навалилась забота о магистерском диспуте, так что я должен был несколько отойти от городских дел. Лишь вопросы, связанные с деятельностью городских школ, продолжали привлекать мое внимание. Я был избран членом училищной комиссии и попечителем одной из город-

ских школ. Кроме того я старался по возможности регулярно участвовать в пленарных заседаниях думы.

Общее число гласных Московской городской думы было 160. Заседания происходили публично в большом думском зале, где громадным покоем расставлялись покрытые темно-красным сукном столы для гласных, а в одном конце возвышалась эстрада для публики. Гласные размещались таким образом, что правая группа находилась на правой стороне от председателя, а прогрессисты на левой. Так как обе группы были численно близки одна к другой, размещение оказывалось довольно симметричным. Лишь в конце существования думы, перед самой революцией, был сооружен для гласных амфитеатр, подобный тому, как это бывает в парламентах. Но реформа оказалась неудачной. Из-за нее заседания утратили свой уютный, патриархальный характер.

Председательствовал городской голова, около которого восседали его товарищ и члены управы. Такое совмещение в одном лице председательских функций в исполнительном органе, т. е. городской управе, и в распорядительной думе было, с нашей точки зрения, недостатком тогдашнего Городового положения. На самом деле, при критике действий управы или самого городского головы последний не чувствовал себя ответственной стороной, а наоборот мог в качестве председателя оказывать давление на думское собрание. Лишь для рассмотрения годичного отчета управы, когда подобное положение (т. е. проверка и утверждение головой своего собственного отчета) было совершенно нетерпимо, избирался особый председатель.

Городским головой в первом заседании думы, о котором я уже говорил, был избран ставленник правой группы, Николай Иванович Гучков, крупный коммерсант, который, однако, превратился в профессионального общественного работника. Он занимал должность головы и в предшествующей думе. Еще более выдающегося общественного положения достиг его брат Александр Иванович, лидер октябристов, играв-

ший видную роль в третьей Государственной Думе. Николай Иванович был ловким, находчивым председателем, просвещенным человеком, хорошо знающим иностранные языки, что весьма облегчало представительство перед иностранными гостями. Так, например, он с успехом приветствовал английских моряков во главе с известным адмиралом Битти, без боязни того, что с ним произойдет неприятность, постигшая петербургского городского голову Глазунова. После приветственного слова, прочитанного последним по заготовленному для него английскому тексту, Битти благодарил его и высказал приятное удивление по поводу того, что русский язык несколько напоминает английский.

Атмосфера заседаний Московской думы была спокойной и деловитой. Хотя между двумя половинами думы и возникали принципиальные разногласия, но до резкостей, столь частых в парламентах, где разыгрываются политические страсти, обыкновенно не доходило. Однажды гласный М. В. Челноков, бывший одновременно и членом Государственной Думы, начал полемизировать со своим противником в повышенном тоне, но был прерван городским головой, заявившим: «Прошу вас соблюдать спокойствие и не забывать, что вы присутствуете в заседании Московской городской думы».

Гласные старались поддерживать достоинство и бескорыстие при исполнении возложенных на них общественных функций. Конечно, среди них попадались, как и всюду, люди, пытавшиеся использовать свое высокое положение для достижения личных выгод, для того, чтобы, как тогда говорилось, примазаться к общественному пирогу. Но это были исключения, подвергавшиеся всеобщему осуждению. Страх перед извлечением личных выгод доходил иногда до крайней степени щепетильности. Я помню доклад управы, в котором предлагалось выдать гласным карточки для бесплатного проезда на городских трамваях. Против доклада поднялась буря негодования со всех сторон

думы. Указывалось, что гласные могут заплатить пятачок за трамвайный билет и не нуждаются в подачке из общественных средств. Тоже самое я наблюдал впоследствии в Государственной Думе, где никаких даровых проездов, ни на трамваях, ни на железных дорогах не практиковалось. Об этом бескорыстии я часто вспоминаю заграницей, когда вижу, как здешние депутаты вытаскивают из карманов целые коллекции легитимаций для бесплатного пользования государственными и общественными учреждениями.

Состав Городской управы был также весьма солиден, хотя с нашей точки зрения недостаточно подвижен и предприимчив. Но одно обстятельство в нем многих смущало. Заведующим больничным отделением был инженер В. Ф. Малинин, брат вышеупомянутого моего свояка, а во главе водопроводно-канализационного отделения стоял врач Д. Д. Дувакин. Но это кажущееся несоответствие не имело существенного значения. Оба они администрировали свои отделения вполне компетентно. Вообще надо сказать, что лицо, стоящее во главе обширного учреждения, управляющее им как бы с высоты птичьего полета, не обязано быть профессионалом в вопросах, подлежащих ведению данного учреждения. Для него важнее иметь общий административный такт и умение разбираться в новых, непривычных положениях, которыми так богата практика общественных учреждений. С этой точки зрения узкий профессионализм может оказаться даже вредным. Так впоследствии, присматриваясь к работе Министерства народного просвещения, я утверждал, что профессор редко может оказаться хорошим руководителем этого ведомства.

Ядро нашей прогрессивной группы состояло из нескольких представителей недавно перед тем образовавшейся конституционно-демократической партии. Но в целом группа отнюдь не носила партийно-политической окраски. Общее число членов группы составляло приблизительно 70-75 человек. Для руководства делами из нее был выделен комитет, кажется восьмичлен-

ный. Председателем комитета, т. е. главным лидером группы был избран Д. Н. Шипов, заслуженный общественный деятель, бывший председатель Московской губернской земской управы, человек пользовавшийся всеобщими симпатиями. Он, между прочим, не принадлежал к кадетской партии, что было явным признаком аполитичности нашей группы. Старый земец, испытанный боец за права общественного самоуправления, Дмитрий Николаевич не имел опытности в делах городского управления. Но это вполне возмещалось другим видным членом нашего комитета, Николаем Ивановичем Астровым, который досконально изучил городское дело во время своей прежней службы в качестве секретаря Городской думы. Впоследствии он был избран городским головой, но занимал эту должность лишь короткое время перед революцией. Таким образом он прошел все ступени городского общественного служения, от скромного чиновника до верховного руководителя. В общем семья Астровых представляла любопытное явление в московской жизни. Один из братьев Н. И. был городским мировым судьей и тоже гласным, другой профессором-технологом, третий профессором-богословом. Их отец занимал должность городского врача, а мать, или точнее мачеха, была неизменной участницей городских благотворительных начинаний.

Кроме Шипова и Астрова, в первоначальный состав комитета, насколько припоминаю, входили следующие лица: Л. Л. Катуар, представитель большой торгово-промышленной фирмы, но в то же время знаток городского хозяйства, долголетний председатель думской финансовой комиссии, А. Д. Алферов, известный педагог, вместе с женой содержавший в Москве образцовую частную женскую гимназию, а в думе занявший вскоре должность председателя училищной комиссии, Н. Н. Шустов, предприимчивый, но высоко порядочный винннозаводчик, знакомый всей России по широкой рекламе Шустовского коньяку, коммерсант В. М. Лапин, в гостеприимном доме которого мы собира-

лись на заседания комитета, я и один из представителей домовладельцев-арендаторов. Заседания проходили, о чем неустанно заботился наш председатель, в атмосфере общественного доверия и взаимного уважения. Благодаря высокой квалификации комитета и строгой согласованности действий, наша группа несмотря на то, что была в меньшинстве, могла часто оказывать решающее влияние на ход думских дел.

При отсутствии в моем распоряжении необходимого справочного материала я не могу, даже в общих чертах, охарактеризовать обширную и разностороннюю деятельность московского городского самоуправления за те десять лет, в течение которых я носил звание гласного. Скажу только, что благосостояние города поднялось за это время в высокой степени. Завелись, на месте прежних булыжных, гладкие, усовершенствованные мостовые, усердно строились школьные и больничные здания, оборудованные по последнему слову науки и техники, расширялась трамвайная сеть, обслуживаемая спокойными, комфортабельными вагонами. Огромная Театральная площадь, представлявшая раньше песчаную пустыню, над которой при ветре вздымались тучи пыли, была превращена в роскошный цветущий сквер, против которого, вдоль стены Китай-города был разведен богатейший розариум. Особого упоминания заслуживает прекрасный водопровод, а главное, рационально устроенная канализация. Город не хотел загрязнять Москва-реку канализационными отбросами, как это делается, в целях экономии, нередко заграницей. Требования гигиены стояли на первом месте. Поэтому для отвода сточных вод были устроены поля орошения с почвенными и искусственными фильтрами, столь совершенными, что в результате очистительных процессов получалась кристально чистая, как бы ключевая вода. Вспоминаю, как при осмотре гласными вновь сооруженных полей орошения член управы Дувакин наполнил стакан этим конечным продуктом канализационной жидкости и с видимым удовольствием утолил жажду.

К этому краткому очерку успехов городского самоуправления можно добавить, что и те сооружения, которыми сейчас так гордятся большевики, а именно московский метрополитен и московский порт, т. е. превращение мелководной Москвы в судоходную реку, были разработаны в наше время. Я отлично помню, как соответствующие управские проекты вносились на рассмотрение думы. Но в жизнь они проведены не были из-за разразившейся революции. Если бы не это последнее обстоятельство, то они были-бы осуществлены гораздо раньше, чем это было сделано советской властью. Конечно, такой азиатской роскошью, которой щеголяет ныне московский метрополитен, и которая достижима в нищей стране лишь при наличии рабского труда, мы обставлять метрополитен не собирались. Но нельзя забывать, что основная мысль обоих сооружений и главное черты их осуществления были разработаны в недрах буржуазного городского управления.

В каждом общественном учреждении развивается в большей или меньшей степени канцелярская волокита. Обвиняли в такой волоките и Городскую управу. Но иногда она заводилась сознательно, для поддержания престижа. Так однажды, городской голова потребовал установления второй должности товарища. Между ним и представителями оппозиции произошел следующий характерный диалог. «Зачем же вам второй товарищ головы, когда у вас имеется В. Д. Брянский, человек вполне компетентный и работоспособный?». — «На случай его болезни». — «В этом случае вы будете в думе самолично, и никому вас замещать не надо». — «Но я не могу, как глава города, отказывать посетителям в их просьбах. Я должен направлять их для этого к своему товарищу». После долгих пререканий было достигнуто соглашение в том смысле, что городской голова будет посылать просителей за отказом к кому-нибудь из членов управы.

Бывали, однако, примеры и полного отсутствия бюрократизма, от которого стремились освободить

городское управление главным образом молодые члены управы. Однажды, возвратясь весной из заграничной поездки, я поделился с членом управы В. Н. Литвиновым, заведывавшим благоустройством города, своими впечатлениями и сообщил ему между прочим о том, что в Вене столбы, на которых прикреплены электрические фонари и трамвайные провода, эффектно декорированы корзинками с цветами. Каково же было мое удивление, когда не больше, как через какой-нибудь месяц я увидел, что и улицы Москвы оказались украшенными подобным же образом.

Главным предметом моего внимания в Городской думе было, как сказано выше, народное образование, которое в то время успешно развивалось. Было осуществлено всеобщее обучение, т. е. такое положение, при котором никто из московских детей не получал отказа в приеме в начальную школу, и разрабатывался вопрос об обязательном обучении. Правда, нам приходилось иногда вступать в борьбу с медлительным в своих действиях, старым членом управы, заведывавшим училищным отделением, Г. А. Пузыревским. Но под напором очень многолюдной училищной комиссии, в которой, кроме гласных, участвовали попечители школ, выбиравшиеся из московских зажиточно-интеллигентских кругов, и он часто развивал значительную энергию.

Для вящего подталкивания этой энергии и вообще для предварительного обсуждения школьных проблем образовалась группа наиболее деятельных членов школьной комиссии, как бы ее неофициальная фракция, которая время от времени собиралась в доме фабрикантов Бахрушиных в Кожевниках. В этой семье общественная работа на пользу Москвы была твердо установленной традицией. Несколько членов семьи состояли гласными думы, а материальная помощь городу выразилась, между прочим, в создании первоклассной Бахрушинской больницы. Самым молодым общественным деятелем из этой семьи был в то время Сергей Владимирович, избранный гласным од-

новременно со мной, а недавно перед тем окончивший курс Московского университета и оставленный при кафедре истории для подготовки к профессорскому званию. Впоследствии он издал несколько прекрасных работ по русской истории, а в настоящее время, поскольку до меня доходили слухи, состоит профессором Московского университета.

Обычными участниками совещаний, кроме хозяина и меня, были А. Д. Алферов и мировой судья В. И. Астров. Иногда в них принимала участие сестра хозяина Вера Владимировна, бывшая попечительницей одной из городских школ, и еще кто-нибудь из попечителей. Собрания проходили в чрезвычайно уютной обстановке. Они начинались изобильным обедом, после которого деловая беседа, сдобренная стаканом хорошего французского вина, продолжалась до позднего вечера. Из этих оживленных бесед и вытекали различные усовершенствования в ведении школьного дела.

Когда я присмотрелся к положению детей, обучавшихся в наших школах, особенно окраинных (моя школа находилась в Бутырской слободе), я проникся убеждением, что городское управление не проявляет достаточной заботливости по отношению к этим юным представителям беднейших классов населения. Правда, при городском управлении состояла покрывавшая всю Москву сеть попечительств о бедных. Но главной задачей этих попечительств, в которых энергично и жертвенно работали лучшие элементы московской интеллигенции, было смягчение материальной нужды. Материальную помощь школьникам часто оказывали и попечительствующие школ, большинство которых в этих именно видах выбиралось из зажиточных слоев населения. Духовные же потребности детей удовлетворялись лишь в сравнительно немногие часы пребывания в школе, причем ввиду многолюдности классов учителям трудно было оказывать индивидуальное нравственное воздействие на своих воспитанников. А в семейной обстановке, обыкновенно мало культурной,

а часто и чрезвычайно грубой, с пьянством и побоями, ребенок легко мог растерять и то немногое хорошее, что он вынес из школы. Казалось необходимым организовать, хотя бы частным порядком, особое учреждение для внешкольного воспитания учащихся в городских школах. Всю жизнь я чувствую в своем сердце исключительную любовь к маленьким детям, любовь даже большую, чем к зоологическим объектам моих научных исследований. Поэтому я с радостью оторвал от этих исследований время, нужное для новой организационной работы.

Втроем, вместе с двумя другими попечителями городских школ, находившихся в близком соседстве с моей, а именно с мировым судьей Н. П. Окуневым и присяжным поверенным М. М. Духовским, мы подали в градоначальство заявление о желании учредить Общество попечения об учащихся детях Бутырского района. Это состоялось, насколько припоминаю, в первой половине 1909 года и совпало с печальным событием, взволновавшим московскую общественность. Когда мы собирались у градоначальника в ожидании приема, несколько запоздавший Окунев принес известие о смерти С. А. Муромцева. Положительный ответ градоначальника был беспрепятственно получен и мы приступили к организации дела. Предварительно я посетил городского голову Н. И. Гучкова и предупредил его о задуманном нами начинании. Я несколько стеснялся просить его содействия, имея в виду, что мне недавно перед этим пришлось быть инициатором снижения ему оклада содержания. Но он проявил себя абсолютно на высоте общественных интересов, горячо приветствовал нашу инициативу, несколько раз повторив, что это святое дело. А впоследствии, когда я представился ему в качестве только что избранного председателя общества и сообщил, что мы уже приступаем к деятельности, он внес 100 рублей членского взноса, как один из первых пожизненных членов Общества.

Задачи Общества были весьма обширны. Мы брали на себя заботу о внешкольном времяпрепровож-

дении детей, о предоставлении им возможности приготовлять школьные уроки в обстановке более комфортабельной, чем большинство из них имело дома, и наконец, о разумных развлечениях и физических упражнениях.

Центром этой работы были детские клубы, в которых под руководством старших руководителей мальчики и девочки приучались к общественной самодеятельности. Дети выбирали из своей среды председателя и других должностных лиц, которые заботились о клубных занятиях и о поддержании порядка и чистоты в помещении клуба. В этих помещениях, украшенных различными продуктами детского ручного труда, рисунками, скульптурами, цветами, аквариумами и т. п., дети обсуждали на общих собраниях нужды клуба, приготовляли уроки, занимались различными играми. При клубах в первую очередь устраивались библиотеки, заведывание которыми поручалось также самим детям. И надо было видеть, с какой трогательной заботливостью и неподдельным увлечением относились эти, так называемые «уличные мальчишки и девчонки» к исполнению возложенных на них почетных и культурных обязанностей. В клубах собирались и пожертвования для беднейших детей, которые снабжались одеждой, обувью, учебными принадлежностями и т. д.

Медицинской помощью дети были достаточно обслужены в городских, частью прекрасно оборудованных школах. На долю нового Общества выпала забота об организации физических упражнений на открытом воздухе. Для этого зимой устраивались катки, на которых неимущим выдавались коньки, так что никто не был обижен и лишен этого удовольствия при условии, конечно, точного исполнения установленных при участии самих же детей правил. Летом устраивались площадки для детских игр. Сюда с охотой собирались дети различных возрастов. Малютки сидели на песочных кучах. Более взрослые играли в мяч, серсо, крокет, качались на качелях, бегали на гигантских шагах. Опасного для малюток футбола тогда к счастью еще

не было, так что дети различнейших возрастов прекрасно уживались вместе на одной площадке.

Большое впечатление производили общественные выступления детей. Правда, устройство рождественских елок входило в обязанность школ; но нашему Обществу была предоставлена широкая инициатива по организации детских спектаклей. Помню один, особенно удачный спектакль в громадном зале Народного дома, вмещавшем чуть ли не тысячу зрителей. Ставилась пьеса под заглавием «Царица цветов» с пением и танцами, с многолюдным составом участниц и участников, изображавших различные цветы или насекомых: пчелу, кузнечика, бабочку и т. п. Красочные декорации и костюмы, наряду с тщательно срепетированным исполнением, произвели на зрителей неизгладимое впечатление. А юные артисты были в полном восторге от общей праздничной суеты, от своего успеха, от полученных подарков и сделанного им угощения. При виде этого детского рая у многих родителей выступали на глазах слезы умиления.

Не менее сильные чувства переживали мы летом, когда устраивались массовые экскурсии детей за-город. Вместо прежней толпы грязных детей в растерзанных одеждах, шнырявших по окраинным улицам города и творивших всякие безобразия, перед нами выступали со своими клубными знаменами и оркестром стройные ряды красивых, чисто вымытых и опрятно одетых девочек и мальчиков. А когда замолкала музыка, раздавалось стройное, одушевленное пение сотен детских голосов. Хотелось обнять и расцеловать всех этих детей, как своих собственных.

Не могу не вспомнить с чувством живейшей симпатии о самом активном члене Общества, гласном думы из арендаторов А. В. Платове. Простой человек, владелец слесарной мастерской на Бутырках, он так проникся просветительными и воспитательными идеями Общества, что посвящал ему всё свое свободное время (подозреваю даже, что и часть своего рабочего времени). Он самолично расчищал снег на катке, по-

стоянно мастерил какие-нибудь приспособления для детских игр, руководил занятиями в клубе. Угрюмый в обыкновенной жизни, он с радостным, просветленным лицом выступал во главе загородных экскурсий.

Зато об участии в нашем Обществе преподавательского персонала городских школ, представители которого должны бы были, как казалось, быть его наиболее деятельными работниками, у меня сохранились менее приятные воспоминания. В общем этот персонал пополнялся знающими, а подчас и высоко квалифицированными педагогами. И хотя в большинстве они были левых политических взглядов, среди них была распространена какая-то безучастность к общественной работе. Отбыв часы своих занятий в школе, они, посещая друг друга, могли часами предаваться ламентациям о печальной судьбе русского народа, страждущего от несовершенного политического устройства и от последствий его — нищеты и невежества. А к тому, чтобы пойти в детский клуб или на площадку для игр, и тем смягчить по мере возможности эти два бедствия, у большинства из них не было никакой охоты. Были среди них даже проявления негодования по поводу того, что Общество стремится эксплуатировать их, предлагая им сверхурочную работу без добавочного вознаграждения. На фоне нашей общей жертвенности такие обвинения звучали совершенно нелепо. К сожалению, мне и при моей последующей общественной деятельности приходилось нередко встречаться с подобными настроениями, особенно в низших и средних кругах русской интеллигенции. Бойкость, порывистость и теоретическая критика на словах и полная апатия, когда дело доходит до практических мероприятий. Может быть, в этом кроется какой-то отзвук восточного фатализма. И то обстоятельство, что русский народ так легко поддается посторонним, часто ему чуждым влияниям, имеет своим основанием тот же квиетизм его духовной природы.

Примеру нашего Бутырского Общества попечения об учащихся детях вскоре последовали другие райо-

ны Москвы. Второе Общество возникло в Арбатском районе, центре московской интеллигенции. Председательницей его была кн. Голицына, в семье которой городская общественная служба свила себе прочную традицию. Ее муж Владимир Михайлович был одно время городским головой, а сын, уже во время моего пребывания гласным, занимал должность члена управы. Сама она была попечительницей одной из городских школ. Третье Общество возникло по инициативе и под председательством С. В. Бахрушина в Рогожском районе, а вслед затем вся Москва постепенно покрылась сетью подобных учреждений, которые в благородном соревновании между собой старались внести в темные, а часто и озлобленные души детской бедноты искру света, мира и счастья.

Одним из принципов наших Обществ была финансовая независимость от городского управления. Работая с ним в тесном духовном контакте, мы не пользовались его материальными средствами, и без того обремененными всевозможными благотворительными начинаниями, в числе которых выдающуюся роль играли уже упомянутые выше городские попечительства о бедных. Имея в виду, что успешность добывания денежных пожертвований возрастает пропорционально с размером собирающего их учреждения, мы решили объединить все наши Общества в Союз. Это было желательно и с точки зрения согласования работы отдельных Обществ. Председательствование в Союзе возложили на меня, несмотря на мой отказ, мотивированный тем, что в то время я уже был членом Государственной Думы и большую часть времени проводил в Петербурге. Мне было совестно занимать почетную должность номинально. Лишь один раз я почувствовал себя на своем месте и вполне оправданным. Союзу экстренно понадобились 10 тыс. рублей, сумма значительная, которую было очень трудно собрать. Я решил испросить ее от Министерства народного просвещения и отправился лично на прием к министру графу П. Н. Игнатьеву, с которым у меня, несмотря на то, что я

принадлежал к оппозиционной партии, поддерживались добрые отношения. После таких неудачных министров, как ген. Ванновский или Кассо, он представлял на своем посту поистине отрадное явление. Просвещенный в самом лучшем значении этого слова, благожелательный, чуждый партийной нетерпимости и бюрократических предрассудков, он пользовался в Государственной Думе почти всеобщими симпатиями. Бегло просмотрев мое прошение, он взялся за перо, чтобы поставить свою резолюцию. А на мой вопрос, не желает ли он предварительно ознакомиться с уставом Союза, он с очаровательной любезностью ответил, что он хорошо знает председателя Союза, и это для него достаточно. Таким образом на второй или третий день после отъезда из Москвы я мог телеграфировать, что деньги для Союза обеспечены.

Во время одной из своих поездок заграницу я к большому удивлению и радости узнал, что в Берлине существует Zentrale für Jugendfürsorge, по своим задачам и деятельности весьма близко напоминающее наш Союз и объединенные им Общества. И на немцев не малое впечатление произвело известие, что в далекой и, по их понятиям, малокультурной Москве существует столь современное учреждение, работающее на основе новейших данных педагогической науки. Я был избран членом Zentrale и долгое время, по возвращении в Россию, поддерживал с ним переписку. Я делал это не только для того, чтобы получить из Германии ценные для нашей работы сведения, но и «ради русского имени», как говаривал Д. И. Менделеев, прославленный во всем мире химик и большой русский патриот.

Наконец, и Петербург, который обычно проявлял к московским делам скептическое отношение, заинтересовался нашими новыми Обществами. Я не помню точно, когда это было, но думается мне, что незадолго до войны, там было устроено многолюдное собрание под председательством маститого ученого, члена Государственного Совета и любимца либеральных обще-

ственных кругов М. М. Ковалевского. На нем я познакомил петербургскую публику с деятельностью наших Обществ, а профессор С. К. Гогель выяснил перспективы создания подобных учреждений в Петербурге. Собрание увенчалось большим успехом, но последующие дни принесли мне много тревог и серьезное огорчение. После собрания, которое происходило на какой-то пустынной улице, кажется на Песках, и затянулось до поздней ночи, мы с Максимом Максимовичем, выйдя чуть ли не последними из помещения собрания, долго не могли найти извозчика и значительную часть пути шли пешком, под проливным дождем и при сильном петербургском ветре. Мне это было с полбеды, но для моего старчески-грузного, болезненного спутника это кончилось трагически. Когда я, наконец, подвез его к его квартире, он чувствовал себя плохо, а когда я через несколько дней пришел навестить его, я не застал его уже в живых.

Потом общественное внимание стало всё более и более поглощаться военными событиями, так что до развертывания деятельности обществ попечения об учащихся детях в Петербурге не дошло. Да и в Москве их работа под влиянием войны затормозилась, а после революции совершенно прекратилась.

Как я упомянул уже выше, в сферу забот Московского городского общественного управления входило и среднее образование, правда, в очень ограниченной степени, в форме контроля за частными средними учебными заведениями. Для этой цели в состав педагогических советов частных гимназий и реальных училищ входили представители Городской думы. На мою долю выпала находившаяся неподалеку от моего местожительства женская гимназия Л. Ф. Ржевской, сестры инициатора моего вхождения в думу. Гимназия была прекрасно поставлена, так что мои посещения педагогического совета носили характер скорее репрезентации, чем контроля. Но не могу не вспомнить моего первого посещения. Оказалось, что председателем совета состоит Н. И. Виноградов, мой бывший учитель русской сло-

весности в Коммерческом училище. Он был хорошим преподавателем, корректным и сдержанным человеком, но иногда уничтожал нас, учеников, своей ледяной иронией, делая нам, напр., замечание: «А ум-то ваш где же?» Теперь он меня встретил, как сановника, с величайшим почетом и во время заседания неоднократно обращался ко мне с просьбой высказать мое мнение. Но особенно поразила меня встреча с одним из бывших моих учителей немецкого языка, предмета, по которому у меня были наихудшие, иногда даже неудовлетворительные отметки. Когда я, только что прошедший заграничную практику, заговорил с ним на хорошем немецком языке, он смутился и после нескольких фраз перешел на русский. Я успел заметить, что его немецкий язык был далеко не безукоризнен; настолько он обрусел. Так волны житейского моря играют людьми, поднимая и опуская их не только в общественном положении, но и в смысле их духовных проявлений.

Другим, кроме народного образования, вопросом, который привлекал к себе мое особое внимание не только в Городской, но впоследствии и в Государственной Думе, было правовое положение местного самоуправления, поскольку оно определялось Городовым положением. Те широкие права, которые были предоставлены городскому и земскому самоуправлению в эпоху великих реформ, оказались, подобно тому, как это случилось с университетским уставом, значительно урезанными в последовавшее царствование. В соответствии с общей реакционной политикой правительства, земства и города держались в ежовых рукавицах. Поэтому у них постоянно происходили конфликты по вопросам компетенции с правительственным Главным управлением по делам земского и городского хозяйства. Самый тяжкий конфликт разразился в Москве по поводу неутверждения городского головы. Когда состав думы значительно полевел, и руководящая роль в ней перешла к прогрессивной группе, стало естественным, что городской голова должен был принадлежать к этой группе. Были последовательно избраны три ли-

ца, и все трое не получили правительственного утверждения. Дальше дума отказалась выбирать и долгое время работала под председательством товарища городского головы. Москва оставалась безглавой. Наконец, под влиянием военных событий, которые властно требовали общественной солидарности, правительство уступило, и городским головой сделался М. В. Челноков, о котором я упоминал выше и который принадлежал к кадетской партии.

При этих обстоятельствах проблема изменения Городового положения, в смысле освобождения местных самоуправлений от излишней бюрократической опеки, стала вполне актуальной. Правительство соглашалось на некоторые второстепенные улучшения в ходе земской и городской работы, но посягать на сущность соответствующих законов отнюдь не желало. Особенно отчетливо это проявилось на съезде городских представителей в Киеве. Разрешение на этот съезд дано было под условием, что на нем не будет затрагиваться вопрос о реформе Городового положения. Председательствовал на съезде Киевский городской голова И. Н. Дьяков, который впоследствии, в эмиграции, организовал вместе со своей супругой книжное дело в Берлине. Это был культурный, обходительный человек и умелый председатель. Но он попал в крайне неловкое положение. Принадлежа к «законопослушной» партии октябристов, он пользовался доверием правительственных кругов. Но в это время уже и в его партии началось брожение против чрезмерных правительственных стеснений. На съезд прибыл лидер партии А. И. Гучков, от которого ожидали противоправительственного выступления. Поэтому на съезде царило боевое настроение, и председателю всё время приходилось пользоваться звонком, чтобы удерживать прения в безопасном для съезда русле. Но он делал это с большой находчивостью и добродушием, чем пробудил к себе живые симпатии участников съезда, также не желавших его преждевременного роспуска. В благодарность за умелое исполнение трудной роли мы, по инициати-

ве бывшего Саратовского городского головы, а в то время члена Государственной Думы — кадета В. И. Алмазова, поднесли ему на память подарок, правда несколько иронический — серебряный звонок.

От Москвы на съезд были делегированы представители двух думских групп, Н. И. Гучков и я. А так как Н. И. вскоре после открытия съезда должен был уехать из Киева по своим другим делам, то я остался единственным представителем Московского городского управления. Тогда Алмазов и другие мои коллеги по Государственной Думе, члены партии народной свободы, среди которых особую горячность проявлял мой приятель, петербургский депутат Л. А. Велихов, объединились, чтобы организовать достойное, по нашему мнению, завершение съезда. А. А. Кизеветтер, с которым мы сотрудничали сначала в Московском университете, а затем в нашем общем изгнании, в Праге, описывает в своих воспоминаниях «На рубеже двух столетий» закрытие этого съезда совершенно неправильно. Он пишет, что съезд был закрыт полицией при произнесении оппозиционной речи А. И. Гучковым. В действительности же дело обстояло следующим образом. Когда на заключительном собрании съезда были подведены его итоги, я попросил председателя предоставить мне слово для приглашения присутствующих на следующий съезд в Москве. Главными пунктами моей речи, насколько припоминаю, были следующие. В Москве мы не допустим такого ограничения свободы слова, какое тяготело над нами в Киеве — первое предостережение со стороны присутствовавшего в собрании полицмейстера. В Москве мы не потерпим вмешательства полиции в обсуждение вопросов городского самоуправления — второе предостережение. В Москве мы подготовим коренную реформу Городового положения — третье предостережение и закрытие съезда полицейской властью. Среди присутствовавших разразилась буря негодования против полицейского насилия, а мои многочисленные сторонники с ликованием поздравляли меня с тем, что так ловко удалось вы-

рвать у наших политических противников-октябристов славу защитников гражданских свобод. А. И. Гучкову оставалось после этого прочесть свой заготовленный для взрыва съезда доклад на частном совещании своих единомышленников, на которое мы уже не были приглашены. Газетная пресса на другой день разгласила во всех подробностях нашу победу.

Рассказанное мною служит, между прочим, примером того, как видный и добросовестный историк, пользуясь сомнительными источниками, может исказить правду. В данном случае это было для него особенно обидно, во-первых потому, что это противоречило политическим интересам его, как одного из основателей кадетской партии, а во-вторых потому, что живой участник события находился в его непосредственном соседстве. А. А. Кизеветтер даже читал мне некоторые места своей рукописи, касающиеся культурной жизни Москвы, но описание Киевского съезда мне не показал, о чем впоследствии неоднократно высказывал свое сожаление.

Как я уже упомянул выше, с полевением думского состава городским головой был избран М. В. Челноков. Он был одним из членов строительной фирмы «Шапошников и Челноков», но торговыми делами не занимался, посвящая всё свое внимание общественной деятельности. Как это ни странно для московских купцов, но в параллель с А. И. Гучковым, специализировавшимся в военных делах настолько, что он впоследствии вошел во Временное правительство в качестве военного министра, Михаил Васильевич был великим знатоком военно-морского дела. Однажды он произнес в Государственной Думе речь по смете морского министерства, которая оказалась столь исчерпывающею предмет, что остальные записавшиеся ораторы отказались от слова. Получивши лишь домашнее образование, М. В. был весьма начитанным, находчивым и остроумным человеком. Несмотря на то, что он сильно хромал и не мог передвигаться без палки даже по комнате, а с другой

стороны, несмотря на незнание иностранных языков, он обладал большой ловкостью в области международного представительства. Никогда в Москве не было такого множества гостей из-заграницы, как во время его пребывания на посту городского головы. Это, конечно, находилось в связи и с военными событиями. Наши тогдашние союзники проявляли к России всевозможные знаки внимания, кроме одного, самого главного, а именно материальной помощи, на которую они по отношению к нам были скупы, но которую столь щедрыми руками сыпали во время второй мировой войны большевистскому правительству. К нам в Москву приезжали тогда французские профессора, английские парламентарии, английские моряки. Для всех устраивались блестящие приемы в Городской думе, при которых мне, в силу моих приятельских отношений с городским головой, приходилось принимать деятельное участие, непрестанно циркулируя между Москвой и Петроградом. В этих делах мне иногда доводилось сотрудничать с братом городского головы Федором Васильевичем, очень милым человеком барственного вида, но страшным лентяем. Когда один из иностранных гостей спросил его, чем он занимается, тот, к великому его изумлению, ответил, чуть ли не с обидой в голосе, что он во всю свою жизнь никогда ничем не занимался. Однажды М. В. поднял даже речь о привлечении меня в число членов Городской управы, но эта функция, поглощавшая всего человека без остатка, была для меня неприемлема. Я не мог расстаться ни с Государственной Думой, ни с моей преподавательской деятельностью в Коммерческом институте. Но ввиду моих тесных отношений к приезжавшим в Москву иностранным гостям я получил другое лестное избрание. Мы устроили Общество сближения с Англией, в котором я сделался заместителем председателя. Председателем состоял бывший Московский городской голова, престарелый кн. В. М. Голицын, а секретарем Н. И. Вавилов, впоследствии видный ученый-ботаник, погибший в 1942 г. в концентрационном лагере в Колыме.

Когда исполнилась мечта прогрессивных городских деятелей, и в Москве возник, вопреки желанию правительства, долго тормозившего это начинание, Союз городов, его председателем был избран М. В. Челноков, который оказался таким образом как бы верховным возглавителем всех российских городов. О деятельности Городского союза я поговорю еще в главе, посвященной первой мировой войне.

После февральской революции должность городского головы занял Н. И. Астров, но вскоре затем были произведены перевыборы гласных уже не цензовым порядком, а на широких демократических основаниях. В результате подавляющее большинство голосов в думе перешло к социал-революционерам. В дальнейшем был осуществлен и другой пункт разработанного нами нового городового положения, а именно разграничение в городском управлении распорядительных и исполнительных функций. Председателем думских собраний был избран с.-р. О. С. Минор, а городским головой т. е. председателем управы с.-р. В. В. Руднев. Эта социал-революционная дума, в которой наша незначительная группа прогрессистов оказалась уже на правом крыле, никакими серьезными практическими мероприятиями свою деятельность не ознаменовала. Да и существование ее было весьма коротким. Одним из первых шагов коммунистов, когда они захватили власть в Москве, была ликвидация эсеровского городского управления. Думское здание было занято новыми господами Москвы при энергичном содействии одного из секретарей управы, к которому мы издавна питали полное доверие и никак не могли предполагать в нем члена большевистской партии и будущего разрушителя нашего, так успешно укреплявшегося местного самоуправления. Часто бывает, что изменники и перебежчики не получают ожидаемых ими выгод в своем новом положении. Так было и с нашим секретарем управы. Он похозяйничал в думе лишь несколько недель, а потом совершенно исчез с общественного горизонта. Между тем остальные служащие в знак про-

теста против насилия объявили забастовку, которая, однако, новой властью, не стеснявшейся в средствах, была быстро подавлена. По большевистской идеологии забастовки являются ценным орудием в их борьбе за власть, но не смеют быть использованы против них. Они суть выражение народной воли, а при коммунистическом режиме эта воля яко бы в достаточной мере осуществляется самим правительством. Так что какие бы то ни было протесты со стороны народа, были бы выступлениями против самого себя.

Гласные думы решили сохранять по мере возможности свою организацию и собирались в здании университета Шанявского. Во время одного из таких собраний в аудитории появился отряд красноармейцев с требованием о прекращении заседания. Гласные эсеры, с присущей им привычкой вести политическую агитацию, начали один за другим выступать с пылкими речами, убеждая красноармейцев в том, что они творят неправое, противонародное дело. Особенно сильное впечатление произвела речь молодой, красивой ораторши, Ратнер. Красноармейцы прониклись нашими доводами и ушли, предоставив нам продолжать заседание. Но это была, конечно, лишь краткая отсрочка, и деятельность нашего объединения, состоявшего из буржуев и социал-предателей, должна была скоро прекратиться. А затем, через некоторое время был ликвидирован и Союз городов, несмотря на то, что в целях его сохранности возглавление его было передано одному из виднейших большевистских деятелей — Свердлову.

Так закончился исторически краткий, начиная от эпохи великих реформ приблизительно полувековой, период Российского местного самоуправления. Наши идейные порывы и готовность к служению ближнему, наши скромные, но неизменно возраставшие достижения, материальные и культурные, которые часто тормозились справа, были окончательно приостановлены и задушены могучей волной, набежавшей слева. Мы часто слышим, что Москва, благодаря расширению

улиц, возведению новых, грандиозных построек, благодаря метрополитену и речному порту получила в последнее время совершенно новый облик. Но мы знаем, что этот облик связан и с разрушением многих религиозных и художественных памятников, дорогих сердцу каждого природного москвича и русского патриота. Когда же я пытаюсь мысленно продолжить кривую достижений московского городского самоуправления, которая имела в последний период его существования столь яркую тенденцию к повышению, я прихожу к убеждению, что если бы это самоуправление могло и в истекшие три десятилетия без помехи продолжать свою работу, Москва была бы теперь, при полном сохранении своего исторического своеобразия, одним из самых красивых, гигиеничных и культурных городов Европы.

VI. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА

"Ich fühle Mut, mich in die Welt zu wagen,
Der Erde Weh, der Erde Glück zu tragen,
Mit Stürmen mich herumzuschlagen
Und in des Schiffbruchs Knirschen nicht zu zagen".

Goethe. Faust.

Если гора не приближается к Магомету, то Магомет идет к ней. В соответствии с этой поговоркой я проделал длинный путь, полный всяческих затруднений и препятствий, к научной работе и к Московскому университету. Совершенно иначе определялось мое вхождение в общественную деятельность. Эта последняя, как могучая гора, без моей инициативы постепенно захватывала меня и поднимала на свою вершину, завлекая широкими перспективами служения добру и справедливости. Пример такого почти автоматического вхождения в Городскую думу был мною приведен выше. Еще более неожиданным для меня, да и для многих других, было мое избрание в Государственную Думу.

В ранней юности мои политические симпатии склонялись в сторону марксизма. Я сделался участником подпольного кружка, где таинственный Иван Иванович поучал нас социал-демократической премудрости, с удовольствием прихлебывая пиво, которое он величал, как поистине марксистский напиток. Меня он увлекал главным образом своими уверениями, что учение К. Маркса основано на новейших научных данных, преимущественно на естествознании.

Впоследствии, когда я самолично прочитал «Капитал» и другие произведения марксистской литературы, а с другой стороны, проник в самые глубины естественных наук, мое политическое настроение изменилось. Я пришел к общему убеждению, что в космосе разлита гармония, пронизывающая и его отдельные части, что даже Дарвиновский принцип борьбы за существование, который марксисты обыкновенно подводят, как основу, под свое учение, должен быть понимаем не в качестве активной борьбы всех против всех, а как выживание наиболее приспособленных. Далее мне становилось всё более и более ясным, что понятие эволюции, т. е. постепенного развития органического мира, которое фигурировало и в предшествовавшей литературе, но за которым Ч. Дарвин закрепил прочное место в науке, не может служить исходной точкой для проповеди внезапных насильственных революционных переворотов. Наконец, и в самом здании дарвинизма, сначала казавшемся таким прочно заложенным и логически обоснованным, появились с дальнейшим развитием научных знаний, трещины и провалы. Внимание биологов обратилось поэтому к другим научным теориям и рабочим гипотезам, более удобным в качестве базиса для научно-исследовательской работы. Гегемония дарвинизма в науке кончилась.

Невоинственный по природе, я отвратился от доктрины, проповедующей непримиримую классовую борьбу. А сблизившись, после избрания в гласные, с деятелями конституционно-демократической партии или, как ее также называли, партии народной свободы, я почувствовал, что она в полной мере отвечает моим общественным запросам. Выдержанная в строгих демократических принципах, программа этой партии привлекала меня своей резкой оппозиционностью против реакционных тенденций тогдашнего правительства. Но в то же время она намечала мирные пути для насаждения в нашем отечестве гражданских свобод, устранения социальной несправедливости и поднятия культурного уровня народа. Итак, я стал деятельным

членом партии, а впоследствии, после некоторого времени работы в Государственной Думе, был введен в состав ее центрального комитета.

Этот комитет собирался преимущественно в Петербурге, как центре русской политической жизни. В Москве был местный комитет партии и, кроме того, мелкие районные комитеты. Однажды, когда в 1912 году кончался срок полномочий третьего созыва Государственной Думы и подготовлялись выборы в четвертую Думу, ко мне пришел один из наиболее деятельных членов нашего Сущевского комитета, П. А. Велихов (родственник вышеупомянутого депутата Велихова), тогда доцент, а впоследствии профессор Института инженеров путей сообщения, и спросил меня, не желаю ли я выставить свою кандидатуру в члены Государственной Думы. Я ему ответил, что я и без того перегружен научной и общественной работой, что раздумываю о том, не переехать ли мне в Харьков, куда меня приглашают на кафедру, и что моя всего лишь трехлетняя работа на общественном поприще не дает мне никакого основания рассчитывать на благоприятный для меня исход выборов. Давать же свое имя в качестве игрушки для предвыборной кампании мне не хочется. На этом разговор закончился, и я успокоился, польщенный предложенной мне честью, которая оказалась не связанной с какой-либо жертвой с моей стороны.

Но вот прошло несколько дней, и вдруг, в шестом часу утра (а по тогдашнему московскому образу жизни это был почти ночной час) я был разбужен телефонным звонком. Думая что это ошибка, я продолжал оставаться в постели. Телефон, однако, не унимался и вынудил меня встать. Оказалось, что заботливая секретарша Московского комитета О. А. Зернова беспокоилась о том, что мое имя не внесено в списки избирателей. Я успокоил ее, сообщив, что позабыл во время зарегистрироваться и поэтому внесен в дополнительный список. Она меня поблагодарила за справку, а я ее в душе выругал за то, что она из-за такого

пустяка меня разбудила. Но только что я собрался продолжать мой прерванный сон, как снова загремел телефон. На этот раз звонили из редакции «Русских Ведомостей» с тем же беспокойным вопросом об избирательных списках. На мой упрек, почему они так рано беспокоят меня из-за моего личного дела, я получил ответ, что дело это не личное, так как через полчаса выйдет в свет номер газеты, в котором на первой странице крупным шрифтом будет напечатано мое имя в числе четырех кандидатов в члены Думы, намеченных партией народной свободы. Это было, как гром с ясного неба. Вся моя жизнь поворачивалась по-новому. Оказалось, что накануне состоялось заседание Московского комитета, на котором я, не то по занятости, не то по легкомыслию отсутствовал, и на котором «без меня меня женили». Мои сущевские друзья выставили мою кандидатуру, мотивировав ее моим знакомством с заграничной жизнью, политической твердостью и решимостью, нашедшей себе выражение в уходе из Московского университета, а также успешностью работы в качестве гласного. Лишь председатель комитета, испытанный общественный деятель, член 1-й Государственной Думы, подписавший Выборгское воззвание, М. Г. Комиссаров, высказал сомнение в возможности проведения моей кандидатуры, смягчив его, однако замечанием, что по поводу этой кандидатуры придется сильно поработать. Я лично склонен объяснять свою кандидатуру отнюдь не наличием каких-либо особенных достоинств, которые и не могли бы проявиться за чрезвычайно короткий период моей общественной деятельности, но характерным «безлюдьем» в русской общественности вообще, а в частности и в нашей партии, особенно после того, как подписавшие Выборгское воззвание члены Государственной Думы были лишены права официального участия в общественной жизни.

Я сильно опасался, хватит ли у меня выдержки и напора для предвыборной кампании, в которой мне придется не диспутировать с академическими колле-

гами по научным вопросам, не беседовать с мирными городскими избирателями о хозяйственных и культурных проблемах Москвы, а сражаться с опытными политическими противниками по всем вопросам, еще так мало знакомого мне государственного управления. Как это ни странно звучит, принимая во внимание мои многочисленные общественные выступления, но я должен признаться, что по внутренней моей сущности я человек робкий и застенчивый — свойства, которые я унаследовал от отца. В течение всей моей жизни самым неприятным для меня делом было хождение по канцеляриям с какими-либо просьбами или для получения справок, причем надо было проявлять соответствующую развязность. При общественных же выступлениях, которые сами по себе меня всегда привлекали, как плавание по безбрежному морю, то спокойному, то бурному, как общение с бездонными глубинами соборной человеческой души, мне нужно было преодолевать свою застенчивость упорным напряжением воли и систематическим самодисциплинированием.

Весьма опасным для моей кандидатуры обстоятельством, которое в глазах многих делало мои шансы на выборах иллюзорными, было то, что в качестве моего конкурента выступал А. И. Гучков, как кандидат октябристской партии. В третьей Государственной Думе Москва была представлена тремя кадетскими депутатами: М. В. Челноковым, В. А. Маклаковым и Н. Н. Щепкиным, и октябристом А. И. Гучковым, который одно время был даже председателем Думы. На выборах в четвертую Думу партия народной свободы, кроме своих старых депутатов, выставила на четвертое место мою кандидатуру. Некоторые скептики выражались даже в том смысле, что эта последняя была выставлена не всерьез, а лишь для «затычки». При таких обстоятельствах не только М. Г. Комиссарову, но и мне пришлось серьезно поработать. Я должен был оставить все остальные дела и посвятить себя исключительно предвыборной кампании. Существенную пользу мне при этом оказала моя лекционная работа в Народном

университете, при которой мне приходилось выступать перед людьми самых различных состояний, приспособляясь к их интересам и к уровню их развития. Но несомненно, что самым главным фактором, повлиявшим на результат московских выборов, был рост оппозиционных настроений у населения и недовольство третьей, чересчур «законопослушной» октябристской думой. Эта дума явилась результатом coup d'état, который был произведен Столыпиным после роспуска второй Государственной Думы, когда на место демократических прямых, равных и тайных выборов, Высочайшим указом от 3-го июня 1907 года была заведена система выборов постепенных и куриальных. Это означало, что в широких кругах провинциального населения сначала избирались выборщики, на которых правительственные органы могли оказывать известное давление и которые уже из своей среды выбирали депутатов. В больших же городах избиратели были разделены на две курии, цензовую и общую, что давало правым течениям также некоторые преимущества. В разработке новой выборной системы принимали участие октябристы, а оппозиция направляла против нее неустанно стрелы негодования. Это было одной из причин того, что А. И. Гучков оказался в четвертую Думу забаллотированным, и от Москвы прошли все четыре кадетских депутата: из них Челноков и я по первой курии, т. е. от домовладельцев и торговцев, а двое других, Маклаков и Щепкин от второй курии, от остального населения. Великое ликование в нашем лагере возрасло еще более, когда пришло известие, что и в Петербурге прошли все четыре кадетских депутата. Немедленно, после оглашения результатов выборов, был организован многолюдный банкет, на котором мы, новые народные избранники, должны были выступить с речами. Я между прочим указал на то, что избрание совершилось для меня неожиданно, что мне приходится от моих теоретических, умозрительных занятий перейти в самую гущу практической жизни. Но следуя словам Фауста, приведенным в эпиграфе настоя-

щей главы, я не останавливаюсь перед трудностями служения пославшему меня народу.

Так совершился новый, парадоксальный перелом в моей жизни. Профессор зоологии сделался представителем московского населения в Думе. Деятельность в Москве мне пришлось сократить до минимума. Но с преподаванием в Коммерческом институте я не мог расстаться, хотя продолжение его и было связано для меня с большим напряжением. Во время думской сессии я каждую пятницу вечером должен был из Петербурга направляться в Москву, чтобы там в субботу и воскресенье провести два часа лекций и четыре часа практических занятий — наименьшее число часов, определявших кафедру. Во внимание к моему особому положению мне было разрешено заниматься и по воскресным дням. В ночь с воскресенья на понедельник я возвращался в Петербург. К концу сессии две ночи, еженедельно проводимые в дороге, несмотря на удобство путешествия в спальном вагоне, давали себя чувствовать порядочным утомлением. Но это вполне искупалось не только интересом работы, но иногда и очаровательными переживаниями от перемены места. Весной, возвращаясь в Москву и проезжая с вокзала по улицам, богатым садами, я наслаждался ароматом цветов и свежей зелени. Приезжая в каменный Петроград, я чувствовал веяние соленого морского воздуха. А летом петербургские белые ночи, чарующие, но зовущие к бессоннице, и в противовес им полные густой, бархатной черноты, успокоивающие ночи в Москве.

Еще до открытия Думы наша кадетская фракция, насчитывавшая около шестидесяти членов, сорганизовалась, причем председателем ее был избран П. Н. Милюков, историк, автор известных «Очерков по истории русской культуры», но которому профессорская карьера в России не удалась. Он занимал кафедру в Софийском университете, а потом сделался профессиональным политическим деятелем. Не обладая большим ораторским талантом, он умел так умно и убедительно сконструировать свои думские речи, что они

были руководящими для фракции, а впоследствии, когда в Думе начало расти оппозиционное настроение, и для думского большинства. Человек с большой общественной эрудицией, он был партийным лидером по призванию. Мешала ему лишь резкая нетерпимость к чужим мнениям, от которой он впоследствии значительно освободился, и какая-то прирожденная бестактность. Так напр., на первое, утреннее заседание третьей Государственной Думы, которой он тоже был членом, он явился вопреки общепринятым обычаям, наряженным в смокинг, так что каррикатуристы долго потом изображали его в этом наряде. И в речах его иногда проскальзывали вещи, которые приходилось исправлять затем дипломатическим путем. Его политические противники называли его одно время царем бестактности. Но самым изумительным его качеством была его поистине неисчерпаемая работоспособность, которая особенно ярко проявлялась во время партийных съездов и конференций. По вечерам, после почти сплошного дневного заседания, когда мы, старые и молодые, рядовые участники его, только и мечтали о том, чтобы добраться до постели, он, председатель собрания, после всего напряжения, связанного с этим положением, отправлялся в редакцию своей газеты «Речь» писать передовую статью.

Для предварительного рассмотрения дел, восходивших на решение Думы, и для выработки единодушного отношения к ним со стороны фракции из ее состава было выделено, кажется, пятнадцати- или двадцатичленное бюро. Уже на первом заседании бюро выявились разногласия в нем и наметились два крыла фракции, левое и правое. Первое, в котором сосредоточилось значительное большинство во главе с председателем, считало необходимым открыть деятельность фракции в Думе декларацией теоретического характера с требованием немедленного осуществления в России полноты гражданских свобод (совести, слова т. е. печати, союзов и собраний). Одним из аргументов в пользу такого шага было то обстоятельство, что

оппозиционные элементы в четвертой Думе несколько возросли по сравнению с третьей. Правое крыло бюро, в составе трех московских депутатов, В. А. Маклакова, М. В. Челнокова и меня, а также некоторых других, стояло на точке зрения бесполезности таких чисто словесных выступлений и предлагало включить в первую фракционную речь мероприятия практические, приемлемые и для представителей соседних фракций. Произошел довольно резкий обмен мнений, в котором значительную роль играли демагогические выпады со стороны наших оппонентов, и после которого у меня на некоторое время отпала охота посещать заседания фракционного бюро.

Открытие Думы, как бы в ознаменование холодного отношения к ней со стороны правительственных кругов, было обставлено весьма просто. Тронной речи не было, и лишь товарищ председателя Государственного Совета И. Я. Голубев прочел Высочайший указ о созыве Думы. Затем председателем Думы был избран М. В. Родзянко, который председательствовал и в третьей Государственной Думе после Н. А. Хомякова, а затем А. И. Гучкова. Он был членом октябристской фракции, которая, хотя и сократилась по сравнению с тем, что было в третьей Думе, но, сохранила свое господствующее положение. Поэтому и должность главного секретаря досталась представителю этой фракции И. И. Дмитрюкову. Старшим заместителем председателя был избран националист кн. В. М. Волконский, вторым октябрист С. Т. Варун-Секрет. Несколько заседаний было потом посвящено речам представителей всех фракций в ответ на правительственную декларацию, оглашенную председателем Совета министров В. Н. Коковцовым. Речь от нашей фракции с требованием свобод не произвела большого впечатления в Думе, но зато в последующие дни явилась основанием для широкой агитации в могущественной либеральной прессе.

Внешние условия пребывания в Государственной Думе были чрезвычайно приятны. Отведенное под нее

здание Таврического дворца, построенное еще в Екатерининские времена, было тесновато для такого большого учреждения со всеми его комиссиями и канцеляриями, но в смысле архитектуры прекрасно как снаружи, так и внутри. Особенно красив был длинный двухсветный Екатерининский зал, главная часть думских кулуаров, где по обоим концам его стояли огромные столы с выложенными на них новыми журналами, окруженные удобными клубными креслами. Здесь было приятно посидеть и почитать, пока в соседнем зале заседаний шли тягучие прения по какому-нибудь третьестепенному вопросу. А иногда в этих креслах можно было видеть развалившиеся фигуры дремлющих депутатов, которых перед голосованием будили фракционные загонщики.

Зал заседаний производил величественное впечатление. Красивая трибуна из светлого дуба была трехэтажной. Наверху председательское место, несколько ниже кафедра для оратора, а под ней стол, за которым сидели стенографы. Справа от трибуны правительственная ложа, слева ложа для журналистов. На хорах были расположены ложи для иностранных дипломатов, почетных гостей и публики. Амфитеатр приблизительно для 440 депутатов производил также приятное впечатление. В нем размещались на местах, определенных взаимным соглашением, следующие главные фракции. На крайней левой две карликовые революционные фракции: социал-демократическая *(большевики и меньшевики)* и эсеровская, скрывавшаяся под официальным наименованием трудовиков. Далее сидели уже более крупные фракции кадетов, прогрессистов, октябристов, националистов и крайних правых. Маленькая национальная группа, польское коло, помещалась между кадетами и прогрессистами. Указанное несоответствие между числом крайне-левых депутатов и широко разлитым в стране революционным настроением вызывалось, с одной стороны, Столыпинским избирательным законом, о котором было упомянуто выше, а с другой, различными способами давления на

производство выборов со стороны правительственных органов. В столицах это давление не могло помешать избранию исключительно оппозиционных депутатов, но в провинции, где общественное мнение еще не представляло реальной силы, давление являлось могучим фактором. В некоторых случаях слишком усердное его осуществление приводило к скандальным результатам. Так напр., в Думе был подан протест, в виде запроса правительству, против одесских выборов, при которых фигурировали приемы «карусели и подсыпки». Первый прием заключался в том, что угодные местным властям избиратели могли по несколько раз подходить к избирательной урне и каждый раз опускать туда свой бюллетень. А когда и это оказалось недостаточным, то нужное количество желательных бюллетеней просто подсыпалось в урну.

Моим самым любимым думским помещением была читальня, обыкновенно пустынная, в которой на столе и полках было разложено громадное количество всевозможных газет, журналов и вновь вышедших книг. После какого-нибудь бурного заседания было очень приятно уединиться там. Другим местом отдохновения, но гораздо более шумным, был думский ресторан, расположенный в бывшей спальне Потемкина. Там иногда подавали превосходное, специально петербургское кушанье — небольших разварных невских сигов по-польски. Среди остальных думских помещений заслуживает упоминания красивое entreé, в котором обращал на себя внимание один из швейцаров, своей величественной фигурой, а отчасти и лицом столь напоминавший Александра III, что П. Трубецкой пользовался им как моделью при изготовлении вышеупомянутого памятника императору.

Председатель думы М. В. Родзянко обладал солидной внушительной внешностью. Он авторитетно и умело вел собрания. Лишь при одном обстоятельстве он становился несколько комичным. Это было, когда слово предоставлялось социал-демократическому депутату. Я не знаю, почему, но эти депутаты, в отли-

чие от теперешних большевистских вождей, казались людьми простоватыми и недалекими. Они не произносили своих речей, а считывали с заранее приготовленной рукописи, что запрещалось думским наказом. Родзянко, как только замечал это, делал «стойку», т. е. внимательно присматривался, весь вытягиваясь вперед, а иногда и вставая с места. Убедившись в том, что его подозрение справедливо, он останавливал оратора, напоминая ему думский наказ. Оратор, пробормотав несколько невнятных фраз, вновь обращался к рукописи, за что получал второе предостережение, а после третьего лишался слова. Лишь один эсдековский депутат, Малиновский был красноречивым человеком, но и тот впоследствии оказался провокатором.

Поистине артистически вел думские собрания кн. В. М. Волконский, под руководством которого они пробегали удивительно стройно и сравнительно быстро. На наши вопросы, как он этого достигает, мы получали ответ, что он совершенно не думает о сущности дебатируемого вопроса, а сосредоточивает всё свое внимание на внешней процедуре прений. Так, упрощая свою задачу, он может легко и хорошо с ней справиться.

В одном отношении председательствующий в Государственной Думе выглядел менее торжественно, чем Московский городской голова. Последний по старинной традиции являлся на заседание Городской думы во фраке, украшенный служебной цепью. Председатель Государственной Думы бывал облечен более скромно, в сюртук. Нагрудные же цепи в этой Думе являлись отличием лишь приставов, наблюдавших за поддержанием внешнего порядка.

Что касается состава членов Государственной Думы, то, помимо уже упомянутых выше, мне хочется сказать несколько слов о тех представителях различных фракций, образы которых наиболее запечатлелись в моей памяти.

Среди кадетов, после председателя фракции Милюкова, второе место занимал его товарищ А. И. Шин-

гарев. Это был скромный на вид человек, небольшого роста, бывший земский врач, который в Думе, однако, специализировался на финансовых и бюджетных вопросах. В этой новой специальности он достиг такого совершенства, что его речи по общему государственному бюджету, затягивавшиеся на два часа и более, представляли собой важные события думской жизни. Талантливый оратор, он искусно, а подчас резко и язвительно полемизировал с автором государственной росписи доходов и расходов, министром финансов Коковцовым. Вся оппозиционная часть Думы и передовая пресса торжествовали после выступления Шингарева решительную победу над министром финансов. Но когда я слушал потом ответные речи Коковцова, я чувствовал, несмотря на мою глубокую симпатию к Шингареву, что в его выступлениях было много элементов любительского характера, которые без труда разбивались его профессионально вышколенным противником. Как политический деятель, я был всецело на стороне моего партийного коллеги, но с точки зрения объективного естествоиспытателя я должен был отдать должное государственной опытности и эрудиции министра финансов. Говоря о Шингареве, нельзя не подчеркнуть, что это был типичный представитель лучшей русской интеллигенции, высокоразвитой и на всё доброе душевно отзывчивый человек. Сам страдавший болезнью печени, он с медицинской точки зрения проповедывал воздержанный образ жизни. Помню, как в думском ресторане после очередной филиппики Андрея Ивановича против употребления спиртных напитков, петербургский депутат Л. А. Велихов, пышущий здоровьем великан говорил ему: «Оттого вы и хвораете, что ничего не пьете. А я не сяду за обед без трех рюмок водки — вот и здоров». А. И. добродушно посмеивался.

Лицом, которое в руководстве фракцией играло, несмотря на сравнительную молодость, видную роль, был Н. В. Некрасов, преподаватель технического училища. По своим воззрениям он стоял на самом левом

фланге кадетской партии, был близок к Милюкову и снискал себе большую популярность, однако, главным образом демагогическими выступлениями. Он был наиболее рьяным загонщиком членов фракции в зал заседаний для голосования.

Златоустом считался не только нашей фракцией, но и всей Думой, московский адвокат В. А. Маклаков. На его речи загонять слушателей не требовалось. Фракция часто поручала ему ответственные выступления по обще-политическим вопросам, которые обходились без всяких эксцессов и ораторских подчеркиваний, но были неизменно горячи по темпераменту, глубоки по содержанию и элегантны по форме. Правда, за содержание своих речей он иногда, как правый кадет, получал упреки от руководителей фракции, но он мог себе позволить роскошь непослушания партийным директивам. В конце полномочий четвертой думы он должен был почувствовать неловкость, когда, правда на короткое время на посту министра внутренних дел оказался его брат, человек, не обладавший выдающимися государственными талантами, но сделавший блестящую карьеру, благодаря чиновничьей ловкости и рекламированию своих крайне правых взглядов. Третий брат занимал кафедру глазных болезней в Московском университете. Поэтому в наших кругах циркулировала следующая характеристика семьи Маклаковых: «Один брат — юрист, второй — окулист, а третий — стрикулист».

Речь В. А. Маклакова лилась вольно и непринужденно. Но подобно арии певца или танцу балерины, она являлась результатом тщательной подготовки. Как мне рассказывал его близкий друг М. В. Челноков, живший в Петербурге в одном с ним доме, Маклаков сначала писал свою речь, затем читал ее в диктофон, слушал, делая в рукописи поправки, наконец, приходил к Челнокову, чтобы ознакомить его с речью и выслушать его замечания. Один раз и мне пришлось принять участие в такой беседе при посещении Челнокова. Следствием всего этого бывало, что когда московский Зла-

тоуст поднимался на трибуну, у него в кармане лежал текст его речи, а иногда, кроме того, и сокращенное содержание ее, приготовленное для газетных корреспондентов. Всё это характеризует, конечно, лишь добросовестное отношение оратора к своим ответственным выступлениям, а отнюдь не недостаток ораторской находчивости. Экспромты, которыми он разражался в ответ на критику его речей, были не менее блестящи, чем сами речи.

Третий московский депутат, Н. Н. Щепкин, стоял от двух, только что упомянутых, несколько в стороне. Это произошло не только оттого, что он исповедывал более левые убеждения, но также в силу исключительной прямоты его природы. Его коллеги-москвичи были с хитрецой, один с купеческой, другой с адвокатской. Николай Николаевич был тоже недурной оратор, но он редко выступал в пленарных заседаниях, предпочитая более скромную комиссионную работу. Но свои взгляды он защищал бескомпромиссно и до конца, что и доказал своей мученической смертью при большевиках. Будучи носителем солдатского георгиевского креста, он говаривал, что его могут арестовать лишь в присутствии барабанщика. Но и эту его скромную иллюзию разбила революционная действительность.

Наряду с Маклаковым, Милюковым и Шингаревым часто и успешно выступал в пленарных заседаниях Ф. И. Родичев, старинный земский деятель. Но если в первых трех сосредоточивался как бы разум фракции, Федора Измайловича можно было назвать носителем ее совести. Его речи были пылкими импровизациями, клеймившими и пригвождавшими его политических противников. Бывало так, что он внезапно вскакивал на трибуну и подавал председателю записку с просьбой о предоставлении слова. А когда возвращался на свое место, то на вопрос соседей, о чем он будет говорить, отвечал: «Я еще не знаю, но слова сейчас говорящего оратора меня глубоко возмутили». Его речи поэтому увлекали слушателей не столько содержанием, сколько живой непосредственностью и темпе-

раментом. Он был очень добрым человеком и рыцарем общественной работы без страха и упрека.

Совершенно иное впечатление производил другой популярный думский оратор М. С. Аджемов. Армянин по происхождению, ловкий адвокат, беззастенчивый и циничный, он хлестко расправлялся на трибуне с представителями правых партий, за что имел всегда хорошую прессу. Но внутренней убедительности, горения за справедливость и добро в нем не чувствовалось. Это в полной мере проявилось, когда я в начале первой мировой войны встретился с ним в Интерлакене, где я застрял вместе с многими другими русскими туристами. Узнав, что я член Государственной Думы, многие из них в полной беспомощности и отчаянии из-за невозможности возвратиться в Россию, обращались ко мне за советом и содействием. А когда туда же приехал Аджемов, я очень обрадовался, имея в виду, что его советы, как опытного юриста, могут быть более действенными, чем мои. Однако, пробыв с нами несколько дней, он заявил, что ему надоели беспрестанные приставания и попрошайничество со стороны соотечественников, и что он уедет в какое-нибудь более спокойное место. И снова я остался одиноким консультантом и утешителем людей, выбитых из привычной жизненной колеи.

Из депутатов, которые мало фигурировали в пленарных собраниях и проявляли свою деятельность больше в подготовительных заседаниях фракции и в комиссиях, я припоминаю типичные фигуры казачьих представителей. Казаки сохраняли верность своим вождям и выбирали постоянно одних и тех же лиц. Так, представитель Кубанского войска К. Л. Бардиж, погибший впоследствии от большевиков, был членом всех четырех Государственных Дум. Он являлся иногда в заседания в своем кавказском костюме. Депутат Донского казачества В. А. Харламов, тоже член четырех Дум, выделялся как один из популярнейших и самых авторитетных лиц в казачьей среде. Этому способствовал и высокий уровень его образовательной подготов-

ки. Он был, между прочим, учеником В. О. Ключевского. Другой донской депутат М. С. Воронков, работавший и в третьей Думе, мне особенно памятен по своим темпераментным выступлениям в комиссии по народному образованию, где мне часто приходилось председательствовать. Там участвовало много священников, принадлежавших к крайне правому крылу Думы, малокультурных и голосовавших обыкновенно по данным им директивам, иногда даже в разрез со здравым смыслом и ко вреду для просветительной работы. Прямодушное сердце Митрофана Семеновича не могло однажды сдержаться и он запальчиво воскликнул: «Батюшки, хресты-то вы понадевали, а в душе-то у вас Христа нет». Несмотря на всё мое к нему сочувствие, мне пришлось сделать ему председательское замечание.

Впоследствии из среды рядовых депутатов выделился И. П. Демидов, во время войны начальник думского санитарного отряда, которым он руководил с присущим ему джентльменским тактом и административным умением. Наконец, группа «кадетской молодежи», к которой принадлежали П. П. Гронский, Н. К. Волков, М. М. Ичас (литовец) и к которой часто присоединялись Н. В. Некрасов и Л. А. Великов, своим веселым, шумливым поведением оживляя фракционную жизнь.

Нашими ближайшими соседями слева были трудовики, которые работали сначала под руководством В. И. Дзюбинского, почтенного, но мало подвижного человека. Скоро, однако, лидерство принял на себя А. Ф. Керенский. Уже во время одного из предварительных частных совещаний членов Думы он выступил с темпераментной речью по какому-то незначительному вопросу. М. В. Челноков, у которого я тогда гостил до приискания собственной квартиры, восторгался этой речью и заявил, что этот молодой адвокат (ему было тогда немного больше 30 лет) пойдет далеко. Я выразил свое сомнение в том смысле, что неуравновешенность и излишняя нервозность, а также наклонность к демагогии, вряд ли могут служить основаниями для успешной творческой работы. Последующая действи-

тельность подтвердила оба эти, казавшиеся противоречивыми, прогноза. Керенский часто выступал в пленарных собраниях с резко оппозиционными речами, которыми он многих увлекал и даже как бы гипнотизировал. Но у меня всегда щемило сердце от какого-то болезненного надлома в его ораторском искусстве.

Своеобразную фигуру в трудовой фракции представлял депутат Суханов, высокий, изможденный человек с длинной черной бородой и такими же космами волос, ниспадавших на плечи. Он напоминал какого-то старообрядческого начетчика. Однажды, когда он поднялся на трибуну и медленно собирался начать свою речь, enfant terrible Думы, Пуришкевич крикнул ему: «А ты бы, брат, лучше постригся». Это неуместное, но меткое замечание вызвало громкий хохот среди депутатов, а бедного оратора привело в полное смущение, так что речь его совершенно пропала.

Направо от фракции народной свободы размещались прогрессисты, партия с неярко выраженной программой. Некоторые из них говорили, что они левее кадетов, другие довольно близко примыкали к октябристам. Лидером у них был И. Н. Ефремов, почтенный человек, не развивавший, однако, большой деятельности. Самым интересным среди них мне представлялся Н. Н. Львов, старый земский работник, олицетворявший в себе наилучшие традиции русской общественности. Фракция часто поручала ему ответственные выступления, которые он проводил толково и дельно. Он поддерживал самые дружественные отношения с Маклаковым и Челноковым, так что мы иногда упрекали его, почему он не состоит в правых кадетах. Были среди прогрессистов и такие почтенные люди, как, напр., редактор самого солидного ежемесячного журнала «Отечественные Записки», К. К. Арсеньев, пожилой человек с обширным общественным прошлым, или А. И. Коновалов, один из крупнейших русских промышленников, который в Думе исповедывал левые убеждения и вел дружбу с эсдеками-меньшевиками. Его часто можно было видеть прогуливавшимся под ручку с лидером

этих последних М. И. Скобелевым, скромным на вид человеком, но по своему семейному положению крупным промышленником-мукомолом. Самой же яркой и темпераментной личностью во фракции прогрессистов был представитель Терского казачьего войска, М. А. Караулов, который иногда являлся на заседания в своем живописном черкесском наряде и оживлял Думу своими недостаточно осторожными, подчас парадоксальными заявлениями. Так, однажды, во время войны он провозгласил с трибуны, что Россия может заключить мир лишь «на развалинах Берлина и на костях Вильгельма». По иронии судьбы это предсказание, казавшееся тогда, особенно при часто повторявшихся наших военных неудачах, чересчур претенциозным, осуществилось, спустя приблизительно тридцать лет, почти буквально, лишь с заменой имени Вильгельма именем Гитлера. В прогрессивной фракции сидел также мой однофамилец, довольно бесцветный саратовский депутат А. И. Новиков I. Я же по думским спискам числился, как Новиков II.

О некоторых членах, следовавшей за прогрессистами, центральной фракции октябристов, я упоминал уже выше, когда говорил о президиуме Государственной Думы. В дополнение к этим лицам, которые играли руководящую роль не только в своей партии, но и в целой Думе, необходимо привести имя профессора Харьковского университета М. М. Алексеенко. Солидный, спокойный, уравновешенный человек, блестящий знаток финансов, он был незаменимым председателем бюджетной комиссии. Эта комиссия была самой многолюдной, как по своему составу, так и по тому, что в ее заседания приглашались докладчики из других комиссий по законопроектам, в которых затрагивались финансовые вопросы. В ее штемпеле нуждалось, таким образом, большинство законопроектов, и она являлась как бы преддверием пленарных собраний.

Другим авторитетным финансистом октябристской фракции был И. В. Годнев, человек маленького роста и скромной, непритязательной внешности, но способ-

ный, во время полемики с министром финансов, наносить ему весьма чувствительные уколы. Его эрудиция была настолько общепризнана, что он, кроме специалиста по военным делам А. И. Гучкова, был единственным октябристом, включенным после революции во Временное правительство в качестве государственного контролера. По своей профессии Годнев был врачом, приват-доцентом Казанского университета. Таким образом два видные специалиста по финансовым вопросам в Государственной Думе, он и Шингарев, вышли, как это ни странно, из врачебного сословия.

Видную роль, особенно в третьей Думе играл Е. П. Ковалевский, племянник вышеупомянутого Максима Максимовича. Его специальностью в Думе было народное образование и церковные дела. Но будучи переизбран в четвертую Думу, он в значительной степени утратил свое влияние. В комиссии по народному образованию, в которой он раньше играл руководящую роль, в четвертой Думе он сравнительно редко появлялся.

В октябристах сидел и выдающийся представитель духовенства, протоиерей Смирнов. Он был доктором богословия, каковое звание, кроме него, носили во всей России лишь два или три священника. Другим, делавшим академическую карьеру, не удавалось продвинуться дальше степени магистра. Он имел мало общего с остальными священниками-депутатами и вообще не особенно интересовался думскими делами. Я лично любил поговорить с ним о научных проблемах, в которых он был весьма сведущ.

Вправо от октябристов сидела также многочисленная фракция националистов, выдающимися представителями которой, кроме председательствовавшего в Думе князя Волконского, были следующие лица. П. Н. Крупенский, который играл там руководящую роль, главным образом в смысле переговоров между различными фракциями и проведения по некоторым вопросам возможно согласованной общедумской линии. В шутку его называли думским маклером. В. В. Шульгин был

человеком тонкого, витиеватого ума, речи которого по бюджету и другим важным вопросам общего характера выслушивались с большим интересом. Из депутатов, работавших в специальных сферах, можно упомянуть В. А. Бобринского, председателя комиссии по народному образованию. Просвещенный человек, воспитанник английского колледжа, Бобринский интересовался, однако, больше общей политикой, был не чужд также светской жизни, а председательствование в комиссии предоставлял большею частью мне, как своему первому заместителю. Вторым заместителем был Е. П. Ковалевский. Приходилось мне замещать также и другого националиста, П. В. Синадино, кишиневского городского голову, который был председателем комиссии по городским делам. В. Н. Львов, брат вышеупомянутого Николая Николаевича, был великим знатоком церковных дел и поэтому, несмотря на свое правое направление, был избран при образовании Временного правительства обер-прокурором Святейшего Синода. Но он был человек со странностями, впоследствии как-то легко перекинулся к большевикам и при всем своем буржуазно-консервативном прошлом сравнительно благополучно прожил до конца дней в Советском Союзе.

Наконец, в крайней правой фракции фигурировали также несколько весьма примечательных депутатов. Самым ярким из них был В. М. Пуришкевич, один из наиболее известных всему российскому населению членов Думы. Эту популярность он приобрел главным образом всевозможными репликами с места и другими выходками, иногда остроумными, а подчас грубыми и неприличными, за которые он получал выговор со стороны председателя или изгонялся вотумом Думы на определенное число заседаний. Такое наказание постигло его, напр., когда он, желая обвинить оппозиционного оратора в подкупности, подбежал во время его речи к кафедре, бросил на нее несколько серебряных рублей и крикнул: «На, заткнись!» Его речи в Думе, часто остроумные, были столь густо окрашены черно-

сотенством, что на объективно мыслящего слушателя производили отталкивающее впечатление. А между тем в частных разговорах он щеголял обширной начитанностью и быстрым умом, так что я охотно вступал с ним в собеседование. Полным черносотенным мракобесием, преподносимым в самой неприкрытой и резкой форме, отличались речи курского депутата Н. Е. Маркова. Своей наружностью он был несколько похож на Петра Великого и старался подчеркивать это сходство прической и другими искусственными приемами. Но вместо непрестанного устремления вперед, свойственного великому преобразователю России, он исповедывал самые ретроградные убеждения. Для большинства Думы его речи не имели никакого значения, но, к сожалению, к ним прислушивались некоторые, реакционно настроенные круги правительства. Это относится и к речам третьего крайне-правого оратора Г. Г. Замысловского, который, будучи по профессии товарищем прокурора, уснащал свои выступления такой казуистикой, которая могла быть терпима в суде при выступлении одной из сторон, но была совершенно неуместна в парламенте. К крайней правой фракции принадлежало большое количество священников и два епископа. Но какого-либо нравственного влияния на часто разгоравшиеся политические страсти они не оказывали. Часто, наоборот, лишь подливали масло в огонь. В качестве курьеза можно вспомнить, наконец, депутата кн. Святополк-Мирского, для которого и в крайне-правой фракции не нашлось подходящего места. Он доказывал, между прочим, что все беды России происходят оттого, что она не додержала крепостного права, уничтожив его за 200-300 лет до положенного ему нормального исторического срока.

В своей краткой характеристике депутатского персонала я старался выделить имена тех, про которых говорили, что они работают головой. Большинство же остальных членов Думы, по язвительному замечанию думских шутников, работали противоположным концом туловища, т. е. молчаливо заседали. Сравнивая

удельный вес и работоспособность различных фракций, я, учитывая фактические данные и не боясь впасть в излишнее самомнение, считаю, что, несмотря на свою немноголюдность, а часто и изолированное положение в Думе, фракция народной свободы была наиболее богата выдающимися и интеллигентными силами. Вследствие этого она, при всем своем меньшинстве, могла оказывать влияние на ход думской жизни. Особенно ярко это проявилось при организации прогрессивного блока, о котором будет речь дальше.

Не имея под руками стенографических отчетов и других печатных материалов, касающихся думских заседаний, я не в силах дать хотя бы общий очерк деятельности Думы по существу. Это задача будущего историка. Я могу лишь припомнить различные оценки этой деятельности со стороны общественных кругов. Эти оценки совпадали приблизительно с мыслями, высказанными на первом заседании бюро нашей фракции, когда одни из членов фракции полагали главнейший смысл существования Думы в борьбе, хотя бы и безнадежной, за полноту гражданских свобод и за осуществление настоящего парламентарного режима, а другие считали более целесообразным идти медленным, эволюционным, но зато надежным путем постепенного усовершенствования условий русской жизни. Мысли подобного рода культивировались и дебатировались как в Думе, так и вне ее, за исключением, однако, обоих крайних флангов, для которых существование Думы представлялось вообще нежелательным. Для крайних левых, потому что она задерживает развитие революционных событий, а для крайне правых из-за несоответствия какого бы то ни было конституционного режима с историческим укладом и характером русского народа. В этой ненависти к русскому даже несовершенному, народному представительству оправдалась поговорка о том, что крайности сходятся.

Но характерно и для партии народной свободы, что в ней были элементы, относившиеся к работе Думы с полным презрением. Я припоминаю разговор в ку-

луарах с почтенным думским корреспондентом «Русских Ведомостей» Аркадакским, который заявил мне, что Дума «гниет на корню». Русская интеллигенция в своих, может быть, благородных, но не согласованных с условиями практической жизни, порывах часто забывала мудрое правило, что лучшее может быть врагом хорошего. Поэтому она не вполне использовала земское и городское самоуправление, которое, хотя и в недостаточной, а порой даже в уродливой форме, всё же было основой и школой для русской общественной деятельности. То же самое проявилось по отношению к тому учреждению, которое должно было увенчать здание местного самоуправления, т. е. к Государственной Думе. Находясь между Сциллой правительственного недоброжелательства и Харибдой пренебрежения со стороны некоторых общественных кругов, Дума не могла в достаточной степени выполнять свою главную задачу и вести за собой население России. Попытка ее в этом отношении, предпринятая в начале февральской революции 1917 года, потерпела фиаско. Русский же народ, увлеченный мечтой о неслыханной до того времени свободе и невиданном равенстве, оказался у разбитого корыта.

Но тем не менее официальные полномочия Думы были весьма обширны. Свое воздействие на ход государственной жизни она могла проявлять различными путями. Во-первых, ни один закон не мог восприять силу без одобрения Государственной Думы и Государственного Совета, за которым следовало Высочайшее утверждение. Конечно, между этими тремя инстанциями могли возникать конфликты, но в законодательстве были указаны способы их улаживания. Тяжелым и для оппозиции неприемлемым пунктом законодательной практики была 87-я статья основных законов, согласно которой правительство в промежутках между сессиями законодательных палат, в случаях нетерпящих отлагательства, могло издавать законы самостоятельно, но с тем, чтобы в начале ближайшей сессии предложить их на одобрение законодательных палат. Законы, не пред-

ложенные в течение трех месяцев, автоматически утрачивали свою силу. Правительство, однако, редко прибегало к этой пресловутой статье, из опасения, что введенный им в каникулярное время закон может быть, к вящшему конфузу, отменен в нормальном законодательном порядке. Правда, наша вторая палата, Государственный Совет состоял из членов по назначению или же избранных особым привилегированным способом, что делало его органом, предназначенным охранять и защищать правительство. Но и он мог вступиться за свое достоинство и отказать правительственной власти в одобрении самовольно проведенного закона.

Законопроекты, поступавшие на рассмотрение Думы, зарождались двояким способом. Большинство их вносилось в Думу ведомствами, но некоторые были обязаны своим возникновением законодательной инициативе самой Думы. К сожалению, эта инициатива проявлялась в слабой степени, что зависило от недостаточности в составе депутатов лиц, обладавших творческой активностью и специальной подготовкой к законодательной деятельности. Это последнее обстоятельство представляет собою одну из неизбежных дисгармоний общественной жизни. Ко всякой профессии люди подготовляются в школах, на курсах или частным образом. Лишь за законодательную работу, столь важную для государства, общества и отдельных его членов, они берутся без предварительной подготовки, будучи оторваны выборами от своих обычных житейских занятий. Единственное средство для смягчения такой дисгармонии состоит в повышении культурного уровня населения и в прививке ему основных начал права и справедливости.

Вторая обширная область думских полномочий вытекала из права предлагать правительству запросы по поводу действий правительственных органов, которые считались Думой незакономерными, или вообще по поводу нежелательных явлений в ходе государственной жизни. Этим правом Государственная Дума, осо-

бенно ее оппозиционное крыло, пользовалась весьма широко, учитывая возможность, если и не направить ход государственного корабля по своему усмотрению, то, по крайней мере, устранить наиболее резкие злоупотребления власти на местах и показать широким кругам населения, что и над правительственными действиями бдит око общественного контроля.

Законопроекты в порядке думской инициативы и запросы правительству должны были подаваться президиуму Думы за подписью не менее 30 депутатов. Это число подписей, с одной стороны, гарантировало от подачи чересчур легкомысленных заявлений, а с другой, не представляло трудностей в смысле их собирания. Даже и малолюдные, крайне-левые фракции могли обыкновенно найти среди своих соседей лиц, готовых подписать их запрос, если он был достаточно серьезно мотивирован. Этим, конечно, не предрешалась судьба запроса в пленарном собрании Думы, которое имело право отвергнуть запрос и не представлять его правительству.

Но наиболее систематический и действенный контроль над органами исполнительной власти осуществлялся в порядке рассмотрения годичного бюджета. Роспись государственных доходов и расходов, составленная в бюрократическом порядке, представлялась контролю народных представителей. Бюджетная комиссия Думы самым внимательным образом изучала каждую статью этой росписи в присутствии представителей соответствующих ведомств, которые давали нужные пояснения. При этой работе, наряду с разрешением крупных вопросов государственного хозяйства, выплывали иногда из канцелярских глубин на свет Божий курьезные мелочи. Так напр., в смете одного из ведомств фигурировала расходная статья, возникшая давным давно на основании Высочайшего указа, о выдаче некоей семье пособия на воспитание детей. Эти дети не только закончили свое воспитание, но уже состарились и умерли, а пособие, по бюрократической инерции, продолжало вноситься в смету. Или ассигнов-

ка на покупку определенного количества свечей для дома, дарованного одним из прежних императоров некоему чиновнику, продолжала фигурировать в смете, несмотря на то, что этот дом уже давно освещался электричеством. Чистка государственной росписи от подобных остатков старорежимного хозяйничанья была важной заслугой бюджетной комиссии.

Подчищенная и исправленная комиссией, государственная роспись вносилась на обсуждение пленума. Обсуждение открывалось большой программной речью министра финансов, мотивировавшего основные черты росписи. А затем шли выступления представителей думских фракций, в которых подвергались обсуждению не столько статьи доходов и расходов, сколько общая политика правительства. Бюджет есть внешнее выражение этой политики, а потому обладатель бюджетного права является решающим элементом в смысле ее направления. Бюджетные прения были вследствие этого большими думскими днями, и ознаменовывались выступлениями самых компетентных представителей фракций. Депутатские места, которые в обычные дни, при обсуждении так назыв. «вермишели», часто пустовали, при бюджетных прениях бывали густо заполнены, а хоры ломились от публики. Правда, это относилось главным образом к первому дню и нескольким последующим, пока шли общие прения по бюджету. Когда же начиналось обсуждение смет отдельных ведомств, внимание к нему публики, а отчасти и депутатов ослабевало.

Говоря о значении Государственной Думы в общем обиходе народной жизни, необходимо упомянуть о том, что депутаты имели возможность тесного общения со своими избирателями, что значительно облегчалось их политическим иммунитетом. Хотя и в этом отношении им ставились подчас более или менее серьезные препоны. Помню мой отчет перед избирателями, переполнившими самую вместительную в Москве аудиторию Политехнического музея. Минут через десять после начала доклада собрание было закрыто полицейской

властью. Правда, возмущенная публика устроила внушительную демонстрацию, дефилируя передо мною и приветствуя меня пожатием руки. Молчаливый протест оказался, пожалуй, более эффективным, чем моя оппозиционная речь. Но и эта последняя была через день опубликована in extenso в «Русских Ведомостях».

Работа в Государственной Думе при добросовестном к ней отношении и при активном участии в двух, трех комиссиях, забирала человека целиком. Мои мечты о том, чтобы использовать пребывание в Петербурге для работы в тамошних научных учреждениях, не могли быть осуществлены. Правда, я участвовал в заседаниях физико-математического факультета и Совета Петербургского университета, но не в качестве профессора, а как специально приглашенный гость для обсуждения организации медицинского факультета, по каковому вопросу я был докладчиком в Думе.

Моя активная деятельность в Думе началась вскоре после ее открытия проведением закона о женской фабричной инспекции. Эта тема, никак не связанная с моей прежней деятельностью, была мне внушена со стороны и очень меня заинтересовала. Одна из бывших гейдельбергских студенток, учившаяся одновременно со мной, но на юридическом факультете, г-жа Горовиц, разыскала меня в Петербурге и ознакомила с существенным недосмотром нашего фабричного законодательства. Фабричные инспектора, которые являлись посредниками между работодателями и рабочими, задачей которых было устранение конфликтов между ними, а также забота о том, чтобы фабриканты выполняли свои обязательства по отношению к рабочим и наоборот, вербовались по закону лишь из мужского населения. Закон был издан, когда женский труд на фабриках почти совершенно не применялся. А когда потом женщины составили значительный процент среди фабричных рабочих, они оказались в невыгодном положении по сравнению с мужчинами. По целому ряду своих специфических женских нужд и обид им было неловко обращаться к инспекторам-мужчинам. Поэтому пред-

ставлялось желательным установить, наряду с инспекторами, некоторое количество должностей фабричных инспектрисс. Это мероприятие, не вызывая больших расходов, должно было усовершенствовать надзор за безопасностью труда, улучшить гигиенические условия фабричной жизни и содействовать поднятию нравственного уровня рабочего класса. Кадетская фракция внесла соответствующий законопроект в порядке думской инициативы, и я, как первый подписавший его, был назначен докладчиком. Моя задача не была трудна, потому что законопроект, в виду своей явной полезности, был сочувственно встречен почти всеми фракциями. Лишь крайние левые считали его излишним, как заплатку на той законодательной сети, которой якобы по рукам и ногам было окутано трудящееся население России. Да крайние правые возражали против него из-за нежелания вводить какие-нибудь новшества. Проект благополучно прошел все стадии и получил силу закона. Женский клуб, из недр которого вышла инициатива закона и который проявил к этому событию особый интерес, ознаменовал его тем, что повесил в своем помещении мой портрет рядом с висевшим уже там портретом А. И. Шингарева.

Исходя из своей основной точки зрения, что Государственная Дума своей будничной работой, т. е. постепенным усовершенствованием законодательства, улучшением условий жизни и подъемом культурного уровня населения может оказать русскому народу великую услугу, я принялся за усердную работу в думских комиссиях. Я обладал уже некоторой подготовкой к этому, почерпнутой в Московской городской думе. Это было отмечено моими коллегами, и хотя я принадлежал к оппозиционной партии, в обоих комиссиях, в которые я записался, я был избран на руководящие места. Первая была комиссия по городским делам, небольшая по личному составу, которую возглавлял представитель одной из господствовавших думских фракций, националист П. В. Синадино. На меня выпала обязанность быть его заместителем. Сна-

чала комиссия занималась исключительно «вермишелью», но затем я внес в нее предложение разработать новое городовое положение. Так как комиссия состояла из деятелей городского самоуправления, которые постоянно на практике сталкивались с недостатками старого положения, мое предложение было принято с чисто деловой точки зрения, без каких-либо партийных препирательств. Правда, в дальнейшей разработке законопроекта, по которому я был назначен докладчиком, часто возникали политические разногласия. Но на моей стороне, помимо моего привилегированного положения, как товарища председателя и докладчика, было еще одно важное обстоятельство. А именно в Москве образовалась группа моих друзей — прогрессивных гласных, которые, параллельно с нами, взяли на себя работу по редактированию нового городового положения и снабжали меня чрезвычайно ценными техническими и иными материалами. При такой существенной помощи я оказался самым компетентным членом комиссии, что помогало мне протаскивать в законопроект некоторые пункты, находившиеся в соответствии с кадетской программой, или, вернее, с воззрениями прогрессивной группы московских гласных. Этому помогало и то обстоятельство, что городские управления искони находились, если не в политической, то в ведомственной оппозиции к Министерству внутренних дел, постоянно налагавшему на них свою тяжелую административную руку. Новое городовое положение, ввиду сложности и длительности его разработки, не могло быть осуществлено до революции.

Лишь после февраля 1917 года его основные пункты, которым была придана еще более радикальная форма, вошли в практику городского самоуправления. То же самое произошло и с земским положением. В результате большинство голосов в городских думах и земских собраниях получили социалисты-революционеры, которые потом вскоре были сметены большевиками. Таким образом работа комиссии по городским делам, так гармонично и успешно налаженная и обе-

щавшая плодотворные результаты, как и многое другое, канула в лету. Может быть, последующие поколения используют ее для налаживания нормальной общественной жизни.

Но главным поприщем моей законодательной деятельности была комиссия по народному образованию, в которой, как я уже упоминал выше, мне очень часто приходилось председательствовать. В этой многолюдной комиссии политические разногласия часто достигали большого напряжения, так что роль председателя в ней была нелегкой. Практика примирения или, по крайней мере, смягчения разногласий, которую я постоянно проводил в комиссии, привела к тому, что я заслужил кличку миротворца. В устах некоторых эта кличка была отзвуком уважения, другие же пользовались ею в ироническом смысле, обвиняя меня в фабрикации компромиссов. Я считаю, однако, что в общественной работе, где решения не могут быть навязываемы собранию одним лицом, а являются результатом соборного разума, без компромиссов обойтись невозможно.

Значительно облегчал работу председателя секретариат комиссии, на редкость удачный. Он состоял из трех чиновников, бар. Роопа, В. А. Гудим-Левковича и третьего, самого младшего, фамилия которого ускользнула из моей памяти. Все они были прекрасно воспитанные, хорошо знающие свое дело, способные и усердные исполнители, на которых можно было вполне положиться. В связи с многочисленными голосами, раздававшимися в обществе и литературе о мертвящем бюрократизме в России и о низком моральном и интеллектуальном уровне нашего чиновничества, я считаю себя обязанным заявить, что многие из тех чиновников, с которыми мне приходилось иметь дело в высших учебных заведениях, и почти весь состав чиновничества в Государственной Думе и в Государственном Совете, равно как и так называемое третье сословие, т. е. служащие в земских и городских самоуправлениях, стояли на очень высоком уровне. Конечно, я не хочу сказать,

что не существовало типов чиновников, изображенных Гоголем, Грибоедовым и другими нашими писателями. Но несомненно, что в период предвоенный и предреволюционный русское чиновничество переживало, как и многое другое в нашей стране, процесс подъема и совершенствования. В вышеупомянутых учреждениях он уже завершался, в других находился в более или менее начальных стадиях. Мрачные времена уродливого бюрократизма, заклейменного в русской беллетристике и явившегося отзвуком реакционной правительственной политики, постепенно изживались. У нас часто говорили о преимуществе всего заграничного, но когда я воочию познакомился с иностранным бюрократизмом, с его часто совершенно бездушным и тупоформальным отношением к делу, я не мог поставить его в пример русскому чиновничеству предреволюционного времени.

После этого лирического отступления в защиту «малых сих», возвращаюсь к повествованию о комиссии по народному образованию. Уже в третьей Государственной Думе была проведена большая работа в этом направлении. Главным образом она касалась низшей школы и осуществления всеобщего образования. Была разработана школьная сеть, долженствовавшая охватить не только большие города, вроде Москвы, где она была уже проведена, но и всю территорию России таким образом, чтобы в течение немногих лет безграмотность в среде русского народа была ликвидирована. Для устранения одного из главных препятствий к насаждению этой сети, т. е. недостатка рациональных школьных помещений, был выделен из государственных средств большой специальный «фонд имени Петра Великого» размером, если не ошибаюсь, в 500.000.000 рублей. Для подготовки учительского персонала были также приняты соответствующие меры.

На Государственную Думу четвертого созыва пала задача, помимо продолжения работ по искоренению безграмотности, озаботиться судьбою среднего и высшего образования. Среднее образование стояло в то

время сравнительно на высоком уровне, благодаря обилию частных гимназий и реальных училищ, из которых некоторые, правда, представляли собой «лавочки» для продажи по выгодной цене образования и дипломов, но зато другие славились на всю Россию прекрасной постановкой своей воспитательной работы. К таковым относились московские гимназии: мужская Поливанова, женская классическая Фишер с образцовой постановкой преподавания древних языков, женские гимназии более реального типа Алферовой, Арсеньевой и Хвостовой. В Петербурге были образцовые гимназии Стоюниной и Лохвицкой-Скалон, в Киеве — Жекулиной и т. д. Во всяком случае, в этих гимназиях не чувствовалась та мертвенно сухая бюрократическая атмосфера, которая царила в большинстве средних учебных заведений Министерства народного просвещения.

Дальнейшим благоприятным обстоятельством для среднего образования было то, что и иные ведомства, как мы это видели на примере Московского коммерческого училища, уже издавна содержали различные специальные школы. Такая практика всесторонней инициативы в деле открытия средних учебных заведений нами приветствовалась в противовес к нашей же тенденции создать монополию в организации низших школ. Эти последние, хотя находились в ведомстве народного просвещения, но непосредственно организовывались и управлялись органами городского и земского самоуправления, где царила более либеральная и менее бюрократическая атмосфера. Их конкурентами были церковно-приходские школы, подчиненные Святейшему Синоду и находившиеся в руках священников, которые, особенно в глухой провинции, часто представляли собой элементы не только реакционные, но и невежественные, притом не находившиеся ни под каким общественным контролем. А между тем они запутывали школьную сеть и делали ее недостаточно стройной и равномерной. Попытка либеральных кругов ввести церковно-приходские школы в обиход ме-

стного самоуправления или же заменить их обычными начальными школами была поводом для ожесточенной полемики в обществе, прессе и Государственной Думе. Но главная острота этого вопроса была изжита Думой третьего созыва.

Мою характеристику положения средней школы необходимо дополнить указанием на весьма существенный пробел в этой области, а именно на недостаток средних технических училищ. Рабочий и ремесленник могли быть самоучками; для подготовки сравнительно незначительного персонала главных руководителей промышленности существовало некоторое, хотя и недостаточное количество высших технических училищ; а так называемых средних техников, в которых особенно нуждалась быстро растущая промышленность, в России почти совершенно не было. Поэтому согласованными действиями Министерства народного просвещения и Государственной Думы было приступлено к созданию новой, дотоле не существовавшей системы профессионального образования. Сеть промышленных школ должна была слагаться, в соответствии с классификацией школьного дела вообще, из низших, средних и высших учебных заведений. Низшие заведения, подобные начальным школам, должны были облегчать будущим рабочим и ремесленникам приобретение специальных знаний и навыков, а средние подготовлять кадры непосредственных руководителей рабочих в тех или иных производствах. Наиболее способные из таких средних техников могли быть использованы и для замещения некоторых инженерских должностей, что связывалось с экономией в деле подготовки профессиональных сил. Что касается высших технических школ, то предполагалось увеличить их число и равномерно распределить их на территории нашей родины, принимая во внимание ее природные богатства, благоприятствующие развитию той или иной области промышленности. Докладчиком по законопроекту о профессиональном образовании был октябрист, инженер Милютин, относившийся с большим усердием и даже

энтузиазмом к своей работе. Перспективы для подготовки промышленных кадров, так же, как перспективы для русской промышленности вообще, были самые блестящие. Но катастрофа, постигшая русскую жизнь, разбила и их.

Наряду с этой крупной реформой, в комиссии по народному образованию шла интенсивная работа по организации новых высших школ, а также по расширению и усовершенствованию старых. Одиннадцать существовавших перед тем российских университетов и небольшое число специальных училищ отнюдь не могли удовлетворить потребность страны в высшем образовании. Особенно резко это проявлялось в технических учебных заведениях, где прием производился на основании строжайших конкурсных экзаменов, в результате которых значительное число кандидатов оставалось за бортом высшей школы. Другой дефект заключался в централизации высших учебных заведений. Периферия государства была почти совершенно лишена их. В необъятной Сибири существовали лишь университет да политехникум в Томске, а на Кавказе лишь частные высшие женские курсы в Тифлисе. За время существования третьей Государственной Думы было создано отделение Петербургского университета в Перми.

Главной заботой четвертой Думы было насаждение высшего образования на окраинах. Мне трудно сейчас припомнить все законопроекты этого рода, проведенные через Государственную Думу и получившие свое осуществление в жизни. Помню, что одним из первых высших учебных заведений, прошедших через Государственную Думу четвертого созыва, был Омский сельскохозяйственный институт, учреждение, в котором сибирское земледелие испытывало поистине кричащую нужду. Далее был учрежден Тифлисский политехникум, разработка которого в законодательных палатах неустанно подталкивалась приезжавшими в Петербург местными деятелями: попечителем Кавказского учебного округа Н. Ф. Рудольфом и Тиф-

лисским город. головой А. И. Хатисовым. Оба они, один представитель бюрократии, а другой деятель местного самоуправления, в одинаковой степени были преданы делу народного просвещения. Их нетерпеливые просьбы об ускорении дела, часто связанные с упреками и обвинениями в излишней медлительности, которые они высказывали во время своих петербургских визитов, находили во мне самое горячее сочувствие. Из дальнейших специальных учебных заведений были основаны Коммерческие институты в Харькове и Петербурге по примеру существовавших уже Киевского и Московского институтов. Пермский университет был выделен в самостоятельное учреждение и в соответствии с этим расширен.

Но особенно интересна была работа по установлению новых принципов при организации университетов. В Петербурге жил очень сведущий человек — профессор Ф. Ю. Левинсон-Лессинг, который был между прочим учителем моего доброго приятеля, впоследствии академика, европейски известного минералога В. И. Вернадского. Не могу удержаться, чтобы не сопоставить этих людей по их внешности. Левинсон-Лессинг представлял из себя подвижную фигуру маленького роста, с небольшими усиками, с гладко выбритым, свежим, румяным лицом. Вернадский выглядел почтенным старцем с окладистой, почти седой бородой, так что каждый мог по первому впечатлению считать его не учеником, а наоборот учителем Левинсон-Лессинга. Этот последний, наряду со своей весьма продуктивной научной деятельностью, занимался и проблемами организационного характера. Он был рьяным энтузиастом учреждения университетов с техническими факультетами. Он считал, что прикладные науки не являются чем-либо второстепенным в научной иерархии. Как по своей сущности, так и по методологии они совершенно соответствуют чистым наукам. Так напр., инженерные науки и технология являются лишь отделами механики, физики и химии, разработанными в применениях к практике. Поэтому он считал, что

технические факультеты могли бы занять в университетах равноправное место с факультетами теоретическими. В некоторых заграничных университетах, как напр. в Лондоне и Америке, такой симбиоз уже давно осуществлен[10].

Эти мысли встретили сочувственное отношение, как в министерстве, так и среди членов комиссии по народному образованию. После прочтения соответствующей брошюры Левинсон-Лессинга и личных с ним разговоров я в полной мере присоединился к его мнению. Мне, кроме того, казалось, что такой всеобъемлющий университет еще более соответствовал бы традиционной форме «universitas litterarum et scientiarum». Близкое соседство различных наук целесообразно в том отношении, что они взаимно оплодотворяют одна другую, и из этого оплодотворения возникают новые перспективы для их дальнейшего развития. И в смысле экономии средств совмещение многих факультетов в одном учреждении представляется целесообразным. Это относится столь же к расходам на управление, сколько к приобретению дорогих пособий для научного исследования, которыми могут пользоваться несколько факультетов.

В нашей российской практике мысль о создании многофакультетных университетов представлялась особенно плодотворной по отношению к далеким окраинам, где такие учреждения могли обслуживать различнейшие просветительные нужды. Первым шагом в этом направлении был Туркестанский университет в Ташкенте, который был составлен из медицинского, общественно-научного, филологического, военного, сельскохозяйственного и технического факультетов. Вторым был Уральский университет в Екатеринбурге, не осуществленный в то время целиком, но план кото-

---

10 Более подробные соображения об университетах с техническими отделениями я высказал в своей статье «Новый тип университета», опубликованной в Научных трудах Русского народного университета в Праге, том V, 1933 г.

рого был еще более сложным. Этот университет должен был состоять из четырех институтов: горного с тремя, политического с четырьмя, медицинского с тремя факультетами и педагогического с факультетами словесно-историческим, естественно-географическим и физико-математическим.

Обсуждение законопроектов об открытии этих учреждений совершенно нового типа, открывавших новую эру в истории высшего образования в России, требовало большого напряжения от комиссии по народному образованию. Надо было преодолевать много трений со стороны консервативно настроенных депутатов. Положение облегчалось однако тем, что большинство правых элементов комиссии составляли священники, интересовавшиеся главным образом начальным образованием и церковно-приходскими школами и не возражавшие против расширения университетского дела, которое к тому же поддерживалось начальством в лице Министерства народного просвещения.

Весьма интересной для меня работой было, далее, реформирование уже существовавших высших учебных заведений, связанное обычно с их расширением. При этом мне, в качестве докладчика или заместителя председателя комиссии по народному образованию, приходилось беседовать с приезжавшими ко мне руководителями этих учреждений, а часто знакомиться на месте с постановкой в них дела. Таким образом перед моими глазами развертывалась вся картина российского высшего образования. Первым мероприятием такого рода было учреждение отделения рыбоведения при Московском сельскохозяйственном институте, более известном под названием Петровская академия. Некоторый курьез моего отношения к этому делу заключался в том, что соответствующий законопроект разрабатывался в ведомстве земледелия еще до созыва четвертой Государственной Думы, и мой приятель, профессор института Н. М. Кулагин прочил меня в преподаватели вновь проектируемого отделения. С этой целью мы с ним ездили в Петербург, где он меня пред-

ставил директору департамента Слободчикову и его сотруднику Бражникову, в руках которых находилась подготовка законопроекта. А через некоторое время мне пришлось предстать пред ними уже не в роли скромного просителя, а в качестве инстанции, от которой до известной степени зависел успех их работы. Но надо сказать, что они были столь симпатичными людьми типа земских деятелей, что в обоих случаях у меня с ними налаживались наилучшие отношения.

Вторым учреждением специального характера, потребовавшим больших забот со стороны комиссии по народному образованию, был Московский межевой институт. Это было старинное учебное заведение неопределенного типа, что-то промежуточное между средним и высшим учебным заведением. А между тем землемерное дело представляло с государственной точки зрения чрезвычайную важность. Для правильного его ведения были нужны всесторонне образованные специалисты. Поэтому и решено было превратить институт в типичное высшее училище.

Значительное расширение претерпело и третье московское учебное заведение — Инженерное училище. По инициативе его директора, проф. Н. Д. Тяпкина, человека очень ловкого и практичного в смысле уменья проводить дела в различных правительственных инстанциях, было решено превратить это учреждение в Институт инженеров путей сообщения с соответствующим расширением его программы и штатов. Эта реформа вызывалась также явной необходимостью, в виду непрестанно разраставшейся железнодорожной сети.

Из Петроградских учреждений припоминаю Институт экспериментальной медицины (точное название не помню), который был основан в качестве частного предприятия В. М. Бехтеревым. Профессор Бехтерев был не только выдающимся научным исследователем в области физиологии мозга, но (явление редкое среди больших ученых) и весьма искусным предпринимателем. Его институт, который он мне демонстрировал

самым подробным образом, был прекрасно оборудован. Но высшее учебное заведение с дорого стоящей медицинской аппаратурой не может само себя окупать. Поэтому правительство и законодательные палаты охотно пошли ему навстречу в смысле финансовой помощи на содержание и расширение института.

Совершенно обратный характер имели наши взаимоотношения с Петербургским университетом. В отличие от остальных российских университетов, в Петербурге не было медицинского факультета. Но зато наряду с обычными факультетами, юридическим, филологическим и физико-математическим, там действовал единственный на всю Россию факультет восточных языков. Отсутствие медицинского факультета в столице возмещалось, правда, наличностью нескольких других учреждений, как напр. Военно-медицинской академии, Института экспериментальной медицины и т. д. Но мне казалось, что, при наблюдавшемся в нашей провинции резком недостатке врачебного персонала, Медицинский факультет в Петербурге мог бы быть весьма полезен. Существенно было и то обстоятельство, что при наличии в университете нужных для факультета естественно-научных кафедр, а также преподавания таких специфически медицинских предметов, как анатомия и гистология, организация нового факультета была бы значительно облегчена. Министерство разделяло эту точку зрения, и так возник законопроект об учреждении медицинского факультета в составе Петроградского университета. Но из среды самого университета последовали резкие возражения против этого, казалось бы, его обогащения. Возражения сводились к двум главным пунктам. С идейной точки зрения университет представлялся защитникам его неприкосновенности учреждением, долженствующим обслуживать лишь область чистых наук, каковую они не хотели «загрязнять» присоединением практической медицины. А с материальной стороны возникали опасения, как бы с расширением университета его старые составные части не потерпели финансового ущер-

ба в пользу нового детища. Последнее возражение мне при посещении университетского Совета было легко устранить демонстрированием сметы будущего университета, которая должна была быть приложена к законопроекту и из которой ясно вытекало, что в материальном отношении ни одна часть университета от реформы не страдала, а университет в целом даже выигрывал. По первому же пункту я обращал внимание на то, что и юридический факультет, подготовляя судей и адвокатов, обслуживает практические нужды, так что «чистота» университета должна была с этой точки зрения представляться относительною. Кроме того, я указывал на новые веяния по вопросу о расширении пределов университетской компетенции путем создания университетов с техническими отделениями. Помню, что самым рьяным моим противником в заседании Совета был профессор математики, академик Стеклов, который потом, однако, при большевистском режиме, как-то особенно легко примирился с официально обязательными воззрениями относительно практических уклонов во всех науках. Как бы то ни было, большинством Совета желательность медицинского факультета была признана. Законопроект легко прошел через Государственную Думу, но не мог быть осуществлен из-за наступления революции.

Работа комиссии по народному образованию в области строительства высших школ протекала, как я уже отметил выше, в обстановке довольно согласованной и спокойной. Также и в пленарных заседаниях Думы соответствующие законопроекты проходили сравнительно гладко. В необходимости создавать новые высшие школы или расширять старые мало кто сомневался. Но был один острый политический вопрос, который возникал в Думе по отношению к каждой школе, вопрос о приеме евреев. Министерство одно время стало на крайне реакционную позицию и в каждый законопроект о высшем учебном заведении вносило пункт о полном запрещении евреям вступать в число студентов. Этот пункт восторженно поддерживался

правыми фракциями, но встречал не менее ожесточенное сопротивление со стороны левых элементов Думы, требовавших неограниченного приема евреев. Мне приходилось предлагать компромисс в виде четырехпроцентной нормы приема, которая находилась в согласии со статистикой еврейского населения в России. За это предложение, соответствовавшее и порядку, существовавшему раньше, на меня сыпались обвинения с обоих крайних флангов Думы, но, в конце концов, на нем сговаривалось большинство голосов, нужное для проведения законопроекта.

В комиссии по народному образованию неоднократно поднимался вопрос о реформе университетского устава. Но из-за переполненности состава комиссии представителями провинциального духовенства и другими элементами, не проявлявшими интереса к внутренним университетским делам, этот вопрос, к которому и министерство относилось очень сдержанно, не мог быть сдвинут с места. Наконец, уже к концу полномочий четвертой Думы, когда в ней произошел значительный сдвиг влево, наша фракция предложила создать особую комиссию для осуществления этого сложного и важного дела. Комиссия была сорганизована преимущественно из академических элементов Думы. Председателем, для того, чтобы подчеркнуть свой оппозиционный характер, она избрала лидера кадетской фракции П. Н. Милюкова. На мою долю, как секретаря и докладчика, выпала фактически вся работа в комиссии. Я довольно быстро составил проект нового устава, материалы для которого у меня были заготовлены заранее, но обсуждение его в комиссии задерживалось, отчасти в виду того, что председатель был в это время обременен чисто политическими заботами, связанными с созданием так наз. прогрессивного блока, а отчасти потому, что революционные веяния, проникавшие и в думскую среду, ослабляли ее творческую активность. Таким образом законопроект до конца существования Думы не вышел из стадии предварительного рассмотрения.

В связи с моей усердной работой в комиссии по народному образованию, мне приходилось нередко выступать в качестве докладчика и в пленарных заседаниях Думы. Такие выступления по законопроектам, предварительно одобренным одной или чаще двумя комиссиями, по которым, следовательно, уже более или менее состоялось соглашение думских фракций, не требовали от меня особого напряжения. Совершенно иначе обстояло дело с выступлениями по смете Министерства народного просвещения, которые мне поручала наша фракция. Основные бюджетные речи уже своим размером выделялись из общего характера думских дебатов. Для них нехватало обыкновенно одного часа, предусмотренного наказом, как максимум времени для депутатского выступления. Приходилось обращаться после напоминания председателя о том, что время истекает, с просьбой о продлении времени, на что Дума, по доброй традиции, всегда изъявляла согласие. Но гораздо труднее было представителю оппозиции в смысле взаимоотношений со слушателями по содержанию его речи. Критические выпады против правительственной политики, которые составляли главную часть такой речи, могли вызывать сочувствие лишь меньшинства Думы. Правое большинство относилось к ним враждебно, что и проявляло резкими репликами с мест. От оратора требовалась большая находчивость для отражения этих неожиданных реплик. Спускаясь после часовой с лишком речи с трибуны к своему месту, я чувствовал крайнее утомление и не мог реагировать даже на аплодисменты, которыми меня награждали мои ближайшие коллеги. Лишь появлявшаяся потом пометка в стенографическом отчете о продолжительных рукоплесканиях слева и из части центра давала мне нравственное удовлетворение в том смысле, что мои слова нашли себе отзвук и за пределами нашей фракции. Но высшей ремарки стенографа, «бурные, долго не смолкающие рукоплескания», которые приходились на долю особенно эффектных политических выступлений, мне при

сравнительно конкретном, деловом содержании речи заслужить не удалось. После заседания начиналось внутрифракционное обсуждение речи, причем от представителей левого крыла фракции мне нередко приходилось слышать упреки в излишней сдержанности и академичности выступления. Такие упреки я воспринимал скорее как комплименты. Однажды во время бюджетной речи я процитировал очень нескладно составленный, а с нашей точки зрения возмутительный по содержанию документ, и, видя в министерской ложе обоих товарищей министра народного просвещения, ограничился замечанием: «подписано одним из товарищей министра». На несколько брошенных мне реплик: «кто из двух?» я ответил: «позвольте не называть имени». По окончании речи меня засыпали упреками, почему я не припечатал автора документа к позорному столбу.

Вообще надо сознаться, что в наших оппозиционных речах по бюджету проскальзывали и ошибки фактического характера, которые так усердно отмечает в своих воспоминаниях В. Н. Коковцов. Эти ошибки были естественны при невозможности для нас проникнуть в глубины министерских канцелярий. Но основной задачей этих речей было не подчеркивание тех или иных промахов или неправильностей в работе министерства, а характеристика общей политики правительства, которая нам по долгу совести представлялась несправедливой и не соответствующей благу государства и народа.

Отношения мои с министерством в первое время деятельности Думы, когда во главе его стоял Кассо, были весьма отрицательными. Но по мере того, как я присматривался к внутренней работе чинов министерства, я находил там не мало симпатичных явлений. Помимо несомненного знания дела, а у многих искренней преданности ему, я подметил у некоторых и гораздо более либеральный уклон мыслей, чем это требовалось политикой руководящих кругов правительства. По делам высшей школы, которые являлись

преимущественным объектом моего внимания, я чаще всего сталкивался с заведывавшим соответствующим отделом министерства, Н. О. Палечеком. Чех по происхождению, чрезвычайно пунктуальный, но и добродушный, он был столь же искусным изготовителем законопроектов, сколь приятным собеседником при обсуждении их. Русская высшая школа ему многим обязана.

Существенное улучшение взаимоотношений с министерством настало, когда главой его сделался граф П. Н. Игнатьев, о котором я упоминал уже выше. Будучи человеком правых политических воззрений (иначе он не мог бы войти в состав тогдашнего правительства), он принадлежал к категории общественных деятелей, для которых просвещение народа имеет абсолютную ценность, независимо от тех или иных политических направлений. Его благожелательное отношение к думской комиссии по народному образованию очень облегчало нашу работу. Для меня же лично создалось еще одно парадоксальное положение. Принадлежа к оппозиционной фракции и резко критикуя общее направление правительственной политики, а также многие из мероприятий Министерства народного просвещения, я работал с ним рука об руку в деле организации новых школ и вообще развития и усовершенствования сети образовательных учреждений. Правда, я мог базироваться при этом на одной из заграничных речей нашего лидера П. Н. Милюкова, сравнившего оппозиционную деятельность партии народной свободы с английской «оппозицией Его Величества». Но многие из представителей левого крыла нашей партии это сравнение резко порицали, а другие объясняли его как дипломатическую формулу и нежелание выносить перед иностранцами сор из избы.

Однажды гр. Игнатьев позвонил мне по телефону и сообщил, что он из-за отъезда не может председательствовать в Совете министерства, где будут обсуждаться некоторые детали уже рассмотренного думской

комиссией по народн. образованию проекта создания окраинного (кажется Туркестанского) университета. Поэтому он просит меня заместить его. Мой ответ, что я, как член парламентской оппозиции, не пригоден для такой роли, он ответил замечанием, что политических вопросов в заседании подниматься не будет, а со стороны технического рассмотрения дела я являюсь наиболее компетентным лицом. Таким образом, для пользы дела, как я ее понимал, мне пришлось председательствовать в чисто бюрократическом учреждении, против которого я в своих парламентских речах выступал подчас с большой резкостью. В таком-же порядке я не отказывался принимать участие в междуведомственных совещаниях по культурным вопросам, чтобы уже наперед устранить недоразумения, которые могли бы потом возникнуть при рассмотрении этих вопросов в нашей думской комиссии.

Лишь по одному делу я долгое время не мог договориться с министром. Это было дело ликвидации «глупого случая» в Московском университете и о возвращении профессорских должностей трем бывшим членам университетского президиума, Мануилову, Мензбиру и Минакову. При моих неоднократных напоминаниях об этом гр. Игнатьев не возражал мне по существу, но указывал на то, что самостоятельно он этого дела разрешить не может, а государь, которому он должен доложить о нем, отнесется к нему несочувственно. Лишь потом, когда во всех слоях российского населения начали усиливаться революционные течения, и правительство начало, правда робко и неумело, искать почву для сближения с обществом, московский университетский казус был разрешен в благоприятном смысле, и трое пострадавших М могли вернуться к исполнению своих прежних академических обязанностей.

В это время и в Государственной Думе происходил процесс полевения. Уже с 1915 года, когда на нашем военном фронте обозначились серьезные неудачи, и стало ясно, что эти неудачи находятся в зависимо-

сти от недостатков военного снаряжения, начался ропот против военного министра Сухомлинова, не принявшего достаточных мер к снабжению армии оружием. Но государь твердо отстаивал своего любимца, и Сухомлинов продолжал оставаться на своем посту, к великому ущербу для русской армии. Это открыло глаза большинству Думы, оппозиционное настроение росло и начались переговоры между различными, до того враждовавшими между собой фракциями о совместных выступлениях в защиту родины. В результате длительных переговоров к 1916 г. был оформлен прогрессивный блок, в который вошли не только оппозиционные фракции, но также октябристы и даже националисты, среди которых особую активность в этом деле проявлял В. В. Шульгин. Руководящая роль в блоке принадлежала его главному инициатору П. Н. Милюкову. Дальнейшим поводом для расширения оппозиционного настроения явился Распутин, влияние которого при Императорском дворе всё более возрастало, но против которого возникли подозрения, что он является вольным или невольным орудием в руках наших военных противников. Возникли даже сплетни, как потом выяснилось, ни на чем не основанные, что немецкое происхождение государыни, главной покровительницы Распутина, играло при этом какую-то роль. Слухи обо всем этом проникали в широкие общественные круги, где росло революционное настроение, находившее для себя мощную поддержку, с одной стороны в утомлении затянувшейся войной, а с другой, в начавших проявляться недостатках продовольствия и других предметов потребления. Председатель Государственной Думы М. В. Родзянко неоднократно испрашивал аудиенции у государя, во время которых от имени большинства Думы предупреждал его о страшных опасностях, угрожавших нашей родине, и убеждал в необходимости изъять из правительства и из ближайшего окружения царя лиц, против которых нависли тяжкие обвинения. Лишь впоследствии, когда дело Сухомлинова приняло совершенно

скандальный оборот, он был удален с поста военного министра и заменен ген. Поливановым.

Таким образом между Думой, как выразительницей настроения народов России, и правительственными кругами всё более и более углублялся ров взаимного отчуждения и вражды. Дума, ставя своей главной задачей победоносное окончание войны и, следовательно, сохранение верности союзникам, заботилась о том, чтобы внутренние российские распри не оказали губительного воздействия на нашу оборону. Поэтому при публичном обсуждении военных вопросов представители всех фракций состязались между собой в выражении патриотических чувств. Лишь несколько крайне-левых депутатов-интернационалистов покидали заседание, чтобы не нарушать единогласного вотума Думы, выражавшего надежду на окончательную победу и призывавшего все силы страны к содействию успешному окончанию войны. Но настало время, когда и эта внешняя согласованность оказалась расстроенной. С думской трибуны начали посылаться правительству всё более и более определенные упреки, что оно работает не на победу, а против нее. Выдающимся событием такого рода была речь Милюкова, в которой он выставил определенные и категорические обвинения против правительства, причем каждую главу речи, характеризующую ту или иную категорию правительственных действий, он заключал трагически звучащим вопросом: «что это — глупость или измена?».

То обстоятельство, что такие речи произносились в присутствии представителей союзных держав, сидевших в дипломатической ложе, а также великого князя Николая Михайловича, часто посещавшего думские заседания и сочувственно относившегося к ее оппозиционному настроению, характеризовало глубину распада русской общественной жизни. Этот революционный распад уже не скрывался перед иностранцами. Он не только разливался широкой струей по всем слоям российского населения, но проникал и в самые недра царской семьи.

Трения, происходившие между народными представителями, с одной стороны, и правительством и Верховной властью, с другой, заставили призадуматься и крайние правые круги. По их инициативе было сорганизовано посещение государем Думы. В Екатерининском зале был отслужен торжественный молебен, после которого царь обратился к депутатам с речью, в которой, однако, к общему разочарованию, не сказал ничего конкретного, что могло бы быть понято, как уступка общественному мнению. Эта чисто формальная попытка примирения Верховной власти со страной бессильно повисла в воздухе. Государственная Дума, влекомая силою обстоятельств и непрестанно сгущавшимся недовольством народных масс, продолжала катиться навстречу революции.

VII. ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА

> **"Il n'avait pas prévu les morts par millions,**
> **Tout ce sang, tout ce feu, ces rouges visions,**
> **Où l'enfer se découvre presque".**
>
> *Jacques Chanu.*

В начале лета 1914 года я решил предпринять с семьей путешествие заграницу, чтобы показать моим, к тому времени подросшим детям природные красоты Швейцарии. Но перед этим мы заехали по старой памяти в Гейдельберг, вблизи которого, в романтически расположенной среди гор гостинице прожили около месяца. Я воспользовался этим случаем, чтобы несколько освежить мои научные интересы и познания, пострадавшие в последние годы от преобладания в моей жизни общественной деятельности. Но атмосфера для научной работы с каждым днем делалась менее и менее благоприятной. Чувствовалось приближение военной грозы. Явных военных приготовлений заметно не было, но по всей Германии происходили съезды деятелей Красного Креста, добровольческих пожарных команд и т. п., на которых провозглашались заостренные патриотические лозунги. Наконец настали дни, когда немцы, обыкновенно дорожившие иностранцами, как хорошей статьей дохода, начали проявлять к ним подозрительность и неблагожелательность. Напряжение достигло высокой степени, когда пришло сообщение об убийстве 28 июня австрийского кронпринца Фердинанда сербом в Сараеве и о предъявлении Австро-Венгрией ультиматума Сербии. Не думая, однако, что война уже на носу, и не получая никаких беспокойных сведений из России, мы решили продолжать нашу программу

путешествия и переехать в Швейцарию. Накануне отъезда меня посетил мой старый учитель Бючли, который был очень встревожен всем происходившим и при прощании выразил опасение, что в ближайшие дни Европу посетят жестокие испытания. Когда на следующий день мы ехали автомобилем на гейдельбергский вокзал, меня всё время гвоздила мысль, не следует ли мне взять железнодорожные билеты на Берлин, чтобы немедленно возвратиться в Россию. Но подкупающая близость Швейцарии (всего несколько часов по железной дороге), желание доставить удовольствие семье и надежда, что дипломаты сумеют ликвидировать назревающий конфликт, взяли верх. Мы поехали на Рейнский водопад и, вдоволь налюбовавшись этим величественным чудом природы, через Цюрих и Люцерн направились в Берн. В Швейцарии настроение было спокойное и ничто не мешало нам любоваться Цюрихским и Фирвальдштетским озерами, Люцернским львом и дивными красотами альпийских пейзажей. В Берн нас привлекали не только традиционные медведи, сидящие в глубокой яме посреди города, но главным образом происходившая там в это время международная выставка. После первого посещения выставки мы, выйдя на улицу, были поражены царившим там необычайным оживлением. Публика расхватывала экстренные выпуски газет с известием о том, что Австрия объявила войну Сербии. Положение становилось серьезным, но я всё-таки не допускал мысли, что от такой малой искры может загореться европейский пожар. На всякий случай мы сократили наше пребывание в столице Швейцарии и переехали в намеченный нами конечный пункт путешествия, в Интерлакен, где рассчитывали отдохнуть и набраться сил в чистейшем горном воздухе, в соседстве от покрытой вечными снегами Юнгфрау. Наши расчеты, однако, совершенно не оправдались. Уже в первую ночь у старшей дочери сделался страшный припадок бронхиальной астмы. Эта болезнь отличается каким-то особенно отчетливо выраженным индивидуальным характером. Иногда она проявляется в местах, которые

объективно представляются очень благоприятными для больного. Так было и с Интерлакеном. Во всё время нашего пребывания там дочь страдала, хотя и более легкими припадками.

Вторым ударом, обрушившимся на нас в этом несчастном для нашей семьи городке, было известие о вступлении России в войну с Австро-Венгрией и об оказании этой последней военной помощи со стороны Германии. Началась европейская война, а мы оказались отрезанными от нашей родины. Вначале положение не рисовалось мне особенно трагическим. На основании разговоров с различными специалистами я полагал, что современная война не может быть продолжительной. Когда выяснятся первые шахматные ходы на театре военных действий, сразу станет ясным, которая из воюющих стран имеет наиболее шансов на победу, и на этом основании начнутся мирные переговоры. Поэтому первой моей мыслью было переждать несколько недель военной непогоды в тихой Швейцарии и не принимать попыток, к тому же почти безнадежных, к возвращению домой. Консультация с русским посланником, к которому я съездил в Берн, только укрепила меня в моем намерении. Отсутствие мое в Государственной думе меня особенно не смущало, так как к военным делам, поскольку таковые входили в ее компетенцию, я не имел никакого касательства, а вопросы народного образования должны были с возникновением войны отойти на второй план.

Но вскоре выяснилось, что война принимает мировой, а следовательно затяжной характер, и что надо принимать героические меры, чтобы тем или иным путем (через Швецию или Средиземное море) попасть на родину. В это время в Интерлакене скопилось большое количество наших соотечественников, застрявших там, а потому нервничавших, жаждавших совета и моральной поддержки. Я уже упоминал выше, как безучастно отнесся к ним мой коллега по партии и Государственной Думе Аджемов. Совершенно иное отношение проявил другой коллега, но по Московскому

коммерческому институту, проф. Н. Н. Худяков, который со своей женой тоже оказался в Интерлакене. Вместе с ним мы отправились к местному русскому консулу, канцелярия которого была сверх всякой меры перегружена делами, главным образом по выдаче различных удостоверений, и который лично едва мог справляться с наплывом посетителей, приходивших к нему за справками. Мы предложили ему бескорыстную помощь по выдаче справок и по изготовлению нужных бумаг. Он с радостью согласился, и два столичных ординарных профессора сделались клерками в конторе провинциального консула. Таким образом дело с обслуживанием наших русских земляков было урегулировано, а мы двое, помимо нравственного удовлетворения, получили выгоду в том смысле, что, занятые обязательным трудом, не имели времени для нервирования себя мыслями о нашем тяжелом положении.

Лично для меня эта тяжесть усугублялась еще недостатком денежных средств. При отъезде из Москвы я не взял с собой аккредитива, а распорядился, чтобы нужные мне деньги пересылались банковскими переводами. С началом войны эти переводы прекратились, а между тем жизнь моей пятичленной семьи в первоклассном курорте требовала значительных расходов. На помощь мне пришла встреча с третьим коллегой, на этот раз по Московской городской думе, В. М. Лапиным, о котором я уже упоминал выше. У него был еще неиспользованный аккредитив на большую сумму, но в выдаче денег по этому аккредитиву ему было отказано. Когда же я, в качестве русского парламентария, лично обращался к директорам банков, то в виде исключения деньги выдавались. В благодарность за мое посредничество Лапин половину получаемых денег ссужал мне до приезда в Москву.

Устранив таким образом финансовые затруднения, я решил переехать в Женеву, где жизнь была значительно дешевле и откуда можно было легче следить за обещанным возобновлением пассажирского сообщения между Марселем и Одессой. В Женеве мы прожили

около двух недель в обстановке по внешности весьма приятной и спокойной. Но среди французского населения Женевы чувствовалось волнение в связи со вступлением Франции в войну. Нередко на улице, слыша нашу русскую речь, французы подходили к нам и спрашивали, иногда с оттенком раздражения в голосе, когда же, наконец, русская армия приступит к решительным действиям. Приходилось объяснять им, что мы, отрезанные от родины, знаем о происходящем там не более, чем они сами, но в то же время и утешать их рассказами о громадных территориях России и о трудности произвести там мобилизацию в короткое время. К концу нашего пребывания, когда пришли первые известия об успехах русских войск, недоуменные вопросы отпали, и нас всюду встречали с ласковыми, приветливыми улыбками.

Наконец, пришло известие из Марселя, что нам резервированы места до Одессы на пароходе общества «Messageries maritimes», который отойдет через несколько дней. Никаких затруднений с переходом через границу тогда заведено еще не было, и мы немедленно направились в Марсель. Там на вокзале произошел с нами своеобразный случай. Мы пообедали, причем нам к обеду, по тамошнему обычаю, подали несколько литров красного вина. А после обеда моя жена, вместе с присоединившейся к нам компаньонкой, молодой учительницей, отправились искать комнаты. Их поиски продолжались довольно долго, так как отели были переполнены. Мы же, отчасти от скуки, отчасти для утоления жажды после долгого пути и сытного обеда, усердно прикладывались к стоявшим перед нами бутылкам. В результате, когда пришлось идти в отель, я и дети оказались в полусонном состоянии, и наша переправа совершилась не без затруднений. Так закончилась наша первая попытка пообедать с точным исполнением южно-французских обычаев.

Потом начались волнения и хлопоты по поводу предстоящего морского путешествия, которое было небезопасно из-за постоянно крейсировавших в Сре-

диземном море австрийских военных судов. На всякий случай мы надели детям на шеи маленькие мешечки, в которых было зашито по несколько золотых монет. Наши опасения не были безосновательны. Как выяснилось впоследствии, пароход, привезший нас в Одессу, при одном из своих последующих рейсов, попал на неприятельскую мину и погиб. Но если бы можно было отрешиться от волнения, главным образом за судьбу детей, то путешествие было бы поистине очаровательно. Удобные каюты, превосходное продовольствие, чудесная погода (нас только один раз немного покачало), постоянно меняющаяся красота бесконечных морских просторов. Всё это незабываемо, но так же, как и непрестанно томившая сердце тоска от сознания опасности и ожидания катастрофы. В гавани острова Мальты нас продержали вместо нескольких часов целые сутки, потому что поджидались французские броненосцы, под охраной которых нас пустили в дальнейший путь. Потом наш пароход двинулся на юг и прошел в непосредственной близости от Тунисского побережья, причем мы отчетливо видели африканские селения с типичными, квадратного вида домами почти без окон. Наконец, в одно утро, прекрасное во всех отношениях, мы пристали к берегам Греции, где военная опасность сводилась к минимуму. Уже с легким сердцем мы посетили Афины, полюбовались на развалины Акрополя, взглянули издалека на Олимп, это седалище богов, которое после Швейцарских гор показалось нам мизерным, полакомились изумительным греческим виноградом и тронулись на пароходе дальше, по направлению к Константинополю. Я уже предвкушал радость посетить Святую Софию и для того, чтобы не выделяться на улицах внешностью иностранцев, купил у появившегося на пароходе торговца для себя и для сына турецкие фески. Но поднявшийся на пароход наш консул категорически запретил русским сходить на берег. В гавани стояли в это время, укрывшиеся туда, поврежденные немецкие крейсера «Гебен» и «Бреслау», среди населения города велась успешная германофильская пропаганда,

и появление русских людей на улицах Царьграда было небезопасно. Единственно, чем пришлось утешиться, это была покупка у зашедшего на пароход торговца красивого восточного ковра с таинственными для нас надписями на турецком языке. По приезде в Москву, однако, я усмотрел на изнанке ковра штемпель изготовившей его венской фирмы. Долго после этого я тешил себя мыслию, что на память о Константинополе у меня всё-таки остались настоящие турецкие фески, пока не узнал, что эти головные уборы служат предметом ввоза в Турцию и вырабатываются на специальной фабрике в одном из чешских городов.

Пройдя через Дарданеллы и покачавшись на почти постоянно бурных водах Черного моря, мы пришли благополучно в Одессу. На первый вопрос, заданный мною вошедшему к нам в каюту за багажом носильщику, о ходе военных действий, я получил радостное сообщение о занятии нашими войсками Львова и Галича. По поводу внутреннего положения мой первый русский информатор рассказал мне, что население охотно приняло войну, что всюду царит полный порядок и что, к удовольствию городских жителей, цены на продукты не только не возрастают, но даже падают — десяток яиц продается за гривенник.

Не задерживаясь, ни в Одессе, ни в Киеве, лишь бегло осмотрев эти города, мы поспешили домой, в Москву. Первое впечатление о популярности войны среди населения подтверждалось в течение всей дороги. Но особенно ярко это выразилось, когда в Петербурге, который был только что переименован в Петроград, я пришел в Государственную Думу. В среде депутатов царило повышенное настроение. Всюду высказывалась надежда на скорое и успешное окончание войны. От Государственной Думы был отправлен на театр военных действий образцовый санитарный отряд под начальством И. П. Демидова. Многие из знакомых отправились на войну добровольцами. В числе их был секретарь нашей фракции А. М. Колюбакин, погибший геройской смертью в одном из первых сражений, ког-

да он бестрепетно вел свою роту в атаку. А когда в заседаниях Думы, посвященных военным делам, представители фракций состязались друг перед другом в выражении патриотических чувств, получалось совершенно определенное впечатление, что весь русский народ единодушно поднялся на защиту родственной по крови и вере Сербии против могущественного врага, так неожиданно и несправедливо на нее напавшего.

При полном отсутствии в моем характере каких-либо воинственных свойств и наклонностей, я не мог, однако, оставаться в стороне от совершавшихся вокруг меня стихийных событий. Мне не удалось из-за позднего возвращения в Россию принять участие в организации санитарных отрядов, и я решил предложить свои услуги для другого рода помощи сражавшимся на фронте, а именно для передачи посылок и подарков от благодарного населения, живущего в тылу. В первую очередь был организован транспорт от Государственной Думы в составе двух вагонов подарков, которые я доставил во Львов и хотел продвинуть дальше, к самому фронту, чтобы позаботиться о планомерном распределении их между офицерами и солдатами. Но высшее военное начальство воспротивилось этому и мне пришлось передать свои вагоны для дальнейшего следования воинским организациям. Таким образом я не мог выполнить данного мне наказа и непосредственно приветствовать сражавшиеся войска. Но за эту первую поездку я изучил обстановку на театре военных действий и вооружился опытностью, которая помогла мне впоследствии специализироваться в деле раздачи подарков.

Последующие мои поездки устраивались при содействии Московской городской управы от населения первопрестольной столицы. С присущим Москве широким размахом организовались целые поезда подарков, составленные примерно из двадцати товарных вагонов и одного пассажирского для сопровождавшего персонала. В этот персонал входили гласные думы и другие общественные деятели. Уже самый размер транс-

порта вызывал к нему уважение со стороны военачальников. Мы направлялись обыкновенно в местоположение фронтового штаба. Там я, в качетсве руководителя поезда, договаривался с командующим о способе распределения подарков. Потом поезд делился на части, которые под руководством моих помощников направлялись на предназначенные для них участки фронта. На мою долю также приходилась часть поезда, но главной моей обязанностью было объехать все участки для представительства от имени Москвы и координирования работы.

Отношение к нам высоких военных кругов было корректным и подчеркнуто доброжелательным. Но всё-таки иногда чувствовалось, что мы являемся для них каким-то инородным телом, мешающим им исполнять их непосредственные функции, особенно в то время, когда подготовлялись или происходили активные военные операции. Зато рядовое офицерство и солдаты проявляли к нам, посланцам от далекой матушки Москвы, такую добросердечную и трогательную благодарность, что каждый из нас проникался убеждением важности возложенной на него задачи,

В начале войны было опубликовано запрещение продажи спиртных напитков на фронте и в тылу. За нарушение запрещения полагался высокий штраф до 3.000 рублей. Конечно, всюду старались как-нибудь обойти эту строгость, и в ресторанах подавали знакомым посетителям вино в кувшинах под видом кваса, а водку и коньяк в кофейных чашечках. Однажды московский градоначальник ген. Адрианов вздумал самолично обревизовать одно из таких учреждений и, проходя по залу в сопровождении владельца ресторана, взял с одного из столов кофейную чашечку и передал ее ему со словами: «Понюхайте, чем это пахнет». Тот не задумавшись и без всякого смущения ответил: «Тремя тысячами, Ваше Превосходительство!». В результате такой находчивости ресторатор отделался лишь угрозой, что если еще раз случится что-либо подобное; он будет оштрафован.

К этому добродушному градоначальнику я отправился, когда организовал транспорт на западный фронт с рождественскими и новогодними подарками. В транспорте принимал участие, уже упомянутый мной выше, гласный Н. Н. Шустов, который из своего бездействовавшего склада коньяка готов был предоставить значительное количество ящиков для фронта. После продолжительной беседы с генералом, во время которой я обратился к его военной душе и изобразил ему радость вечно зябнувших на фронте солдат и офицеров, если им в рождественскую или новогоднюю ночь преподнесут от Москвы по несколько рюмок коньяку, он предложил мне подать прошение о разрешении взять с собой коньяк для раздачи по лазаретам. Беседа кончилась моим замечанием, на которое не последовало возражения, что во время жестоких морозов весь фронт представляет сплошной лазарет.

Когда я после этого в рождественский сочельник прибыл с приветом от Москвы к одному из московских гренадерских полков, расположенных неподалеку от передовых линий, я был там встречен с великою радостью. Офицеры сообщили мне, что будучи предупреждены о моем приезде, они налаживают ужин с елкой, к которому пригласили и офицерство соседних воинских частей. Но с великим смущением они добавили, что на подобающую торжественность и оживление они не расчитывают, так как на несколько десятков приглашенных им удалось раздобыть только две бутылки вина. Не выдавая им моей тайны, я отделался шуткой, что в рождественскую ночь дед-мороз часто готовит людям сюрпризы. После этого я секретно побеседовал с заведывавшим офицерским собранием, а когда вечером господа офицеры собрались на ужин, громадный стол был обильно заставлен бутылками Шустовского коньяку. Изъявлениям восторга не было конца, быстро создалась уютная московская атмосфера и дружеская беседа затянулась далеко за полночь. Пришла и веселая депутация от солдат с благодарностью за переданное им угощение. Думается, что воспомина-

ние об этой рождественской ночи скрасило нашим воинам не одну тяжелую минуту их жертвенного боевого подвига. А на следующее утро состоялась раздача подарков, которая еще больше укрепила наши дружественные чувства.

Новогоднюю ночь я провел в обстановке еще более трогательной, в окопах, среди офицеров и солдат, находившихся в полной боевой готовности. Принимая от меня московские гостинцы, папиросы и маленькие подарки, которые можно было переправить на передовые линии, они радовались, как дети. Не могу забыть пожилого капитана, старого москвича, который прослезился, обнимая меня.

Некоторые из моих спутников и даже спутниц облекались при поездке на фронт в военные формы. Я лично никогда не изменял моей штатской внешности, исходя из мысли, что таким образом я успешнее символизирую единение фронта с тылом. Да и в глазах солдат мой цивильный облик более соответствовал моему положению, как представителя московского населения. Лишь днем на передовых позициях это было непрактично, и солдаты часто тащили меня в глубину окопов из опасения, что моя темная фигура послужит мишенью для неприятельской стрельбы. Но заражаясь общей боевой обстановкой, мы часто бравировали, раздавая подарки или просто прогуливаясь под свист пуль. Красивую картину можно было наблюдать в ночной тьме, когда для освещения наших линий со стороны противника пускались многочисленные блестящие ракеты. Однажды на северном фронте мне объявили, что я должен получить георгиевскую медаль, но равнодушный к знакам отличия, я поспешил на другие участки фронта, не дождавшись выполнения нужных формальностей. Некоторые же из моих сотрудников, напр., гласные думы Котов и Пашков, щеголяли потом в Москве с георгиевскими ленточками в петлицах.

Особую торжественность одной из наших поездок придало то обстоятельство, что московский епископ Модест передал нам большую икону, которую просил

преподнести одному из полков, находившемуся на передовых позициях. Он самолично привез икону на вокзал, где в присутствии большого скопления народа был отслужен молебен. На фронте я должен был ночью, чтобы не быть замеченным неприятелем, переправиться на передовые линии, где утром в небольшом лесу, вблизи от окопов, полковым священником было устроено умилительное богослужение. Начатое в полном спокойствии, оно окончилось под стрельбу неприятеля, услыхавшего пение солдатского церковного хора. Глубоко трогательное впечатление произвело на солдат мое приветствие им, обращенное от имени Москвы, а также раздача образков от архиерея и московских подарков. Глаза многих из них увлажнялись слезами. На обратном пути в окопы, где мы должны были дожидаться темноты, чтобы вернуться в штаб, произошел трагикомический инцидент. Часть пути мы ехали верхами. Одну полянку, которая была открыта противнику и потому подвергалась усиленному обстрелу, мы должны были пересечь быстрым галопом. И вот у моего спутника, студента Московского университета, который исполнял при мне как бы адъютантские обязанности и который был так же как и я, Sonntagsreiter'ом, упала с головы среди злосчастной полянки его студенческая фуражка. Он уже примирился со своей потерей, но один из сопровождавших нас казаков поскакал назад, произвел джигитовку, скинувшись под брюхо коня, и с поднятой с земли фуражкой, осыпаемый неприятельскими пулями, благополучно вернулся к нам. Мне было приятно потом узнать, что наше несколько рискованное предприятие обошлось вообще без потерь и повреждений.

Особенно величественное впечатление получилось у меня от одной из последних моих поездок — на Кавказский фронт. Дело происходило летом, на фронте было затишье, и все военные власти были рады оказать нам традиционное на Кавказе гостеприимство. Направивши двух своих сотрудников по другим направлениям, я со своей частью транспорта двинулся на Карс,

в ставку главнокомандующего, генерала Н. Н. Юденича. Генерал угостил меня скромным обедом в кругу своего штаба, скрасив этот обед тремя небольшими рыбками, которые были пойманы солдатами в ближайшем ручье и среди тамошней скалистой природы считались изысканным угощением. Затем предоставив мне нужное количество автомобилей, он направил меня через горы на передовые линии. По дороге был устроен живой телефон в виде махальных, стоявших на возвышениях и сигнализировавших о моем приезде. Прибыв на место назначения, я был совершенно очарован открывшейся перед моими глазами картиной. Мы спускались в обширную котловину, окруженную высокими живописными горами. В ней были выстроены войска в виде громадного квадрата, в центре которого, на широком свободном пространстве, поместилась элегантная группа начальствующих лиц. Солнце ярко освещало эту могучую, геометрически стройную фигуру войск, весело отражаясь от блестящих медных труб музыкантов. Под звуки музыки мой автомобиль приблизился к войску, и я, войдя во внутренность карре, обратился к офицерам и солдатам с приветственной речью от имени первопрестольной столицы. Потом приблизились грузовики и началась раздача подарков. Во время обеда перед домом выстроился нарядный казачий хор, исполнивший чудесный концерт. А на следующий день казаки устроили джигитовку, в которой показали свое поистине изумительное акробатическое искусство. На фоне чарующих природных красот быстрые и смелые движения, в которых люди и кони сливались в гармонические, изящные группы, производили неотразимое впечатление.

Но в эту поездку я получил и первое memento mori. Беседуя со мной поодиночке, некоторые солдаты заявляли, что им нужны не подарки, а окончание войны. Из сопровождавших эти заявления комментариев было ясно, что в военную среду проникла революционная пропаганда. Дисциплина и красивый военный строй держались только поверхностно. Внутри уже началось

инфекционное разъедание военного организма. Лишь в среде казаков, которыми командовал популярный, прославленный своей храбростью генерал Н. Н. Баратов, настроение было попрежнему бодрое и веселое.

На Кавказ мне пришлось совершить и другую поездку, но на этот раз не военного характера. От имени Московской городской думы я должен был отвезти в Тифлис пожертвование в 200.000 рублей на помощь скопившимся там беженцам. Это была весьма существенная поддержка, и Тифлисское городское управление проявило по отношению ко мне высокую степень традиционного кавказского гостеприимства. Между прочим, было созвано экстренное заседание Городской думы, на котором известный своим красноречием городской голова Хатисов произнес горячую речь в честь Москвы, закончив ее словами: «Да здравствует Москва, сердце России!» В своем ответном слове я, вторя ему, воскликнул: «Да здравствует Тифлис, сердце Кавказа!» Казалось, что собрание прошло вполне корректно и достойно. Но на следующее утро ко мне в гостиницу явились два господина и, отрекомендовавшись представителями местного грузинского населения, заявили мне, что моим вчерашним восклицанием я глубоко обидел их, ибо они считают, что Тифлис их город и что он является центром не Кавказа, а Грузии. В этом сказалась старинная вражда между грузинским и армянским населением Кавказа, обостренная в данном случае тем, что во главе городского управления стоял армянин. Мне пришлось долго успокаивать их взволнованное настроение, ссылаясь на мою некомпетентность в местных национальных разногласиях и уверяя их, что Москва относится с одинаковым сочувствием, как к армянскому, так и к грузинскому народу. В доказательство этого я привел тот факт, что тотчас по приезде в Тифлис я завязал дружеские отношения не только с армянским членом управы Джабаром, но и с другим членом, грузином Журули, который на меня произвел, как и все остальные, с кем я встретился в Тифлисе, очаровательное впечатление. Мои слова, наконец, подействовали,

и нарождавшийся было конфликт между грузинами и москвичами был ликвидирован.

Я настолько специализировался в посещениях фронта, что когда Московская городская дума делегировала городского голову М. В. Челнокова к верховному главнокомандующему, великому князю Николаю Николаевичу с приветствием от Москвы и для поднесения ему старинной иконы Георгия Победоносца, я должен был сопровождать городского голову в этой поездке. Мы посетили великого князя в его ставке, которая находилась тогда в Барановичах. Великий князь охотно беседовал с нами о Москве и о военных делах, но когда мы затронули вопрос о неудачах нашей армии и о грозных слухах по поводу недостаточности боевого снаряжения, он порекомендовал нам переговорить об этом с начальником генерального штаба ген. Янушкевичем. Этого последнего мы, оба члены Государственной Думы, попросили ответить нам совершенно определенно, правда ли, что наша артиллерия крайне ограничена в употреблении снарядов, так что в ответ на непрерывную канонаду противника должна подчас отвечать лишь несколькими выстрелами, что солдаты обучаются даже в прифронтовой полосе с палками вместо ружей, что во время атак нехватает патронов и даже винтовок, так что некоторые солдаты идут безоружными и должны воспользоваться винтовками своих павших или раненых товарищей. Генерал, вполне разделяя наше возмущение, заявил, что это трагическое положение от ставки не зависит, что снабжением армии ведает военный министр Сухомлинов, на которого и падает ответственность за наши военные неудачи.

В. Н. Коковцов, многолетний министр финансов и председатель Совета министров, квалифицировал впоследствии[11] генерала Сухомлинова, как человека легкомысленного и подверг всю его деятельность в военном министерстве совершенно уничтожающей критике. Но

[11] Граф В. Н. Коковцов. Из моего прошлого. Воспоминания 1903-1919 г. Том. I. Париж 1933. Стр. 490.

Сухомлинов был неизменным любимцем государя, и никакие разоблачения в Государственной Думе не могли ему повредить. Для нас, после посещения ставки верховного главнокомандующего, стало совершенно ясно, что военное министерство не в силах справиться с делом снабжения армии и что русская общественность, в лице земств и городов, должна взять инициативу в этом отношении в свои руки.

Между прочим, обед у великого князя, на котором присутствовало и большое количество чинов его ставки, окончательно успокоил мою совесть по поводу уже описанного мною выше, незаконного угощения офицеров и солдат коньяком Шустова. За этим обедом, при его сравнительной скромности, в изобилии подавалось вино.

К воспоминаниям о моих посещениях фронта я должен добавить одно общее замечание. Мне ни разу не удалось посетить военные госпитали. Повидимому, в расчеты начальствующих лиц не входило показывать эти учреждения члену Государственной Думы. Да, по правде сказать, я и сам не добивался этого. Своей главной задачей я считал внести оптимистическую, бодрую ноту в тяжелую, вечно связанную со смертельной опасностью, прифронтовую жизнь. А это было возможно только в том случае, если в соответствии со словами французского поэта, приведенными в эпиграфе к настоящей главе и относящимися к Наполеону, я не задумывался ни о миллионах мертвых, ни о потоках огня и крови, ни о боевых картинах, в которых открывается почти преисподняя.

Героическое настроение могло культивироваться на фронте лишь постольку, поскольку оно не разъедалось скептицизмом. Ожидания, что война разыграется и окончится, как шахматная игра, в короткое время, не оправдались. Был выдвинут внешне оптимистический лозунг войны до победного конца, который в сущности был глубоко пессимистичным, потому что предусматривал логически связанные с ним явления: море крови и толпы калек на фронте, недостаток про-

довольствия и вызываемые им беспорядки в тылу. Всё это тут и там должно было содействовать нарастанию и успеху революционной, пораженческой пропаганды. Проникновение этой пропаганды на фронт совершалось, между прочим, путем, нами совершенно непредвиденным и во время незамеченным.

Я уже выше упоминал о том, что Военное министерство оказалось неспособным разрешить задачу снабжения армии достаточным количеством боевых припасов. Русской общественности, в общем патриотически и жертвенно настроенной, не оставалось ничего иного, как постараться взять на себя заботы о вооружении и этим самым помочь министерству, с которым она в то же время находилось в неприязненных отношениях. После многих лет бесплодного ожидания и в результате усиленных хлопот, правительство, которое уже и само почувствовало свою слабость, разрешило учреждение Земского и Городского Союзов. Во главе первого стал известный земский деятель князь Г. Е. Львов, во главе второго московский городской голова М. В. Челноков. А так как этому последнему, при исполнении его прямых обязанностей, было трудно отдавать значительную часть времени Союзу, то его заместителем, фактически ведшим всю текущую работу по Союзу, был избран врач Н. М. Кишкин, один из наиболее деятельных членов московского кадетского комитета.

Оба союза развили широкую и энергичную деятельность на помощь действующей армии. Быстро были сорганизованы многочисленные госпитали и санитарные отряды, в которых чувствовался недостаток. До того времени в прифронтовой полосе могли функционировать только военные медицинские организации, которыми нельзя было особенно похвалиться. Теперь туда были допущены и общественные организации, значительно улучшившие дело санитарной помощи. Снабжение армии боевым снаряжением не могло быть осуществлено так быстро, ибо для этой цели нужно

было строить новые или приспособлять старые заводы, вырабатывавшие до того времени предметы мирного потребления. Но и с этой задачей союзы справились (совместно с Военно-промышленным комитетом), так что войска оказались обильно снабженными сначала противогазовыми масками, в которых в то время уже возникла внезапная и острая потребность, а потом ружейными и артиллерийскими снарядами, подвозившимися на фронт в неограниченном количестве. Тяжелая промышленность по изготовлению снарядов получила особенно сильное развитие во второй половине войны, когда из Земского и Городского союзов выделились соответствующие части и слились в общий Земско-городской союз (Земгор).

Всероссийская общественная работа, направленная к достижению победы, пришла, однако, слишком поздно. До того времени армия, бедная пушечной сталью, держалась внутренней спайкой, железными нервами. Наше офицерство проявляло высокие примеры храбрости и жертвенности, бесстрашно устремляясь в атаку впереди своих частей, а в промежутках между боями по-братски деля с солдатами все тяготы и невзгоды фронтовой жизни. Боевые же качества русского солдата проходят красной нитью по всей истории российских войн. И вот по трагической иронии судьбы, к тому времени, когда внешние условия для успешного ведения войны так блестяще улучшились, эпидемия пораженчества, первые признаки которой бросились мне в глаза при посещении Кавказского фронта, настолько разрослась, что железные нервы армии лопнули, и из стройного организованного целого она начала превращаться в рыхлый конгломерат революционизированных, презирающих воинскую дисциплину товарищей.

Трагичность всего этого, как я узнал много позже, обострилась благодаря тому обстоятельству, что общественные организации, получив возможность массовой циркуляции по всему фронту, который они обогащали военными припасами, оказались в то же время подры-

вателями военной дисциплины, хотя невольными и для самих себя неожиданными. Дело в том, что в среду второстепенных сотрудников Городского и Земского союзов проникло значительное количество революционных деятелей, которые, пребывая на фронте, могли, параллельно с исполнением своих служебных обязанностей, вести среди солдат подпольную, а впоследствии и открытую пораженческую пропаганду. Бывали случаи, что и мы сами им в этом бессознательно помогали. В Городском союзе мне было поручено заведывание справочным отделом. Но занятый большую часть времени в Петрограде, я не мог посвящать этому отделу достаточного внимания. Поэтому я просил Н. М. Кишкина назначить мне заместителя, который вел бы всю работу по отделу и которого я мог бы контролировать во время моих еженедельных приездов в Москву. Таким лицом оказался очень скромный и симпатичный на вид молодой человек, которого, как я впоследствии узнал, рекомендовала Кишкину, уже упомянутая мною в одной из предшествующих глав О. А. Зернова, исполнявшая при Кишкине обязанности секретарши. Брат Ольги Алексеевны, С. А. Зернов, тоже милый человек, мой коллега по зоологии, заведывавший Севастопольской биологической станцией, как выяснилось впоследствии, был человеком коммунистических взглядов. Полагаю, что не без его содействия наша яростная защитница кадетских традиций устроила на службу в союз человека, который после октябрьской революции оказался видным партийным большевиком. Во время же своей службы он часто отпрашивался у меня на несколько дней в отпуск для поездок на фронт к своим родственникам. Союз иногда давал ему при этом маленькие поручения и во всяком случае снабжал его удостоверениями, открывавшими ему доступ во всевозможные прифронтовые учреждения. Ясное дело, что главной целью его поездок была, если не непосредственная пропаганда в войсках, к чему он при застенчивости своего характера был мало способен, то работа по поддержанию связи между революционными ячей-

ками, а может быть, и распространение пораженческой литературы.

Весной и летом 1917 года, после февральской революции и организации Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, началась открытая агитация против войны, которая достигла своего апогея с приездом в Россию лидеров большевистской партии во главе с В. И. Лениным, которых от границ Швейцарии до границ России германское правительство провезло в запломбированном вагоне. Это был, со стороны немцев, гениальный способ воздействия на тыл противника. С балкона особняка Кшесинской, в Петрограде, Ленин изо дня в день вдалбливал со свойственной ему ловкостью заманчивые пацифистские лозунги, например, «мир хижинам, война дворцам», «заключение мира без аннексий и контрибуций», которые, благодаря своей лапидарной форме, растекались по всему пространству земли русской. Будучи не всегда понятными для широких народных масс, они тем не менее влекли к себе утомленных войной людей постоянно повторявшимся в них словом «мир».

Попытка Керенского, который принял на себя обязанности верховного главнокомандующего, организовать в армии контрпропаганду в смысле призыва к защите родины и верности союзникам, не увенчалась должным успехом. Главнокомандующего, по всей его природе глубоко штатского человека, типичного представителя русской интеллигенции, который разъезжал по фронту, произнося патриотические речи, стали иронически называть главноуговаривающим. В некоторых местах войска, увлеченные его красноречием, перешли к активным действиям и одержали даже победы. Но это были последние вспышки, за которыми последовали новые отступления и дальнейшее разложение воинских частей. А потом власть перешла к коммунистам, для которых в то время война с дворцами представлялась более важной, чем защита русских границ. Распад армии продолжался во всё усиливавшемся темпе, и правительству ничего не оставалось,

как заключить с ослабленной к тому времени и тоже затронутой разложением Германией позорный Брестский мир.

В заключение краткого обзора моей цивильной деятельности на военном фронте необходимо отметить, что помимо попечения о воинах, защищавших нашу честь и родину, на мне лежали также заботы о тех несчастных противниках наших, которые попадали к нам в плен. Правда, условия жизни военнопленных в России были в общем благоприятны, в особенности для австрийцев славянского происхождения, как, напр., для чехов и словаков. Многие из них и до сих пор трогательно вспоминают о своем пребывании в плену. Не только крестьяне и ремесленники, но и лица интеллигентных профессий могли находить себе работу по специальности. Так, один чех, впоследствии мой коллега по Пражскому университету, попав в плен, сделался доцентом Пермского университета. Конечно, не каждый оказывался в таком счастливом положении, а в первое время пленения всем приходилось туго. Я помню в прифронтовой полосе длинные маршевые колонны этих несчастных, грязных, часто оборванных, истомленных долгими походами при недостаточном питании, пленных, которые направлялись в концентрационные лагеря, где жизнь их была тоже не сладка. Международная организация Красного Креста считает поэтому одной из своих гуманных обязанностей контроль за содержанием военнопленных. В России во главе Красного Креста стояла государыня Александра Феодоровна. В составе его был и Комитет помощи военнопленным, которым заведывал сенатор Арбузов. Я же был назначен председателем Московского отделения этого комитета. И в этой своей роли я постарался проявить максимум энергии, так что получил даже специальный краснокрестный орден в виде продолговатого нагрудного щитка с изображением красного креста. Но откровенно говоря, достигать каких-либо результатов в этом деле было нелегко, ибо это значило вмешиваться в компетенцию военного управления, в

ведомстве которого находились пленные. А военные власти не любят иметь дело с цивильными учреждениями. Но тем не менее, мне приходилось получать через Красный Крест письма от заграничных ученых, в которых мне сообщали о том, что какой-нибудь коллега попал в плен, и просили облегчить его участь. Кое-что, конечно, удавалось сделать.

В отношении к военнопленным для нас было показательно чувство простого народа, смотревшего на них, не как на врагов, а как на несчастненьких; взгляд, который у русского народа уже исстари был усвоен по отношению к арестантам. И в кругах интеллигенции, несмотря на ее в общем патриотическое настроение, сопровождавшееся подчас резко воинственными взрывами, шовинистические проявления не играли сколько-нибудь заметной роли. Я помню, например, как в Императорском московском обществе испытателей природы было получено сообщение, что некоторые немецкие ученые общества вычеркнули из списков своих членов представителей воюющих с Германией стран. В числе наших членов было довольно много германских ученых, и поэтому был поднят вопрос о том, не следует ли нам поднять брошенную нам перчатку. Но в результате долгих дебатов мы пришли к решению, что духовное общение должно стоять выше временных политических разногласий, что взаимное наказывание ученых, как мелочное проявление мстительности, не вяжется с чувством собственного достоинства великих наций, что ученые труды, которые явились единственным мерилом для избрания в члены Общества, отнюдь не уменьшились в своей ценности из-за войны, что не следует нам следовать малодушному примеру наших заграничных коллег и исключать их из числа наших сочленов.

Справедливость требует отметить, что были и немецкие ученые, которые не разделяли шовинистических воззрений своих коллег. Так напр., профессор О. Бючли, как мне стало известно впоследствии, помог нескольким своим русским ученикам, застрявшим в

Германии при начале войны, выбраться на родину, а одного из них, сильно запоздавшего, долгое время охранял от опасности быть заключенным в концентрационный лагерь, пока и ему не удалось перебраться в одну из нейтральных стран. Когда я узнал об этом, и припомнил то обстятельство, что О. Бючли был почетным членом Общества испытателей природы, я представил себе ту возможную несправедливость, которая легла бы на нашу совесть, если бы мы вычеркнули его из наших списков.

Естественно, что во время войны отношение населения к людям немецкого происхождения и носившим немецкие фамилии не могло быть благоприятным. Еще и до начала войны в среде московских купцов и промышленников разливалось широкой волной неудовольствие против немцев, которые являлись для них опасными конкурентами. Это неудовольствие нашло себе яркое выражение в учреждении по инициативе известного уже нам Н. Н. Шустова «Общества по борьбе с немецким засильем». Но все эти проявления носили совершенно спокойный, лойяльный характер. И лица немецкого происхождения, большей частью прибалтийские уроженцы, в полной мере проявляли патриотические чувства к своему российскому отечеству. Это сравнительно мирное сожительство было нарушено в конце войны немецким погромом, который в Москве и некоторых других городах разразился с такой же бессмысленной жестокостью, как в прежние времена еврейские погромы или избиения студентов охотнорядскими торговцами. Низшие слои населения уже были в это время раздражены дававшими себя чувствовать недостатками продовольствия. Администрация же, по примеру того, как она прежде покровительствовала еврейским погромам, видя в них клапан для выпускания сгустившихся революционных паров, сочувственно отнеслась к раздраженной черни, а может быть, и посодействовала разгромлению немецких учреждений и квартир. Во всяком случае престарелый московский генерал-губернатор, гр. Юсупов, когда явился на сове-

щание в Городскую думу, говорил о погроме совершенно спокойно и даже умилялся тем, что люди шли с погрома с радостными лицами, веселыми разговорами и с узелками в руках, «как будто в пасхальную ночь». А между тем из окон музыкального магазина Циммермана, расположенного во втором этаже, выкидывались на улицу драгоценные рояли, товары в других торговых заведениях больше уничтожались, чем грабились и, наконец, наэлектризованные толпы черни, позабыв о немцах, бросились на разгром винных складов. Возникала опасность стихийного пьяного бунта. При таких обстоятельствах, когда полагаться на московскую военную силу было рискованно, а полиция не проявляла достаточной энергии, было пущено по Москве несколько автомобилей с гласными думы, которым и удалось, отчасти непосредственным воздействием на громил, а отчасти побуждением полиции к более решительным действиям, смягчить погром. В результате Москва пережила как бы неприятельскую бомбардировку, а русское имя в глазах культурных народов потерпело изрядный ущерб.

VIII. РЕВОЛЮЦИЯ И ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

«Как зрелый плод упала».

Изречение о революции московского профессора И. Х. Озерова.

«Часы бегут, и дорого мне время.

. . . .

. . . .

«Уж новизна сменяет новизну;
А Годунов свои приемлет меры».

Пушкин.

Возникновение русской революции нельзя объяснять, как это часто пытаются делать, какой-либо одной причиной. Это явление не простого каузального порядка; оно зависело от сложного комплекса исторических условий. В течение нескольких десятилетий вся российская жизнь с неумолимой последовательностью направлялась в сторону революционного взрыва. И чем дальше оттягивался этот взрыв, тем больше нарастала его внутренняя напряженность, чем сильнее надувался нарыв на государственном организме, тем болезненнее должно было произойти его вскрытие.

Эпоха великих реформ императора Александра II пустила струю свежего воздуха в застоявшуюся общественную атмосферу России. Но эта струя еще более подчеркнула различие двух главных политических направлений русской передовой интеллигенции. Либеральная часть последней с энтузиазмом взялась за осуществление предначертаний царя-освободителя. Революционеры, наоборот, были возмущены недостаточ-

ностью реформ, их половинчатым характером, последствием чего и было цареубийство 1881 года. Эта антитеза между радикализмом и умеренностью, между революционными и эволюционными тенденциями проявлялась с той поры во всевозможных формах и оттенках в самых различных общественных группировках, вплоть до таких, казалось бы гомогенных, как кадетская фракция Государственной Думы, характеристика которой мною уже приведена в соответствующей главе. Под давлением тяжелого правительственного гнета эти два течения более или менее сближались друг с другом, находили общие пути протеста. Но при наступлении более свободного режима они в своих тактических выступлениях проявляли не только противоположные, но часто и враждебные точки зрения.

Ретроградное течение, уже начинавшее выступать в последние годы царствования Александра II, расцвело пышным цветом после воцарения его сына. Твердой политикой правительства, его суровыми мероприятиями революционная инфекция не была, однако, ликвидирована. Она лишь скрылась в глубину общественного организма, где нашла благоприятную почву для своего дальнейшего развития. Царствование Александра III, в противоположность к предшествующей эпохе, отличалось миром в международных сношениях и внешним спокойствием во внутренней жизни страны.

С вступлением на престол последнего российского императора маятник государственной жизни снова качнулся. Правда, Николай II заявил себя верным хранителем заветов своего родителя. Но в обществе оживились свободолюбивые запросы, которые и нашли себе выражение в приветственных адресах государю со стороны общественных организаций. Решительный отказ, последовавший в ответ на верноподданнический адрес Тверского губернского земства, в котором высказывалось пожелание о смягчении консервативного режима, отнюдь не затормозил народных мечтаний. Началась упорная, непримиримая борьба между правительством и обществом, борьба сначала скрытая, потом всё более

и более выступавшая наружу, которая и определила весь характер злополучного царствования.

Трагизм его пророчески обозначился уже при коронационных торжествах ужасной Ходынской катастрофой. Шествуя на прародительский престол, император должен был переступить через трупы многих сотен, если не тысяч своих подданных. Трагично при этом было и то, что он не проявил достаточного внимания к памяти несчастных жертв, отправившись после катастрофы на бал французского посольства.

Потом началось в царской семье ожидание наследника престола, долгое время остававшееся бесплодным. Нервное состояние, вызванное этим ожиданием, достигло апогея, когда выяснилось после рождения наследника, что он болен гемофилией. Своеобразие этого редкого заболевания еще более увеличило его трагичность. Гемофилия наследственная болезнь, которая проявляется лишь в мужском организме, но переносителем которой может быть только женщина. Свойства болезни не были известны во время женитьбы Николая II, тогда еще наследника, и болезнь была незаметно внесена в русскую царствующую семью его невестой, принцессой Гессенского дома, где она давно уже свила себе гнездо. Так недостаток научных сведений может нарушить не только благополучие семьи, но явиться мощным фактором в потрясении государственной жизни, как мы это сейчас увидим. Гемофилия выражается в том, что наряду с двумя главными клеточными элементами крови, так назыв. эритроцитами (красными кровяными шариками) и лейкоцитами (белыми шариками), в ней отсутствует третья категория элементов, которые до недавнего времени считались несущественными. Это тромбоциты (кровяные бляшки), тельца мельчайшего размера, о которых мы теперь знаем, что ими вызывается свертывание крови, вытекающей из раны, образование так называемого тромба. При отсутствии тромбоцитов, т. е. при гемофилии, кровь может выливаться из тела человека, без всякого противодействия со стороны самого организма, вплоть

до его обескровления, и следующей за этим смерти. Особенно опасны внутренние кровоизлияния, которые трудно остановить каким-либо искусственным приемом.

Понятно, какая трагедия развернулась в царской семье вследствие внедрения в нее этой ужасной, неизлечимой немощи. Несчастная мать сделалась истеричкой и, за отсутствием обычных медицинских способов лечения сына, стала выискивать всевозможные чудодейственные приемы. Таким образом появился при дворе Распутин, ловкий и хитрый сибирский мужичок, обладавший, повидимому, высокой степенью способности к гипнотическому внушению, благодаря чему он мог останавливать кровотечение у наследника. Психическое воздействие на физиологические и патологические процессы, происходящие в организме человека, еще мало исследовано в науке, но в возможности его нельзя сомневаться. Постепенно Распутин сделался необходимым для царской семьи лицом, приобрел исключительное влияние в высших правительственных сферах, окружил себя всевозможными фаворитами, а главным образом фаворитками, и начал оказывать свою могущественную протекцию часто совершенно недостойным лицам. Подозревали его даже в том, что он состоял во время войны на тайной службе у германского правительства. Но если эти подозрения и неосновательны, то отнюдь не исключена возможность воздействия на него со стороны германофильских кругов, которые, несомненно, гнездились в Петрограде.

Император Николай II, характеру которого не были чужды элементы мистицизма, становился под влиянием своей супруги всё более и более суеверным. Примеры его мистического настроения, заставлявшего его отменять почти принятые решения, в целесообразности которых не было никакого сомнения, приводятся в выше цитированных воспоминаниях его ближайшего сотрудника В. Н. Коковцова. Он ссылался при этом на внутреннюю интуицию, на то, что он действует на основе божественного откровения и что за свои действия

он несет ответственность перед Господом. Не отступая ни на иоту от принципа самодержавия, он и правительство свое подбирал соответствующим образом. В результате получалась неизбежная коллизия между Советом министров, ответственным лишь перед верховной властью, и народным представительством. Даже В. Н. Коковцов, которого считали исключительно способным поддерживать добрые отношения с Государственной Думой, вызвал однажды в ее либерально настроенной части глубокое возмущение своим бестактным заявлением, без которого он мог бы свободно обойтись и которое гласило: «У нас, слава Богу, нет парламента». Другие министры, которые, благодаря своему крайне правому направлению, оказывались неисчерпаемым источником конфликтов между народом и правительством, или такие, как Сухомлинов, которые держались на своих местах лишь благодаря угодничеству перед личностью монарха, систематически расшатывали государственный аппарат. В конце концов, во всех общественных кругах создалось недовольство этим аппаратом. Верховная власть чувствовала ненормальность положения, но вместо единственно потребного в то время сближения с народом, отделывалась частичными мероприятиями и сменой министров, которые один за другим оказывались неспособными направить государственный корабль в тихую пристань спокойствия и благополучия. Фаворитизм при этих назначениях стал особенно разительным, когда выступило на сцену влияние Распутина. Даже такой столп консерватизма, как Пуришкевич, окрестил происходившее «министерской чехардой». Из министров внутренних дел, которые подвергались особенно частой смене, можно отметить таких непопулярных лиц, как Хвостов, против которого предостерегал государя в свое время Коковцов, далее Маклаков, прозванный «стрикулистом», и наконец, назначенный по рекомендации Распутина член Государственной Думы, октябрист Протопопов, которого его партийные коллеги объявили ренегатом и который впоследствии

оказался психически больным. А из председателей Совета министров припоминаю жалкую фигуру Горемыкина, бывшего премьером, и довольно неудачным при открытии 1-ой Государственной Думы, а в описываемый период столь одряхлевшего, что он заливался слезами, читая нам правительственную декларацию. В связи с его именем в думских кулуарах было пущено меткое двустишие: «Горе мыкали мы прежде, горе мыкаем теперь».

Так нарастал раскол, с одной стороны, в среде правительственного аппарата и близких к нему крайне правых кругов общества, а с другой стороны, и в ближайшем окружении царя. Наиболее яркое, катастрофическое выражение это обстоятельство нашло себе в убийстве Распутина, учиненном не какими-либо революционными элементами, а членом царской семьи, великим князем Дмитрием Павловичем, представителем русской аристократии, молодым графом Юсуповым и крайне-правым депутатом Пуришкевичем. После этого убийства даже политически слепым людям стало ясно, что Россия катится по наклонной плоскости к революционному взрыву.

Не будучи историком и не имея под руками даже необходимейших печатных материалов или записок, я не мог в предшествующих страницах представить сколько-нибудь связного процесса событий в среде российской правительственной власти, приведших к революции. Как человек, переживший три последние царствования, я попытался по памяти, часто неполной и неточной, наметить лишь некоторые вехи этого процесса. В таком же порядке я постараюсь припомнить, каким образом широкие круги русского общества реагировали на правительственную политику, какую долю внесли они в подготовку революции.

Общественный энтузиазм, охвативший либеральные круги в шестидесятых и семидесятых годах истекшего столетия, в связи с реформаторской деятельностью Александра II, был на следующие два десятилетия погашен нахлынувшей на всю русскую жизнь реакци-

онной волной. На всех путях реформ были поставлены заградительные сооружения. Новым уставом была отменена университетская автономия; самодеятельность земских и городских учреждений подверглась ограничению, над крестьянами, как бы в замену былой помещичьей власти, были поставлены земские начальники, в руках которых объединились, вопреки современным государственным требованиям, административные и судебные полномочия, и т. д. Параллельно с подавлением общественной инициативы замерла разрушительная деятельность революционеров. Единственным отзвуком многочисленных покушений на жизнь императора Александра II было вызванное террористами 17 октября 1887 г. крушение поезда, в котором Александр III с семьей следовал из Севастополя в Харьков. Крушение произошло между станциями Борки и Тарановка. Никаких повреждений члены императорской фамилии не потерпели. В политическом подпольи нарождалась и ширилась в это время марксистская догма, ставившая во главу угла не террористические акты, а борьбу классов, стремящуюся к диктатуре пролетариата.

На рубеже столетий картина стала постепенно меняться. Общественная подавленность сменилась пафосом борьбы. В либеральных кругах заговорили свободнее. Социал-демократы, при помощи тайных кружков, проповедывали учение К. Маркса с одинаковым успехом как в рабочей, так и в интеллигентской среде. Наследники прежних народовольцев, социалисты-революционеры возобновили террористическую практику, выбирая своими жертвами наиболее влиятельных консервативных деятелей из правительственных кругов. Студенческие волнения стали обычным явлением университетской жизни.

Всё это не только нервировало правительственную власть, но приводило ее в состояние некоторой растерянности. Поводья, туго натянутые во время царствования Александра III, понемногу ослабевали. А это в свою очередь облегчало новые формы атак на крепость монархического абсолютизма. Волны обще-

ственного протеста поднимались всё выше и выше. За прокатившейся по русским городам сравнительно скромной волной интеллигентских банкетов, во время которых произносились в более или менее сокровенной форме антиправительственные речи, последовала более высокая волна всеподданнейших адресов со стороны земств и городов с просьбами о смягчении самодержавного режима и о допущении народных представителей к участию в управлении государством. Потом волна поднялась еще выше, разлившись по всей России эпидемией всенародных митингов, на которых уже в совершенно открытой форме вскрывались язвы существовавшего строя и требовалось его радикальное изменение. Апофеозом всех этих последовательно вздымавшихся волн была стихийно разразившаяся буря вооруженного восстания 1905 года. Правительственная власть снова крепко ухватилась за руль государственного корабля и вывела его в тихие воды. Восстание было подавлено, но представителям власти стало ясно, что управлять народом при помощи штыков и патронов невозможно. Трагическим дефектом правительственных мероприятий было, однако, их систематическое запаздывание. Скромное пожелание хоть какого-нибудь народного представительства считалось бессмысленными мечтаниями, а когда, в августе 1905 г. министром внутренних дел Булыгиным был выработан проект законосовещательной Государственной Думы, он был квалифицирован, как бессмысленный с другой стороны, со стороны общественного мнения, продвинувшегося в своих требованиях значительно дальше. И манифест 17-го октября 1905 г., который был дан в замену Булыгинской Думы под давлением революционных событий, если бы он появился на несколько лет или даже месяцев раньше, был бы способен примирить общественное мнение с властью. Но в момент обнародования он уже опоздал. Аппетиты народоправства возросли, что и повело к конфликту двух первых Государственных Дум с правительством. Новый нажим правительства опять увенчался успе-

хом, наступило равновесие в государственной жизни, которое снова тянулось около десяти лет, во время существования Дум третьего и четвертого созыва. Но разрушительные силы не дремали, конфликт рос, углублялся и разразился, наконец, великой революцией.

Среди обстоятельств, содействовавших назреванию революции, надо отметить и общие психологические черты, свойственные русскому народу и особенно заостренные в его интеллигентской части. Это то, что иностранцы называют «âme slave» и что нами величается, как «широкая русская натура». Характерны для этой натуры: расплывчатая мечтательность, не считающаяся с реальными условиями жизни, нерасчетливость в смысле использования личных и общественных сил, готовность взяться за выполнение непосильных задач, часто связанная с высоким подъемом жертвенности, отсутствие достаточного чувства ответственности. Все эти факторы ведут к упадку общественной дисциплины. Как у плохо воспитываемых детей, страдающих вследствие этого от скуки, подобный недостаток общественной школы приводит к душевной неудовлетворенности, к исповеданию какой-то своеобразной мировой скорби. Диапазон внешних проявлений тех или иных сторон «широкой натуры» велик, разнообразен и исполнен противоречий. Он простирается от религиозного подвижничества и готовности всем пожертвовать для блага ближнего до русского масленичного обжорства и гомерических кутежей, свойственных в одинаковой мере, но в различных формах выполнения, русскому мужику, купцу и аристократу. К категории подобных проявлений относится и нежелание моего ученика браться за научное исследование, которое не гарантирует ему широких теоретических перспектив, и решение кадетской фракции выступить с декларированием основных гражданских свобод перед 4-й Государственной Думой, совершенно неспособной воспринять такую декларацию, и победный лозунг «шапками закидаем», подхваченный русским народом перед несчастной японской войной и, наконец, поль-

зовавшийся большим успехом, недавний призыв «догнать и перегнать Америку».

«Земля наша богата, порядка в ней лишь нет». Это лапидарное определение, хотя и неправильное для всего хода русского исторического развития, также связано с характеристикой «русской широкой натуры». Существенными источниками рассматриваемого явления со всеми его положительными и отрицательными сторонами служит отсталость русской культуры по сравнению с Западом. В Италии университетская образованность начала зарождаться уже в двенадцатом, а в остальной Западной Европе в тринадцатом и четырнадцатом столетиях, тогда как в России первый университет, московский, был учрежден лишь в 1755 г. Это запоздание минимум на четыреста лет не могло не отразиться на всем строе жизни и характере русского народа. С одной стороны, в России создалось бьющее в глаза различие, непроходимый ров между духовной аристократией, питавшейся культурным достоянием Запада, и невежественной народной массой. Это вело к отчуждению между ними и ко взаимному неудовольствию. Наивная политика «хождения в народ», предпринятая частью интеллигенции, не могла смягчить положения, а в некоторых случаях лишь обостряла ощущение неравноправия. С другой же стороны, представители образованного класса, проникаясь завистью к западной культурности и сравнительной политической свободе, ширили недовольство, как в своей среде, так и в других слоях населения. Возникла мода на иностранные товары, запечатлевшаяся в обычной, часто и неуместной поговорке торговых служащих: «товар самый лучший, заграничный». Мода продолжалась по инерции и до тех предвоенных лет, когда Третьяковские сукна по своему качеству почти не уступали лучшим английским, когда иностранцы расхваливали нашу обувь и другие кожаные изделия, когда крымские и кавказские вина вкусовыми качествами начинали равняться французским и немецким, а своей натуральностью превосходили их. Название патриот

одно время считалось обидным в интеллигентских кругах, и многие с гордостью провозглашали себя космополитами, гражданами вселенной. А в народе это преломлялось заявлениями, которые иногда слышались во время первой мировой войны в ответ на патриотические призывы: «Нас это не касаемо, война от нас далеко, мы рязанские».

Все, намеченные выше, предпосылки революции могли бы смягчиться или даже утратить свою актуальность, если бы с таким трудом налаженный конституционный режим продолжал укрепляться и развиваться в мирной обстановке, если бы при содействии нашего, хотя и несовершенного, народного представительства в обществе культивировались идеи порядка и правосознания, если бы этому представительству удалось завершить начатую им колоссальную работу по подъему образовательного уровня народа, если бы, наконец, используя успешные результаты своей деятельности в различных областях государственного строительства, оно сумело постепенно углубить свое воздействие, с одной стороны, на правительственную власть, что означало бы расширение его полномочий, а с другой, на общество, из чего вытекало бы объединение и усиление общественной поддержки. Но все эти, с моей точки зрения возможные перспективы были, как карточный домик, опрокинуты нашими военными неудачами. Вступление России в войну, продиктованное благородным побуждением защитить свою слабую славянскую сестру, было тоже проявлением широкой русской натуры. В наступившей затем гигантской мировой борьбе Россия в точном смысле слова «положила душу за други своя».

Естественное утомление войной, которое чувствовалось как на фронте, так и в тылу, обострялось сознанием, что дорого стоившие России уроки японской кампании пропали даром, что военные и правительственные круги не научились вести войну. Я видел в Праге выгравированное на фронтоне воинского цейхгауза изречение какого-то французского полководца,

гласящее, что главным залогом победы служит правильное снабжение войска. Этой простой, для Праги уличной истины не усвоило наше правительство, начав войну без достаточных запасов воинского снаряжения. А русское военное командование, преклоняясь перед требованиями заграничных военачальников, бросило, для отвлечения неприятеля от подвергавшегося опасности Парижа, на убой доблестные, образцовые в смысле своей дисциплины и верности родине, петроградские гвардейские полки. Таким образом, собственная столица оказалась к концу войны под охраной вновь набранных запасных частей, чуждых старых воинских традиций, плохо дисциплинированных и кишевших революционными элементами. Война, следовательно, с ее неудачами и жертвами была предпоследней каплей, переполнявшей чашу народного терпения. Последней же каплей оказались продовольственные неурядицы. Нет лучшей школы для революционного воспитания, как бесконечное, а подчас и бесцельное стояние в очередях перед почти пустыми магазинами. Дальнейшим шагом по пути к открытому возмущению являются уличные сборища, летучие митинги, в которых так охотно подхватываются всевозможные слухи и сплетни, а житейское недовольство под ловким руководством агитаторов вызревает в революционное настроение. В начале 1917-го года эти явления с угрожающей ясностью обрисовались в больших городах. С другой же стороны, было очевидно, что правительственный аппарат, неспособный и колеблющийся, не в силах справиться с продовольственными затруднениями, возраставшими изо дня в день.

Государственная Дума приняла в начале 1917 г. радикальное решение взять дело снабжения продовольствием населения под свой непосредственный контроль. В комиссии[12], которой было поручено изготовление в порядке законодательной инициативы соответствующего проекта, я был избран докладчиком (повидимому, в

[12] Если мне не изменяет память, это было соединенное заседание двух комиссий: по земским и по городским делам.

виду моей успешной работы по составлению нового городового положения). Чувствуя всю тяжесть возложенной на меня ответственности, я при совершенно отшельническом образе жизни в несколько дней справился со своей задачей и передал набросок законопроекта в думскую канцелярию, сговорившись о том, что заседание комиссии будет назначено на один из последних дней февраля. Оставшиеся до этого заседания немногие дни я тоже провел в одиночестве, готовясь к докладу и обдумывая детали законопроекта. Подымавшаяся в это время волна народного возмущения не проникала в сферу моего внимания. Я лишь мельком прислушивался к разговорам о том, что уличные скопления недовольного народа разрастаются и что казаки разгоняют их.

Утром 27-го февраля я пришел в Таврический дворец, чтобы поинтересоваться, отпечатан ли мой проект и может ли в этот день состояться заседание комиссии. Но чины канцелярии сообщили мне сенсационную новость, что Дума императорским указом распущена и что в центре города, а также в воинских казармах происходят серьезные беспорядки. Вскоре начали собираться встревоженные депутаты, прибыл председатель Думы, и было решено устроить частное совещание депутатов в помещении, примыкающем к залу заседаний, в так называемом полуциркульном зале. Совещание приняло сразу бурный характер. Левые депутаты, обрисовывая возмущенное настроение рабочих и солдат, требовали, чтобы Дума объявила революцию и возглавила ее. Правые, наоборот, настаивали на принятии экстренных мер для подавления восстания. Центр сначала колебался. Но потом, когда одно за другим начали приходить известия о переходе расположенных в Петрограде полков на сторону революционеров, когда становилось всё более ясным, что нет в столице силы, на которую правительство могло бы опереться при подавлении беспорядков, члены центра стали постепенно переходить на сторону левых. Наконец, наступил критический момент. Появился

думский пристав и сообщил, что воинская часть, охранявшая Таврический дворец, также присоединилась к восставшим. Всё было потеряно; оставалось только одно — считаться с создавшимся положением, постараться урегулировать революционное движение и направить его в возможно более спокойное русло, во избежание человеческих жертв и материальных разрушений. В таком смысле и было принято постановление, а для проведения его в жизнь был избран Временный комитет членов Государственной Думы, возглавленный председателем Думы М. В. Родзянко.

Обманутый в своих надеждах, с которыми я всего несколько часов тому назад пришел в здание Думы, лишенный возможности направить дело столь дорогим для меня эволюционным путем, подавленный всем происходившим, в предвидении наступавшей катастрофы, я совершенно безучастно отнесся к нашему частному совещанию. По всей моей внутренней природе, при глубоком отвращении ко всякого рода насильственным действиям, я не мог приветствовать революцию. Но с другой стороны, я был возмущен роспуском Государственной Думы, единственного учреждения, пригодного для роли посредника между правительством и народом. Мост, с существованием которого могла быть связана хотя бы слабая надежда на сближение, был взорван в момент величайшей опасности, и два фронта, правительственный и революционный, оказались разделенными непроходимой пропастью. Преобладание было несомненно на фронте революционном, не только потому, что к нему перешли наиболее активные силы государственного аппарата, но и благодаря господствовавшему там пафосу и единодушию, в противоположность разложению и растерянности на фронте правительственном.

К концу нашего частного совещания в кулуарах набралось большое количество посторонних лиц: общественных деятелей, вождей революции, представителей войск и т. п. Узнав о решении совещания возглавить революционное движение, нас горячо привет-

ствовали. Думский двор был переполнен автомобилями, преимущественно военными. Когда я собрался идти домой, мне сказали, что ходить по городу небезопасно. Появился какой-то, дотоле неведомый распорядитель и усадил меня в необыкновенно длинный, восьмиместный открытый автомобиль, шесть передних мест которого было занято матросами. Ко мне присоединился П. Б. Струве, который приходил в Думу за справками, и мы с нашим почетным эскортом покатили по улицам, горячо приветствуемые всюду толпившимся народом. После обеда я вышел на улицу уже без охраны и скоро убедился, что страхи были совершенно излишни. Правда, было подожжено здание Судебных установлений, горел какой-то полицейский участок, говорили что был убит городовой, но в общем толпа держала себя совершенно спокойно. Всюду чувствовалась праздничная торжественность, через которую пробивалось веселое оживление. Героями дня были члены Государственной Думы, которых всюду приветствовали, расспрашивали, предлагали подвезти на автомобилях. Начиналась «великая бескровная революция».

А между тем к Таврическому дворцу непрерывной чредой подходили депутации штатские и военные, для принесения принимавшим их членам Думы приветствий и обещаний верности революции. Между прочим во главе депутации от гвардейского экипажа явился украшенный красным бантом вел. князь Кирилл Владимирович, который впоследствии, в эмиграции, принял на себя императорский титул.

Два дня я присматривался к настроению петроградских обывателей, и у меня создалось впечатление, что, действительно, русская революция есть явление своеобразное, что она протекает почти без насилий, в дисциплинированном порядке. Под таким впечатлением я утром 1-го марта отправился в Таврический дворец и предложил Комитету членов Государственной Думы свои услуги. В это время уже формировалось Временное правительство под председательством кн.

Г. Е. Львова, который получил назначение премьер-министром еще одним из последних Высочайших указов. Некоторые из старых министров находились под арестом тут-же в министерском павильоне. Комитет Государственной Думы превратился в носителя Верховной власти. Меня сейчас же назначили первым комиссаром Временного правительства с поручением поехать в Москву, сделать там официальное сообщение о петроградских событиях и наладить связь с Городской думой, долженствовавшей стать регулирующим центром революционного движения в московской области. Но после этого М. В. Родзянко зазвал меня к себе в кабинет и повел со мной беседу об ужасах революции, которые, несмотря на ее спокойное начало, нас ожидают. Он передал мне собственноручное незапечатанное письмо к городскому голове М. В. Челнокову, который все эти дни оставался при исполнении своих обязанностей в Москве. В этом письме он убеждал Челнокова принять все возможные меры к тому, чтобы Москва не последовала примеру Петрограда. Если революция, писал он, распространится на Москву, а потом и на всю Россию, то «нашу родину ожидают неисчислимые гибельные последствия».

На следующее утро я, при только что возобновленном железнодорожном движении, в почти пустом поезде, приехал в Москву. Телеграмма, посланная Временным правительством о моем приезде, затерялась, на вокзале меня никто не встретил, и я нанял одного из немногих, стоявших у вокзала, извозчиков отвезти меня к зданию Городской думы. Дорогой возница сообщил мне, что московское население бунтует, все стремятся в центр города и что вряд ли нам удастся подъехать к зданию думы. А выехав на Лубянскую площадь, мы увидели, что всё широкое пространство, ведущее на Театральную площадь, густо усеяно народом. Поэтому мы решили подъехать к думе с другой стороны, через Никольскую улицу. Но в конце этой улицы, у Казанского собора, мне пришлось выйти из саней, так как весь проход на Воскресенскую площадь,

к думскому подъезду, был заполнен плотной массой народа. Мои молчаливые попытки пробраться через толпу оказались безуспешными. Они натолкнулись лишь на обычные грубые окрики и иронические замечания, типичные для простонародья: «куды прешь?», или «ишь барин какой: завсегда норовит вперед пролезть». Мне ничего не оставалось, как раскрыть свое инкогнито и объявить, что я член Государственной Думы, только что приехавший из Петрограда с поручением от Временного правительства. Как по мановению волшебной палочки картина изменилась. Раздались восторженные, приветственные крики, моментально образовался в толпе проход, которым я и двинулся, правда, весьма медленно, осаждаемый на каждом шагу вопросами людей, жаждавших услыхать петроградские новости из первоисточника.

Наконец, мне удалось добраться до думы, где в кабинете городского головы я нашел собрание гласных, членов Земского и Городского союзов и других общественных деятелей, изголодавшихся трехдневным отсутствием правильной информации из Петрограда. При взаимных скрещивавшихся вопросах я выяснил, что организованное уличное выступление московского населения началось только сегодня. А когда я передал городскому голове письмо Родзянки, тот, махнув рукой, категорически заявил, что теперь уже поздно. В глазах же его светился революционный энтузиазм. Самый процесс революции и возможность сыграть в нем какую-то видную роль, очевидно, прельщали его.

Мне не пришлось, однако, долго беседовать с моими друзьями. В большом думском зале собрался в это время многолюдный Совет рабочих и крестьянских депутатов, обратившийся ко мне с настоятельной просьбой сделать им доклад о петроградских событиях. После доклада они посадили или, вернее, поставили меня в автомобиль, и я должен был несколько раз вкратце повторить его содержание собравшемуся на ближайших площадях народу. Таким образом вместо намеченной для меня председателем Государственной

Думы роли тормоза, я оказался глашатаем революции. Публика восторженно принимала мои слова и бурно аплодировала. Так создалось впечатление, промелькнувшее потом и в печати, но далеко не правильное, о моем якобы исключительном оптимизме. В конце концов, триумфальное шествие настолько меня измучило, что я стал просить, чтобы меня отпустили домой пообедать. В думе мне заявили, как и несколько дней тому назад в Петрограде, что движение по улицам небезопасно, и дали мне в качестве охраны офицера и юнкера. Последний поместился рядом с шофером и выставил свою винтовку из дверки автомобиля наружу. На мое предложение убрать винтовку в автомобиль он ответил отказом, ссылаясь на то, что ему предписано начальством быть наготове. А между тем вид московских улих, покрытых свежим снегом, обильно выпавшим за ночь и сверкавшим при ярком солнце мириадами разноцветных искр, производил самое умиротворяющее впечатление. Спокойствие было полное, в нашем окраинном районе не чувствовалось ни малейшего признака революции, городовые стояли на своих постах и те из них, которые знали меня в лицо, козыряли, посматривая с удивлением на мой странный выезд.

Возвращаясь после обеда в Городскую думу, я всё-таки упросил моего молодого защитника снять штык с винтовки и убрать всё это в машину. В думе меня ждали члены управы и гласные на совещание, а вечером я отправился обратно в Петроград с сообщением, что в Москве тоже произошла бескровная революция и что через два дня там назначен парад восставших воинских частей. Когда я, однако, приехал в Москву снова в качестве делегата Временного правительства для присутствия на этом параде, причем был на этот раз торжественно встречен на вокзале, выяснилось, что кто-то что-то напутал, и парад состоялся уже накануне. Мне пришлось довольствоваться только восторженным рассказом М. В. Челнокова, на которого особенно сильное впечатление произвело молодцева-

тое прохождение на параде конного жандармского дивизиона. Самая надежная охрана старого режима щеголяла своим присоединением к революционному движению. Здесь-то я и услыхал приведенную мной выше в эпиграфе и сделанную моим коллегой по Коммерческому институту характеристику революции: «Как зрелый плод упала».

В Москве мне было нечего делать, и я вернулся в Петроград с намерением привести в порядок дела, оставшиеся у меня от Государственной Думы. Мой продовольственный проект утратил с падением правительства, против которого был направлен, свою реальность, но начатая организация нескольких высших школ требовала дальнейшей разработки.

В это время в развитии революции происходили кардинальные события. Войска на фронте начали стихийно присоединяться к революционному движению. Повсюду шли митинги и многие солдаты самовольно разошлись по домам. Фронт понемногу отступал. За несколько времени перед этим должность верховного главнокомандующего принял на себя государь, рассчитывая своим присутствием на фронте воодушевить войска и ликвидировать всё учащавшиеся военные неудачи. Великий князь Николай Николаевич был переведен на должность главнокомандующего Кавказским фронтом. Государь находился в ставке, куда к нему и направилась делегация в составе А. И. Гучкова и В. В. Шульгина с требованием отречения от престола. Говорили, что первый из названных делегатов, которого Николай II явно недолюбливал, с особой охотой взялся за это дело. Государь без сопротивления подписал акт отречения за себя и за своего малолетнего сына в пользу брата Михаила Александровича, который не был близок к Императорскому двору, но зато пользовался некоторой популярностью в русской общественности. Рассказывали, что государь потом выражал даже свое удовлетворение по поводу происшедшего, наивно мечтая о том, что он будет жить в Крыму, где много цветов, которые он очень любит. Государы-

ня оставалась всё это время под Петроградом в Царском селе, ухаживая за своими тяжко больными корью дочерьми. Некоторые утверждали, что из-за этой болезни государь не мог уехать из России, подобно Вильгельму II, который в начале германской революции перебрался в Голландию. Мне думается, что государь не помышлял о бегстве; он простодушно думал, что ему и его семье можно будет спокойно жить среди низложившего его народа. Примеры истории, которые говорили о другом, его не пугали или не доходили до его сознания во всей их угрожавшей серьезности. И государыня высказывалась в том смысле, что народ, который их еще недавно так восторженно встречал в Киеве, не может причинить им ничего худого. Действительность показала иное. После отречения, государя перевезли к его семье, где он пребывал под надзором революционной власти, каковой надзор, под влиянием Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, постепенно заострялся, вплоть до перевода в Сибирь и бесчеловечного расстрела всей царской семьи в Екатеринбурге летом 1918 года.

Меня по приезде в Петроград больше всего интересовало Временное правительство, с большинством членов которого я уже давно поддерживал добрые личные и деловые отношения. Но в общем и целом, ни состав его, ни первые шаги его деятельности не произвели на меня благоприятного впечатления. Подтверждалось положение, которое перед этим многократно обсуждалось в моих беседах с М. В. Челноковым и другими, об отсутствии в русской общественности достаточно способных и вышколенных административных деятелей. Сказывалось пресловутое русское безлюдье.

Когда я навестил нового председателя Совета министров Г. Е. Львова в его служебном кабинете, я застал его в каком-то задумчивом и, как мне показалось, даже растерянном настроении. Он довольно безучастно выслушал мой рассказ о поездках в Москву, и на мой вопрос о сложившейся ситуации и о предположе-

ниях на будущее, отделывался вялыми, неопределенными ответами. Выйдя от него, я, еще зараженный царившим вокруг меня революционным пафосом, сейчас же построил себе гипотезу о том, что наш глава правительства подобен гениальному полководцу Кутузову, который, по описанию Толстого, смотрит на развертывающийся перед ним бой с равнодушным, скучающим видом, но в нужный момент оживляется, дает меткое приказание и так ведет свои войска к наибольшему возможному успеху. Наблюдения последующих дней, однако, заставили меня отказаться от этой гипотезы. Уже одно из первых мероприятий, которым кн. Львов, занимавший также должность министра внутренних дел, решил ознаменовать революцию, привело меня (и некоторых других) в смущение. Это мероприятие, на первый взгляд гениальное, подрывало в сущности административный аппарат на всей территории Российского государства. Всем губернаторам было предложено подать в отставку и исполнение их обязанностей возлагалось на председателей губернских земских управ. Князь Львов, как мы уже видели, был общепризнанным лидером земских деятелей и убежденным поклонником принципа земского самоуправления. Но он упустил из виду, что земское и государственное управление по методам резко разнятся одно от другого, и что даже наиболее порядочный и компетентный в своей специальности земец может оказаться негодным губернатором, особенно в бурное время государственного переворота. Так это на самом деле и оказалось. Власть на местах была гибельно расшатана и не могла сопротивляться углублению революции и превращению ее из бескровной в самую жестокую и кровавую.

Для ближайшего заведывания делами Министерства внутренних дел у князя Львова были два заместителя, его бывшие сотрудники по земской работе, оба молодые люди: С. А. Леонтьев и Д. М. Щепкин. С последним я еще в Москве поддерживал близкие отношения. Когда, наблюдая в течение нескольких дней деятельность председателя Совета министров, я при-

шел к убеждению, что он действительно проявляет недопустимую в его положении апатию, я за обедом у Щепкина, в совершенно интимной обстановке высказал ему свои опасения. Дмитрий Митрофанович согласился со мною, но заметил, что Г. Е. Львов за последние дни плохо себя чувствует, и уверил меня, что через короткое время всё придет в полный порядок. Я ушел от моего гостеприимного хозяина мало успокоенным, тем более, что и его первые шаги на высоком посту товарища министра не казались мне удачными.

Как известно, великий князь Михаил Александрович в свою очередь отрекся от предложенного ему престола. Этому отречению предшествовало собранное им совещание революционных лидеров. Характерно, что во время этого совещания наиболее веские и энергичные доводы в пользу принятия престола высказал П. Н. Милюков, которого многие потом, по незнанию этого обстоятельства, обвиняли в низложении династии. Великий князь, однако, принял противоположное решение, которое было подсказано ему Керенским и большинством других участников собрания. После отречения я был в Таврическом дворце в обществе членов Государственной Думы и некоторых министров. Когда мы стали расходиться, кто-то поинтересовался, где находится акт отречения, который мы перед тем рассматривали. Стали искать, но безуспешно. Наконец, кто-то из присутствовавших припомнил, что Д. М. Щепкин, перед своим уходом домой, в свою частную квартиру, положил его себе в карман. На мой вопрос, была ли с акта снята копия и был ли он сфотографирован, я получил отрицательный ответ. Когда думаешь об этом в настоящее время, после столь многого, пережитого нами впоследствии, такие обстоятельства как-то утрачивают свою остроту. Но тогда подобная, хотя и характерная для русской интеллигенции, беззаботность по отношению к государственному акту величайшей важности меня глубоко поразила.

Вторым легкомысленным проявлением со стороны молодого товарища министра показался мне его ответ

украинской делегации, явившейся для переговоров о правах национальных меньшинств. Ответ этот, сухо отрицательный, напоминавший, хотя бы и в отдаленной степени, царский ответ представителям Тверского земства, привел делегацию в состояние возмущения против Временного правительства. Покинув должность товарища министра еще при существовании Временного правительства, Д. М. Щепкин переехал в Москву и сделался иподиаконом у одного из архиереев. Это вполне гармонировало с его незлобивой, милой натурой.

Непонятным для меня и многих других было назначение А. И. Шингарева на должность министра сельского хозяйства. В течение почти десяти лет он специализировался на бюджетных вопросах, сделался присяжным оппонентом министра финансов В. Н. Коковцова, так что всем было ясно, что этот пост должен перейти к нему. В ходе бюджетных прений он не только делал критические замечания, но развивал целую программу финансовой политики, которая должна быть осуществлена с точки зрения государственной справедливости и для блага русского народа. Кому же, как не ему, нужно было после революции передать в этом отношении бразды правления? А между тем ему дали министерство земледелия, в котором он был совершенно неопытен и деятельность в котором он начал крупной, но неудачной реформой, а именно введением хлебной монополии. В момент острых продовольственных затруднений, когда надо было изыскать меры к поднятию инициативы и энергии частных предпринимателей, не разрушая существующей системы, он с теоретической безоглядностью, проистекающей из широкой русской натуры, отважился на переворот в системе сельского хозяйства, который даже в нормальные времена не может обойтись без временного потрясения и обострения продовольственного дела. Люди практики разводили при этом только руками. Его мероприятие осуществилось в жизни только позже, при большевиках, при том в гораздо более радикаль-

ной форме, когда государственная власть взяла на себя монополию не только в области сельского хозяйства, но и во всей экономической деятельности народа.

Еще удивительнее для многих было замещение поста министра финансов таким мало известным общественным деятелем, как киевский сахарозаводчик М. И. Терещенко. Громадное личное богатство этого элегантного молодого человека вряд ли могло служить основанием для передачи ему в заведывание государственных финансов. В глазах же революционно настроенных масс он был, несомненно, раздражающим явлением.

Другой крупный промышленник А. И. Коновалов стал министром торговли и промышленности. Этот имел, по крайней мере, хотя некоторую опытность в качестве члена, хотя и мало активного, Государственной Думы. С другой стороны, он, как было указано выше, вел дружбу с революционными элементами. Но благодаря вялости своего характера он не обещал быть подходящим членом революционного Временного правительства.

Большим разочарованием для меня было назначение министром народного просвещения бывшего ректора Московского университета А. А. Мануилова. Чтобы не быть неправильно понятым, я должен заметить, что это разочарование было чисто объективным. Хотя я и мог иметь некоторые, слабые виды на занятие этого поста в качестве старшего заместителя председателя думской комиссии по народному образованию, в руках которого к этому времени всё больше и больше сосредоточивалось руководство законодательной работой по просвещению, на самом деле я абсолютно не претендовал на это. Ясным доказательством служило мое двухдневное отсутствие в Таврическом дворце, как раз в то время, когда там формировалось Временное правительство. О Мануилове я знал, что он мало заметный общественный деятель, что его ректорство не ознаменовалось ничем выдающимся, и что его благородство и жертвенность в истории с Кас-

со вряд ли могли почитаться достаточным основанием для занятия министерского поста. Незадолго до революции на место тактичного, мудрого государственного деятеля гр. П. Н. Игнатьева, в порядке министерской чехарды, был назначен из-за его крайне правого политического направления харьковский профессор гистологии Кульчицкий, хороший ученый, искусный микроскопист, но в делах государственного управления человек совершенно неопытный и неумелый. Назначение Мануилова мне показалось продолжением той же чехарды, только в обратном направлении.

Столь же неудачными казались, с моей точки зрения, оба товарища министра народного просвещения. Одним из них был Д. Д. Гримм, тонкий юрист, профессор и ректор Петербургского университета, другим — бывший раньше, кажется, школьным инспектором, Герасимов. Оба они были очень хорошими людьми, но не обладали ни достаточной подготовкой в деле государственной техники, ни инициативой, столь необходимой тогда для проведения реформ по их ведомству.

Мне пришлось ознакомить А. А. Мануилова с вопросами, которые рассматривались в последнее время в думской комиссии по народному образованию, а потом он просил меня съездить в Москву для улаживания недоразумений и непорядков, возникших в университетском Совете в связи с революционными событиями. Перед этой командировкой, для получения довольно значительных прогонных денег, я должен был единственный раз в моей жизни использовать свой чин статского советника, незадолго перед тем пожалованный мне за службу в Коммерческом институте. Это произошло в каком-то парадоксальном порядке, без получения мною предварительных, младших чинов. Недоразумение в университете я уладил без больших затруднений, но во время этой поездки у меня обострилась забота о реформах и мероприятиях, начатых в думской комиссии по народному образованию, осуществление которых я не считал гарантированным при тогдашнем возглавлении министерства. Поэтому я

спроектировал организацию особых комиссий, о которых буду говорить несколько дальше.

Чтобы пополнить галерею силуэтов членов Временного правительства, я должен упомянуть о министре культа, т. е. об оберпрокуроре Святейшего Синода. Делаю это в связи с Министерством народного просвещения, так как в иностранных государствах оба эти ведомства сливаются вместе, что имеет большое положительное значение. При таком всеобщем обслуживании духовных потребностей народа одним ведомством не может быть той разноголосицы и даже враждебности, которые наблюдались у нас между светскими и духовными школами. Оберпрокурором во Временном правительстве оказался В. Н. Львов, член Государственной Думы, националист, правда, большой знаток церковных дел, но человек сам по себе несколько странный и неуравновешенный, что он доказал, перейдя сначала из право настроенной фракции в состав революционного правительства, а впоследствии как-то легко вошедши в контакт с большевиками.

Самую шумную и суетливую фигуру в числе членов Временного правительства представлял собой Н. В. Некрасов, министр путей сообщения. Я не берусь судить о характере его деятельности в этой, для меня совершенно чуждой области. Но по словам специалистов, с которыми мне пришлось беседовать, он в немалой мере посодействовал наблюдавшейся в то время разрухе транспорта.

Весьма бойко держал себя и новый министр юстиции А. Ф. Керенский, вошедший в состав Временного правительства независимо от воли его партии, решившей воздержаться от участия в буржуазном правительстве. В составе этого правительства он был единственным членом революционной партии, что позволяло ему в большей мере, чем иным, идти в ногу с последовательно углублявшейся революцией, а в конце концов опередить всех и сделаться премьер-министром. Исходя из вышеприведенной характеристики его, как депутата, я не возлагал на него больших надежд в

смысле положительного государственного строительства.

Деятельность военного ведомства, с самого начала подорванная приказом № 1, изданным Советом рабочих и крестьянских депутатов, не могла успешно развиваться, даже под руководством такого знатока дела, каким был А. И. Гучков.

Силуэт государственного контролера И. В. Годнева, который мог вложить в работу Временного правительства лишь весьма скромную лепту, был очерчен выше.

Членом нового правительства, полностью соответствовавшим своему назначению, казался мне министр иностранных дел П. Н. Милюков. Солидный историк, опытный журналист, многолетний лидер большой политической партии, человек, всем своим существом стоявший в центре государственных интересов, прекрасно знакомый с заграничной общественной жизнью и владевший иностранными языками, наконец, член Государственной Думы, который занял в ней, в качестве вдохновителя прогрессивного блока, одно из самых влиятельных мест, он был как бы естественно предназначен для несения возложенных на него обязанностей.

Достойным кандидатом на министерский пост представлялся мне другой видный член нашей партии В. А. Маклаков. Но он с адвокатской предусмотрительностью избрал себе благую часть и получил место посла в Париже, где мне пришлось навестить его в роскошной обстановке посольского дворца в то время, когда от Временного правительства уже не осталось и следа.

Из всего этого видно, что крупное ядро первоначального состава Временного правительства слагалось из кадетов и идеологически близких к ним людей. На левом крыле его, одиноко, стояла фигура социалиста-революционера Керенского, на правом были: октябристы Гучков и Годнев, а также националист Львов. В этом составе правительство работало до середины лета.

3-го июля в Петрограде вспыхнуло большевистское восстание, которое было на этот раз подавлено. Но результатом его была радикальная смена правительственного персонала с возглавлением его Керенским и с вхождением в него нескольких представителей социалистических партий. Это правительство Керенского казалось по внешности более энергичным и оживленным, но в смысле творческих талантов и работоспособности оно было еще слабее, чем предшествующее. Должность военного министра взял на себя глава правительства Керенский, который до того времени совершенно не интересовался военными делами, а наследником Милюкова по министерству иностранных дел неожиданно оказался Терещенко, не увенчавший себя славой на посту министра финансов, а в иностранных делах еще менее компетентный. Еще одна частичная смена министров произошла незадолго перед большевистским переворотом, когда в состав правительства были привлечены второстепенные общественные деятели, преимущественно москвичи, как например, Н. М. Кишкин, П. П. Юренев, П. А. Бурышкин.

Слабость Временного правительства в значительной степени зависела от существовавшего тогда двоевластия. Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, собиравшийся в Таврическом дворце под председательством члена Государственной Думы, социал-демократа меньшевика Чхеидзе, опираясь на реальную силу солдат и рабочих, постоянно выставлял свои требования и тормозил деятельность правительства. Такие мероприятия, как военный приказ № 1, послуживший к разложению русской армии, возникали в недрах Совета, а подготовка путча 3-го июля происходила при его благосклонном к этому отношении.

Дальнейшей основной неудачей Временного правительства была задержка с созывом Учредительного Собрания. Всем здравомыслящим людям было ясно, что при указанном двоевластии, при слабости Комитета членов Государственной Думы, который явился лишь номинальным носителем верховной власти, при

усилившейся агитации со стороны большевиков в пользу ниспровержения существующего государственного строя, спокойствие в стране долго продолжаться не может. А между тем правительство назначило многолюдную комиссию, в которую вошли и лучшие профессорские силы, для разработки положения о выборах в Учредительное Собрание. Сбылась, к сожалению, немецкая поговорка: «Fünfundvierzig Professoren! Vaterland, du bist verloren!». Председателем комиссии состоял мой добрый знакомый, член первой Государственной Думы, подписавший Выборгское воззвание, Ф. Ф. Кокошкин, прекрасный юрист и добрейшей души человек. Однажды я повел с ним серьезный разговор о том, нельзя ли ускорить работу комиссии и приблизить время созыва Учредительного Собрания. Он с величайшим воодушевлением начал мне рассказывать о той интересной работе, которая ведется в комиссии, о том, что комиссия работает, не покладая рук, что все члены ее проникнуты важностью возложенной на них задачи и собираются выработать такое положение, которое по своей юридической тонкости и логичности явится образцом для целого света. Для такой работы нужно, конечно, время. Это было также проявлением широкой русской натуры. Пока комиссия собиралась облагодетельствовать весь мир, созыв Учредительного Собрания в России становился всё более и более проблематичным.

Для успокоительного воздействия на общественное мнение, нетерпеливо ожидавшее созыва Учредительного Собрания, правительством были предприняты две главные меры. Во-первых, было организовано в Москве, в Большом театре, при исключительно торжественной обстановке, Государственное Совещание, на которое были приглашены представители всей русской общественности. На сцене стоял стол для президиума, за которым сидели члены правительства. Керенский явился в сопровождении двух офицеров, сухопутного и морского, которые стояли за его председательским креслом. Это вызвало большое недо-

вольство со стороны присутствовавшего на собрании офицерства, припоминавшего, что даже в присутствии царя офицерам позволялось сидеть, и негодовавшего на то, что при демократическом режиме для почетных стражей премьер-министра не были поставлены стулья. Если не ошибаюсь, в перерыве это довели до его сведения, и на вторую половину заседания нетактичность была исправлена.

Собрание открылось длинной речью А. Ф. Керенского, в которой он обрисовал существовавшее положение. Его речь изобиловала, как обычно, цветистыми фразами и истерическими выпадами, которые с бурным восторгом принимались частью публики, особенно молодежью, сосредоточенной в верхних ярусах театра. В одном месте речи он воскликнул: «В случае неудачи я растопчу розы души моей». На это последовала реплика с галерки, выкрикнутая пронзительным женским голосом: «Не надо», которая была покрыта аплодисментами и громким смехом. В общем речь Керенского не оправдала возлагавшихся на нее надежд. Начатая в приподнятом тоне, она по мере утомления оратора теряла в своей яркости, была закончена бледными фразами и не произвела на серьезную часть слушателей надлежащего впечатления.

Зато другая большая речь, произнесенная на совещании верховным главнокомандующим, генералом Л. Г. Корниловым, оказалась весьма многозначительной. В ней были обрисованы грозные симптомы разложения армии и страны и выставлено требование крепкой власти, способной оздоровить общественную атмосферу. На почве этой речи произошло потом соглашение между Керенским и Корниловым относительно ликвидации государственного двоевластия и ареста Совета рабочих депутатов. Для этой цели Корнилов должен был двинуть в Петроград кавалерийский корпус. Но когда это передвижение началось, Керенский, как говорили, в значительной степени под влиянием Некрасова, изменил свое решение и в воззвании к населению, начинавшемся обращением «всем, всем,

всем», объявил Корнилова изменником и отрешил его от должности верховного главнокомандующего, приняв эту должность на себя. Роль неудачного посредника между двумя К исполнил В. Н. Львов, только испортивший всё и посодействовавший трагической развязке дела. Так попытка умиротворить общественность кончилась еще большим ее возбуждением и повела к начальственной междоусобице, в результате которой Корнилов совместно с ген. Алексеевым и атаманом Калединым, возглавил впоследствии Белое движение.

Второй такого рода попыткой было создание Предпарламента, в состав которого были правительством приглашены многие члены переставшей существовать Государственной Думы и другие общественные деятели. Собирался Предпарламент в Мариинском дворце, в котором раньше помещался Государственный Совет. В нем произносились бесконечные речи, не приносившие, однако, практических результатов. Интереснее были кулуарные разговоры, из которых можно было узнать о текущих событиях и о политических настроениях. Я был в это время по уши погружен в большую работу культурного характера и потому лишь изредка посещал заседания Предпарламента. Да и по существу всё, что творилось вокруг меня в политических сферах, мало меня привлекало, а еще менее радовало. Часы бежали, дорогое время уходило на бесплодные разговоры и прения, готовился проект Учредительного Собрания, долженствовавший удивить мир своим совершенством. А между тем другая сторона принимала свои меры, реальные и практические, к подкопу под это Учредительное Собрание, к ликвидации всего того, о чем русская широкая душа мечтала в течение многих десятилетий. Наконец, катастрофа разразилась.

Утром 25-го октября, приблизившись к Мариинскому дворцу, я увидел, что он окружен моряками, стоявшими тесной цепью в один ряд. Присутствие «красы и гордости революции», как их потом окрестил

Троцкий, не предвещало ничего доброго. Я подошел к одному из матросов, который показался мне на вид более добродушным, и спросил, нельзя ли мне пройти в здание дворца на заседание Предпарламента.

— Ну что же, — ответил он мне, — туда-то мы вас пропустим, только обратно вы вряд ли выйдете.

Для меня всё стало ясно, и я в шутливом тоне заметил, что, пожалуй, лучше идти домой. Мой собеседник и соседние с ним товарищи подтвердили, что в теплой комнате теперь лучше, чем на уличном холоде, и я двинулся вспять, избегнув таким образом ареста, а может быть и смерти, что стало уделом моих коллег, собравшихся в Мариинском дворце еще до его оцепления. Начался большевистский переворот. Некоторые из членов Временного правительства были захвачены, другие скрылись в подполье, третьи, в том числе и Керенский, бежали заграницу. Страница русской истории снова резко перевернулась.

Всё лето 1917 года, под грохот бурлившей в России революции, я, живя большею частью в Петрограде, усердно занимался мирным строительством в области высшего образования. После прекращения деятельности Государственной Думы я задумался над тем, как поступить с делами, оставшимися в портфеле комиссии по народному образованию. Это были главным образом проекты создания новых и реформирования старых высших учебных заведений, а также некоторые вопросы, относившиеся к средней и низшей школе. Результатом моих размышлений был проект учреждения при Министерстве народного просвещения трех комиссий, по высшему, среднему и низшему образованию, которые занялись бы рассмотрением дел, оставшихся в Государственной Думе. Эти комиссии предполагалось составить из представителей министерства и из практических деятелей в соответствующих просветительных областях. Некоторые из петроградских профессоров, которым были не чужды интересы общественной жизни и к которым я обратился за советом, горячо одобрили мое начинание. Между ними были:

непременный секретарь Академии Наук С. Ф. Ольденбург, академик В. И. Вернадский, проф. И. М. Гревс, проф. М. Я. Пергамент. Министр А. А. Мануилов также приветствовал мысль об учреждении комиссий и немедленно по прочтении моей докладной записки назначил меня председателем Комиссии по реформе высших школ. Что касается двух других комиссий, то осуществление их задержалось, главным образом из-за отсутствия подходящего персонала. Лишь впоследствии был образован Государственный комитет по народному образованию, довольно сложный по своему составу, которому были переданы дела средней и низшей школы. Этот комитет, однако, не успел в достаточной степени развернуть свою деятельность.

Работа же Комиссии по реформе высших учебных заведений пошла быстрым темпом. Ее канцелярия была оборудована уже через три недели после образования Временного правительства, т. е. 21 марта, а первое заседание состоялось 27 марта.

В состав комиссии, кроме вышеупомянутых четырех ученых, с которыми я совещался относительно ее организации, вошли: министр и два его товарища, а также представители департаментов народного просвещения и профессионального образования и представитель учебного отдела Министерства торговли и промышленности. Впоследствии этот состав был расширен включением в комиссию представителя младших преподавателей петроградских высших школ, делегатов Академического союза, а по сформировании Государственного комитета, делегата от этого последнего. Таким образом учреждению был придан характер профессионального представительства. Справедливость требует отметить, что в расширенном своем составе комиссия много утратила в смысле работоспособности. Вместо прежней сговоренности, господствовавшей в ней, пока она состояла из лиц исключительно компетентных в вопросах научных и академических, которые с двух слов понимали друг друга, начались длинные речи программного характера, а также всевозможные

недоуменные вопросы молодых, малоопытных членов комиссии, которым приходилось давать пространные разъяснения. Но тем не менее работа комиссии не осложнялась партийно-политическими разногласиями, прения велись в духе коллегиальной благожелательности и вообще за время существования комиссии в ней царила неизменно приятная общественная атмосфера. Оба министра народного просвещения, сначала А. А. Мануилов, а затем сменивший его после 3-го июля С. Ф. Ольденбург, неоднократно выражали свое удовольствие от посещения комиссии, где они укрывались, как в тихой пристани, от политической бури, бушевавшей вокруг них в Министерстве и в Совете министров.

Приятной атмосфере, царившей в комиссии, немало содействовала и уютность ее помещения. Она занимала небольшую квартирку на Литейном проспекте, которая раньше принадлежала какому-то, кажется, синодальному учреждению. Квартира состояла только из двух комнат, но очень красиво обставленных: кабинета председателя и обширного зала для заседаний, в котором помещалась также канцелярия. Здесь находился прекрасный овальный стол, покрытый темнозеленой скатертью, вокруг которого были расставлены удобные кресла. По особому ходатайству удалось раздобыть для нужд комиссии некоторый запас чаю и сахару. Такое угощение, при тогдашних трудностях в продовольственном отношении, много способствовало привлекательности заседаний.

Чрезвычайно важным обстоятельством, содействовавшим успешности работы комиссии, был исполнительный аппарат. При организации его я обратился к трехчленному секретариату думской Комиссии по народному образованию, с которым у меня всё время продолжались наилучшие отношения. Томившиеся невольной бездеятельностью, члены секретариата живо откликнулись на мой призыв. Все трое были симпатичные люди, усердные и толковые работники, хорошо знавшие дело. К сожалению, барон Рооп должен был

через некоторое время уехать к себе на юг. Но оставшиеся двое продолжали, хотя и с некоторым напряжением, успешно справляться с возложенными на них обязанностями, не желая осложнять свой налаженный аппарат привлечением нового, неопытного лица.

А. А. Мануилов регулярно посещал заседания комиссии, но подавленный, повидимому, непривычной для него тяжестью политических осложнений, заставивших его оставить впоследствии пост министра, относился к ее работам довольно апатично. Вне заседаний комиссии мне приходилось иметь дело больше с товарищем министра, заведывавшим высшей школой, Д. Д. Гриммом, который и подписывал обыкновенно от имени министерства законопроекты, выработанные комиссией. После этого проекты вносились на формальное утверждение в Совет министров, где и получали силу законов. Но и Давид Давидович, переобремененный председательскими обязанностями по так называемому малому министерскому совету, т. е. по совещанию товарищей министров различных ведомств, не мог оказывать достаточного внимания моей комиссии. Так что моральная ответственность за реформирование высших учебных заведений лежала почти исключительно на мне.

Второй министр, С. Ф. Ольденбург, человек гораздо более подвижной и отзывчивый, чем Мануилов, но несший на себе, в качестве коренного петроградского обывателя, кроме министерских, и различные другие общественные обязанности, тоже не мог достаточно вникать в дела комиссии и оказывал ей, подобно своему предшественнику, полное доверие. Товарищ его В. И. Вернадский, мой добрый приятель, глубокомысленный ученый, но страдавший характерной для профессоров рассеянностью в делах практической жизни, следовал в отношении к комиссии в полной мере примеру своего шефа. Заседания комиссии охотно посещала и С. В. Панина, занимавшая в то время должность второго товарища министра. Эта выдающаяся общественная деятельница живо интересовалась работой комиссии,

задачи которой, однако, не находились в непосредственной связи с отделом, которым она ведала в министерстве.

Работа комиссии по реформе высшей школы, как мной было отмечено уже раньше, протекала весьма интенсивно. В течение короткого, лишь семимесячного периода своего существования она имела 64 заседания и подвергла обсуждению 61 вопрос, многие из которых, как, например, проекты создания новых высших учебных заведений или реформы университетского устава, были делами большой сложности и первостепенной важности. Правда, многие из этих дел были до известной степени подготовлены соответствующими комиссиями Государственной Думы, но всё-таки разработка за месяц примерно девяти законопроектов, т. е. по два законопроекта в неделю, было явлением, в законодательной практике рекордным.

Из числа наиболее важных мероприятий, разработанных комиссией и получивших потом реальное осуществление, могут быть отмечены следующие: учреждение университетов в Ростове-на-Дону, в Иркутске и в Тифлисе; далее расширение Саратовского университета путем учреждения в нем историко-филологического и физико-математического факультетов; организация Киевского географического института, Екатеринославских высших женских курсов; реформа педагогических институтов в Москве, Петрограде и Самаре; преобразование Ярославского Демидовского лицея в университет и т. д.

Затем, были подготовлены материалы для разрешения вопросов: об учреждении Статистического института в Петрограде и Таврического института в Симферополе (впоследствии Таврического университета), о реформе Петербургского и Московского лицеев в смысле освобождения их от принципа привилегированности, о реформе Петроградских высших курсов Лесгафта, Нежинского института имени Безбородко, Московского Лазаревского института восточных языков, Выс-

ших географических курсов в Петрограде, Высших женских курсов А. В. Жекулиной в Киеве и т. д.

При таком массовом строительстве было важно подумать о том, чтобы школы возникали не случайно, не исключительно в соответствии с местными интересами или по ходатайству обывателей того или иного города. Необходимо было придать этому строительству планомерность и общегосударственную целесообразность. Поэтому комиссия занялась разработкой примерной сети высших учебных заведений на всей территории России. При этом был поставлен вопрос, не следует ли все высшие школы сосредоточить в одном ведомстве просвещения. До того времени, как было указано выше, некоторые из них находились в других ведомствах, где пользовались более либеральным к себе отношением. При наступлении в России демократического режима такая предосторожность казалась излишней. В общем выработка сети высших школ была делом большого масштаба, которое комиссии, при краткости ее существования, закончить не удалось.

Из других более общих вопросов можно отметить вопросы об усовершенствовании фармацевтического и зубоврачебного образования, на постановку которого слышалось много нареканий и которому комиссия, при содействии соответствующих специалистов, решила придать более рациональную организацию.

Издавна больным был также вопрос о материальном положении преподавательского персонала высших школ. В начале нашего столетия существовала еще так называемая гонорарная система, по которой, кроме скромного жалованья (ординарным профессорам 3.000 рублей в год, экстраординарным 2.400 руб.), выплачивался также гонорар, взимавшийся со студентов по числу записанных ими для слушания лекций. Система эта долго держалась, несмотря на свою явную несправедливость. Так, профессор, читавший на самом многолюдном первом курсе юридического факультета обязательный для всех юристов предмет, например,

политическую экономию, зарабатывал в Московском университете на гонораре до 12-15 тысяч рублей в год, тогда как гораздо более выдающийся ученый, часто с мировым именем, но преподававший какой-нибудь специальный предмет на старших курсах и имевший незначительное количество слушателей, должен был удовлетворяться гонораром в несколько сотен рублей. Не менее разительной была разница гонораров у приват-доцентов, которым никакого жалованья не выплачивалось. Такой гонорар мог быть повышен не только научными достоинствами и талантливостью изложения лекций, но и различными демагогическими приемами, которые особенно привлекали студентов. Уже Государственная Дума покончила с гонорарной системой, увеличив при этом оклады профессорского жалованья и создав для всех университетов должности платных доцентов, которые в прежнее время имелись лишь в Варшавском университете. На долю моей комиссии выпала задача дальнейшего урегулирования этого дела в интересах всех категорий преподавательского персонала, от профессоров до ассистентов.

Одним из самых существенных достижений комиссии было завершение работ по реформе университетского устава. Из-за срочности дела комиссия решила не создавать целиком новый устав, а издать ряд законодательных новелл, которые устранили бы из устава 1884 г. все одиозные пункты, противоречившие принципу университетской автономии. Одна из этих новелл освобождала университеты от опеки со стороны попечителей учебных округов, причем функции попечителей передавались отчасти выборным органам университета, отчасти непосредственно министерству. Должности попечителей этим, конечно, не упразднялись, так как на них попрежнему лежала их главная задача, а именно забота о среднем и низшем образовании. Вторая новелла обеспечивала самостоятельность выборных органов управления университетами. При этом, однако, во избежание каких-либо злоупотреблений, вроде кумовства и т. п., а также в целях обеспече-

ния общегосударственных интересов, профессора, избранные в факультетском заседании и потом в Совете университета, подлежали утверждению со стороны министерства. Целью третьей новеллы было примирение противоречивых интересов полноправной профессуры и бесправных «младших преподавателей». Это противоречие было с давних времен темным пятном на фоне университетской жизни. Комиссия решила устранить, или, по крайней мере, смягчить его привлечением представителей приват-доцентуры и ассистентуры в факультетские и советские заседания наравне с профессорами. Наконец, четвертая новелла касалась самых младших членов академической семьи. Она предоставляла студентам право организации студенческих обществ и союзов, какового права наша университетская молодежь долго и упорно, но бесплодно добивалась.

Когда комиссией были изготовлены эти проекты, я обратился к министру с просьбой созвать Всероссийский съезд, официально названный совещанием академических деятелей, которому и предложить наши новеллы для предварительного ознакомления и возможных поправок. Таким образом наше законодательное творчество носило бы широкий общественный характер, а министерство было бы гарантировано в будущем от излишней критики и от упрека в бюрократизме. Состав съезда предполагался следующий: от каждого высшего учебного заведения ректор, представитель профессуры по ее избранию и представитель младших преподавателей, выбранный ими из своей среды. Путем такого совместного совещания всех групп преподавателей казалось возможным добиться ликвидации существовавших между ними недоразумений и подготовить гладкий путь для дальнейшего развития академической жизни.

Съезд состоялся в июне 1917 года и явился полным триумфом для организовавшей его комиссии. Правда, во время открытия съезда я пережил неприятное впечатление, когда министр А. А. Мануилов в своей приветственной речи ни словом не упомянул о деятельно-

сти комиссии и представил съезд как бы результатом творчества самого министерства. Но члены съезда знали историю его созыва, а когда мне пришлось сделать несколько фактических поправок по существу вопросов, о которых говорил министр, то ситуация для всех стала совершенно ясной, и работа съезда стройно двинулась по рельсам, положенным для нее комиссией. Молодежь, приехавшая на съезд в приподнятом настроении, с готовностью сразиться за свои интересы со старшими коллегами, скоро убедилась, что съезд создан в значительной степени с целью наделения ее новыми правами. Многие приветствовали меня по этому поводу, подчеркивая, что я, по своей сравнительной молодости, не успел еще заразиться профессорскими предрассудками и сохранил доброе отношение к «сословию младших преподавателей». На это пришлось отвечать, что мной руководили не симпатии к тем или другим академическим кругам, но чувство объективности и справедливости, с одной стороны, а с другой, желание наладить в академической среде взаимоотношения, полные взаимного доверия и искреннего уважения.

Работа съезда в обоих его секциях, научной и хозяйственной, протекала в общем в атмосфере дружественной коллегиальности и закончилась весьма положительными результатами. Наши новеллы были приняты без существенных изменений, распространены и на специальные высшие учебные заведения и вскоре в законодательном порядке осуществлены в жизни. Кроме того, были выработаны дальнейшие пожелания, которыми должны были впоследствии заняться министерство и комиссия по реформе высшей школы. В заключительном заседании съезда комиссия получила полное моральное удовлетворение от речей его участников, горячо благодаривших ее за проделанную работу по созыву съезда и вообще за всю ее деятельность.

С наступлением большевистского переворота деятельность комиссии автоматически прекратилась, но

некоторые проекты, переданные ею в министерство, как, например, учреждение Иркутского университета, были осуществлены потом заменившим министерство Наркомпросом. Я же покинул Петроград для того, чтобы вплотную заняться организацией своей кафедры при Московском университете, а также оборудованием новой зоологической лаборатории.

Так в короткий промежуток времени между двумя революционными взрывами, в атмосфере, насыщенной непрестанно бурлившими политическими страстями, тихо и спокойно, как будто под защитой монастырских стен, работало скромное культурное учреждение, оставившее после себя значительный след в области академического творчества.

В моей жизни мне неоднократно приходилось изолироваться от больших дел и событий, замыкаться как бы в раковину, правда, достаточно просторную, и заниматься специальной работой, в которую я уходил всей душой и которую пестовал, как любимое детище. Так было с Обществом попечения об учащихся детях, с Комиссией по народному образованию в Государственной Думе, с только что описанной Комиссией по реформе высших учебных заведений, а потом с Научной комиссией в Москве, с Народным университетом в Праге и т. д. В этом заключался некий симбиоз между соборностью и отшельничеством, т. е. готовностью плыть по бурному течению общественной жизни и в то же время стремлением отвоевать себе в этой жизни уединенный уголок для скромной, но строго систематической, а потому и производительной работы. В такой работе я ощущал залог большого морального удовлетворения.

IX. ПЕРВЫЕ ГОДЫ БОЛЬШЕВИСТСКОГО РЕЖИМА

«У нас слава Богу нет парламента».

Реплика Коковцова в заседании 4-й Государственной Думы.

«Неограниченная свобода, которую исповедует госпожа Рузвельт, не может существовать в моей стране».

Слова Вышинского на общем собрании Объединенных Наций в феврале 1946 года.

Объяснять нарождение большевизма так же, как и взрыв революции, действием одной причины, исключительным влиянием отдельных лиц или каких-либо общественных группировок, совершенно неправильно. Его появление в России, а затем распространение почти по всему миру в порядке завоевания, оккупации или организации пятых колонн есть сложнейшее историко-социальное явление, над исследованием которого придется немало потрудиться будущим ученым.

Но наиболее существенными толчками к захвату власти большевиками были, как мне кажется, следующие два. Во-первых, чрезвычайное обострение продовольственного положения, с которым Временное правительство не могло справиться и которое в октябре 1917 года дошло до того, что даже картофель, этот, за недостатком муки, основной предмет питания бедной части городского населения, стал редкостью на рынках.

Другим важным обстоятельством явилась пропаганда, которая большевиками велась чрезвычайно на-

стойчиво и искусно. Временное же правительство, упорно придерживаясь азбуки либерализма, не решалось предпринять каких-либо мер к ограничению свободы слова. Оно как будто забывало, что элемент насилия органически связан не только с войной, но и с революцией. Лишь после долгого времени, в течение которого Ленин ежедневно вдалбливал с балкона особняка Кшесинской в головы петроградского населения преимущества большевистского управления и обещал всевозможные блага жизни, т. е. открыто проповедывал ниспровержение существовавшего тогда государственного строя, был дан приказ об его аресте. Но об осуществлении этого приказа мало кто заботился, и Ленин успешно скрывался, не покидая столицы. Однажды группа членов Государственной Думы сообщила Керенскому, что Ленин в данный момент находился в здании Мариинского театра, где его легко было задержать. Но Керенский отказался сделать это.

В среде крестьянского населения коммунистическая пропаганда находила живой отклик, особенно благодаря лозунгу, гласившему, что большевики дадут крестьянам больше, чем какая-либо другая политическая партия.

Мне лично, после вышеописанного разговора с матросами, окружавшими Мариинский дворец, не оставалось ничего иного, как сдать дела моей комиссии соответствующим чиновникам Министерства народного просвещения в расчете, что таким образом они сохранятся в течение короткого, как тогда казалось, времени, до восстановления нормального порядка, а самому уехать домой в Москву.

Общественное настроение в Москве, где большевики овладели уже государственными и городскими учреждениями, было приподнятым, но сравнительно спокойным. Господствовала уверенность, что большевистский переворот явится лишь коротким инцидентом в общей истории революции. Обычный для москвичей скептицизм по отношению к Петрограду сказался и в утверждении многих, что если большевистская власть

в северной столице, пропитанной инородными элементами, и продержится еще некоторое время, то в традиционно русской Москве она будет ликвидирована очень быстро. В качестве средств для такой ликвидации рассматривалось вооруженное восстание и забастовки чиновников и городских служащих. Но в каждом почти учреждении оказались заранее подготовленные штрейкбрехеры, игравшие такую же роль, какая по отношению к иностранным государствам проводится так называемыми пятыми колоннами. Благодаря этим лицам, а также суровым мерам, принятым большевистской властью, забастовки одна за другой кончались неудачей. К вооруженному же восстанию, кроме основного его кадра, юнкеров, примкнула лишь ничтожная часть офицерства, и оно было быстро сокрушено подавляющей массой большевистски настроенной солдатни. Позднею осенью вся прежняя общественная Москва собралась в обширный храм Большого Вознесения на Никитской. После трогательного обряда отпевания, многочисленные гробы жертв восстания были в торжественном шествии, в сопровождении несметной толпы народа перенесены на кладбище. Большевики не препятствовали внушительной демонстрации, но это было последнее свободное проявление общественности во всемосковском масштабе.

Иллюзии московского населения сильно увяли, но не отцвели окончательно. Многие надеялись на то, что Учредительное Собрание введет российскую государственную жизнь в правильное русло. Большевики, со свойственной им беззастенчивой демагогией, поддерживали этот лозунг. Овладев московскими газетами, они напечатали всюду на первой странице громадными буквами: «Государственная власть перешла к большевикам — открытие Учредительного Собрания обеспечено». Конечно, это не помешало им через короткий промежуток времени разогнать это Собрание силой.

Я помню, как наш Сущевский районный комитет партии народной свободы устроил панихиду по убитым в Петрограде А. И. Шингареве и Ф. Ф. Кокошкине.

После панихиды состоялся многолюдный митинг, на котором я выступил в качестве докладчика. Мои заключительные слова, что два мученика, может быть, явятся, как белые невинные голуби, искупительной жертвой для спасения русского народа, нашли всеобщее сочувствие. Лишь один седовласый слушатель заявил мне по окончании собрания, что теперь уже поздно возлагать на что-либо надежды; всё пошло прахом.

Легкомысленная самоуверенность московских обывателей не оправдалась. Большевики не только овладели Москвой, но сделали ее даже столицей коммунистического государства. Когда Комиссариат народного просвещения переехал в Москву, заместитель комиссара, ведавший делами высшей школы, М. Н. Покровский организовал совещательный орган из представителей различных общественных течений, в том числе и студентов, для обсуждения второстепенных вопросов академической жизни. Будучи приглашен к участию в работах этой комиссии, я не счел себя в праве уклониться от этого, имея в виду, что в Государственной Думе социал-демократическая фракция, в том числе и большевистская ее часть, часто поддерживала мои либеральные предложения в школьном деле. Но комиссия работала весьма вяло, и существование ее было непродолжительным.

Лето 1918 года я с семьей провел на даче приблизительно в 100 верстах от Москвы, вблизи ст. Подсолнечная, Брестской ж. д. Жизнь там была сравнительно спокойная. Население было запугано революционными событиями и крутыми мерами советской власти. Даже известие об убийстве царской семьи не вызвало особого возбуждения в крестьянской среде. Мужики дрожали за свое существование, но, с другой стороны, они испытывали и удовлетворение от принижения господ — буржуазной части населения. В виду продовольственных затруднений нам приходилось ходить по деревням за покупками. Очень часто надо было выпрашивать у крестьян скопленные ими в значительном

количестве продукты сельского хозяйства, подвергаясь при этом всякого рода насмешкам и издевательствам. Наряду с рабочими и крестьяне почувствовали себя господами положения. В этом заключался один из моментов успеха большевистской революции. Господство крестьян и рабочих продолжалось, однако, не долго.

При моих регулярных деловых поездках в Москву я наблюдал всё растущее беспокойство в прежних общественных кругах. Оно достигло апогея осенью, ко времени нашего возвращения с дачи. По всей Москве поползли слухи о массовых арестах и о бегстве многих видных общественных деятелей на юг, под защиту Белой армии. Передо мной также встал вопрос о бегстве, но моя привязанность к Москве и к только что вновь обретенному университету была так сильна, что я решил не двигаться с места. В этом решении меня поддерживала также надежда, что полное отрешение от политической деятельности и углубление исключительно в научную жизнь гарантируют меня от каких-либо преследований.

Но волна арестов, поднимаясь всё выше, захлестнула, наконец, и меня. Однажды, в середине сентября, около 4 часов ночи, раздался звонок и оглушительный стук в дверь нашей квартиры. Прислуг в это время у нас уже не было. Я отворил дверь, и в переднюю ворвался небольшого роста чекист в сопровождении двух красноармейцев с винтовками. Третий остался на страже за дверью. Молодой чекист, еще не привыкший к своей роли, взволнованный чуть ли не больше, чем я, вручил мне ордер на обыск и арест. При первом, беглом взгляде на ордер всё мое существо пронизалось чувством молниеносной радости. На ордере стояло имя моего соседа Вл. И. Лемуса, про которого я знал, что он скрывается в Вологодской губернии среди своих друзей, специалистов по молочному делу. Итак, произошла ошибка, раскрытие которой никому не повредит. Но радость исчезла также быстро, как потухает молния. Когда я обратил внимание чекиста на то, что

ордер относится не ко мне, он дрожащими руками покопался в своем портфеле и предъявил ордер на мое имя. Начался длительный обыск в квартире, во время которого чекист, поняв, что он попал не в страшное гнездо контрреволюционеров, успокоился. Увидев в буфете некоторые запасы продовольствия и варенья, он ограничился тем, что в тоне добродушного упрека заметил: «Ах, буржуи, буржуи!» Лишь найдя в вещах жены красивую кожаную коробочку с набором иголок и ниток, товара в то время остро дефицитного, он быство сунул ее в портфель. Очевидно, в параллель с золотым сердцем Дзержинского, он обладал нежной душой и хотел порадовать подарком милое ему существо.

Особое внимание было, конечно, посвящено моему письменному столу. Было забрано несколько бумаг, в том числе моя научная переписка с заграницей. Изъятие этой переписки казалось мне благоприятным обстоятельством, способным в тогдашнее, еще идиллическое время большевистского властвования облегчить мою участь. По нынешним временам это было бы несомненным поводом для страшного обвинения в шпионаже. Но трагическим для меня был захват запечатанного пакета, переданного мне на хранение московским отделением Комитета членов Государственной Думы. В нем содержались копии писем, полученных Комитетом из разных мест России в ответ на рассылавшиеся брошюры патриотического содержания. Текст некоторых писем был, повидимому, крайне неприятен большевикам.

По окончании обыска, когда мне было приказано приготовиться к отходу, я, прощаясь с семьей, направился в соседнюю комнату, где только что проснулся мой 13-летний сын. Чекист запальчиво воспрепятствовал этому. Тогда один из красноармейцев вступился за меня.

— Товарищ комиссар, — заявил он с наивным доброжелательством, — ведь на смерть ведете человека; дайте ему хоть с сынком то попрощаться.

Разрешение мне было дано.

По пути к месту заключения комиссар снова пришел в благодушное настроение и начал выговаривать мне, как это я во-время не скрылся подобно тому, как он и его единомышленники прятались от полицейской власти при царском режиме.

Местом моего заключения оказалась Сущевская районная чрезвычайная комиссия, занимавшая обширный дом Дворянского приюта. В комнате, куда меня ввели и где нужно было спать на полу, без каких бы то ни было постельных принадлежностей, оказалось несколько знакомых мне соседей. Они сообщили мне, что мы попали в страшное место. Начальник районной Чрезвычайки, латыш Цалит, проявляет по временам кровожадные наклонности. То стреляет ворон в большом приютском саду, то собственноручно расстреливает своих заключенных. Однако, когда на следующий день меня вызвали к допросу, у меня сложилось более благоприятное мнение о лице, в руках которого находилась моя судьба. Высокий человек, с правильными чертами лица и с окладистой русой бородой, он не производил отталкивающего впечатления. И хотя перед началом допроса он вынул из карманов два револьвера и положил их перед собой на стол, самый допрос производился в спокойном и, как мне временами казалось, даже благожелательном тоне. Содержание отобранного у меня пакета с письмами было ему, очевидно, еще неизвестно. А на следующий день пришедшая ко мне на свидание жена сообщила, что Покровский и Рязанов (глава Социалистической академии и заведывавший Заграничным архивом) поручились за меня в смысле моей благонадежности. Всё это окрылило меня надеждой на возможность освобождения.

Но через несколько дней выяснилось, что в копиях писем содержится много антибольшевистских заявлений. А кроме того, произошел инцидент, сразу подорвавший мое положение. Дело в том, что заключенных почти не кормили, но зато позволяли им получать пищу из дома. Мои соседи по заключению научили меня, что каждый раз, когда дежурный красноармеец прине-

сет мне передачу, ему надо дать 5 рублей. Только этим можно обеспечить правильность передач. И вот однажды, совершенно измученный бессонницей, полуголодным существованием и непрестанной тревогой за себя и свою семью, я замешкался с доставанием денег. Проходивший по коридору начальник заметил мой жест и против меня было возбуждено обвинение в подкупе стражи с целью побега. Мое чистосердечное разъяснение дела ни к чему не привело, а последовавшее затем мое заявление, что я не знаком с содержанием отданных мне на хранение писем было встречено с грубым издевательством.

В результате я был приговорен к 6-месячному тюремному заключению за попытку подкупа стражи и к пожизненному заключению в концентрационном лагере за контрреволюционное направление. Это, казавшееся столь трагическим, обстоятельство послужило, однако, поистине парадоксальным образом к моему спасению. Тюрьма спасла меня от мучительной смерти. Мне известно по крайней мере о двух моих соседях по Чрезвычайке, что они погибли в концентрационном лагере еще за время моего пребывания в тюрьме.

Однако, если было легко приговорить меня к тюремному заключению, то осуществление этой меры натолкнулось на чрезвычайные затруднения. Часами сидели чиновники Чека за телефоном, переговариваясь с тюрьмами, и нигде не находилось свободных мест. В те благословенные времена еще не набивали тюрем до отказу, как это делается теперь. Наконец, получился благоприятный ответ из Лефортова. Тогда меня, вместе с красноармейцем, с которым я якобы договаривался о моем побеге и который, как пролетарий, был приговорен лишь к 1 месяцу тюремного заключения, повели через всю Москву под сильной охраной. Мы шли, как полагается арестантам, по середине мостовой. Впереди — громадного роста чекист с револьвером на изготовку, а сзади два красноармейца с винтовками. Наше шествие было яркой иллюстрацией к латинской поговорке: "Sic transit gloria mundi".

Многие из встреченных пешеходов, знавшие меня, как представителя Москвы в Государственной Думе, горестно и с недоумением кивали головами; некоторые пытались заговорить со мной, но под направленным на них дулом револьвера поспешно ретировались. В Лефортове, куда мы прибыли после долгого и утомительного путешествия, нам сообщили, что мы опоздали, и наши места были предоставлены другим кандидатам. Пришлось идти обратно.

Лишь на другой день нас удалось поместить в Серпуховской арестный дом. По дороге туда ко мне бесстрашно подскочил мой приятель П. А. Гессе, занимавший видный пост в Красном Кресте, и я успел сообщить ему адрес моего нового заключения. Результатом этого было то, что, когда мы прибыли в арестный дом, там уже ожидала меня передача из дому с теплым обедом.

Небольшой по размеру, Серпуховской арестный дом был городским учреждением, недавно выстроенным в соответствии с духом современного гуманного тюрьмоведения. Предназначенный для арестантов второй этаж здания состоял из обширного центрального, как бы клубного помещения, освещенного сверху, и расположенных вокруг него небольших, на два человека каждая, камер. В камерах имелись окна нормального квартирного типа, которые, хотя и были плотно заделаны решётками, но свободно открывались, чем достигалось прекрасное проветривание помещения. Из мебели в каждой камере стояли две железные кровати с матрацами, подушками и байковыми одеялами, стол и две табуретки. Из центрального помещения, меблированного большим столом и расставленными по стенам скамьями, вела дверь в общую уборную, снабженную прекрасными умывальниками. Всё выглядело чисто и опрятно.

Начальник арестного дома, скромный городской служащий, был немало смущен, когда к нему привели, в качестве арестанта, гласного Городской думы. Он поспешил освободить для меня отдельную камеру и

предостерег от пользования одеялом, в котором могут оказаться вши. Но к вечеру мне доставили из дому постельные принадлежности, так что я, после многих бессонных ночей, мог устроиться на ночлег сравнительно комфортабельно.

Я останавливаюсь на этих подробностях, чтобы показать, в каких благоприятных условиях, по сравнению с современными, мне приходилось переносить преследования советской власти. При моем падении в глубочайшие бездны несчастия счастливая звезда, сопровождавшая меня в течение всей предшествовавшей жизни, не покинула меня окончательно. Она, хотя издалека и слабо, всё-таки освещала мой жизненный путь.

Среди арестованных я был единственный политический. Но мои уголовные коллеги, с которыми я находился в постоянном общении, так как двери камер днем не запирались, приняли меня в свою среду весьма благожелательно. Казалось, что они даже гордятся столь близкими товарищескими отношениями с буржуем и «профессорем». Староста арестантов, пожилой человек, горячо возмущался тем, что его засадили на неопределенное время за убийство, между тем, как другие убийцы свободно гуляли по улицам. В то же время он с нежностью подкармливал мышонка, который появлялся в его камере регулярно во время обеда. Относительно своих молодых сожителей он говорил мне, что все они хорошие ребята. Они могут в случае нужды услужить мне или постирать белье. Конечно, хорошо время от времени угостить их кусочком сахара или папиросой. Но так как они все по профессии воры, нельзя оставлять без строгого присмотра пищевые посылки из дома: съедят непременно.

Продовольствование арестованных было, конечно, недостаточным. Но многие из нас получали передачи, что делало питание более или менее терпимым. Случались, однако, и такие приятные курьёзы, как выдача в течение некоторого времени к утреннему чаю превосходного крупного изюма на веточках, товара в то

время совершенно невиданного в московском торговом обиходе.

Появились у моих соседей и духовные интересы. Однажды староста обратился ко мне со следующей просьбой: «Слыхали мы, что профессоря́ лекции читают. Вот и вы бы нам что-нибудь почитали». Таким образом возобновилась моя академическая деятельность, правда, в условиях для нее необычных. Лекции по природоведению продолжались до самого моего выхода из арестного дома. Заходили разговоры и политического характера, главным образом на тему о предстоящем свержении большевистской власти.

— Вам-то хорошо, — говаривал я, — вы останетесь целы. А меня перед переворотом, вероятно, укокошат.

— Не бойтесь, профессорь, — отвечали мне, — у нас уже всё обдумано и подготовлено. Как только какая заворошка в городе, мы все уйдем. И вас с собой захватим. Ведь вы теперь наш!

Незадолго до окончания моего пребывания в арестном доме староста предъявил мне новую просьбу.

— Смотритель сказал мне, что сегодня приведут к нам еще одного буржуя, фабриканта из города Шуи. Так не позволите ли поместить его в вашей камере? Вам вдвоем-то веселей будет.

Я, конечно, не возражал, и новый буржуй оказался очень приятным компаньоном.

Уже больше 30 лет прошло со времени описываемых событий. Болезненная острота их как-то сгладились под влиянием всё исцеляющего времени, и в моей памяти выступают на первый план моменты комического характера.

Когда, после месячного пребывания в арестном доме, мне объявили, что меня переводят в Бутырскую тюрьму, это поразило меня, как громом. Из колоссального каменного мешка никакие приятели-воры меня не выведут, и самое пребывание в центре скопления политических заключенных не предвещало ничего доброго. Немалую роль, однако, в нарастании ощущения

трагической безвыходности играло сожаление по поводу того, что приходится расставаться с как-то налаженной, хотя по существу и беспросветной жизнью.

Первые впечатления по прибытии в Бутырскую тюрьму поразили меня своей неожиданностью. Когда нас привезли туда на грузовике и привели в канцелярию для распределения по камерам, я был в совершенно подавленном состоянии. Я безучастно просидел на скамейке всё время, пока мои спутники подвергались регистрации и пока громкий голос начальника тюрьмы не позвал меня. Приблизившись к прилавку, за которым он стоял, я замер от удивления. На его форменной одежде красовался столь родной мне белый ромб университетского значка.

— Что вы на меня так смотрите? — воскликнул он.

— Этот, этот значок!

— Ну что ж такого? Я окончил Московский университет. Это вас удивляет?

— Нет, но я профессор Московского университета.

— Ах, вот что! Ну, тогда, профессор, разрешите мне специально позаботиться о вас. Я предоставлю вам сухую и удобную камеру. Вот кстати! Есть свободное место в камере, в которой уже живет директор кадетского корпуса. Вам будет с ним спокойно и удобно.

Итак, и в аду, о котором я с таким трепетом думал, оказался просвет. Целый месяц заключения в тюрьме я прожил с милейшим директором душа в душу. А проходя по коридору, я увидел в одной из соседних, более обширной камере, профессора Кизеветтера, доктора Кишкина и других сочленов по кадетской партии. Когда же, утром следующего дня, меня выпустили в обширную уборную, я оказался там в обществе, совершенно противоположном тому, в котором я вращался последний месяц. Это была публика торжественных раутов, которые устраивались городским управлением по случаю приезда заграничных гостей. Тут были, поскольку мне не изменяет память, московский губерна-

тор Джунковский, А. Д. Самарин и целый ряд других видных общественных деятелей и иностранных дипломатов. Поражало обилие духовенства, в том числе несколько епископов.

Начальник тюрьмы навестил меня и спросил, нет ли у меня каких-либо особых желаний. Я попросил разрешения доставить мне из дому бумагу и некоторые книги для продолжения моей научной работы. Это было осуществлено через несколько дней, и я мог упорным умственным напряжением отвлечься от тягостного ощущения горечи и безнадежности. В тюрьме оказалась недурная библиотека, собранная во время пребывания в ней политических заключенных царского режима. В ней я нашел несколько книг, нужных для моего научного труда (помню, например, «Общую физиологию» Ферворна) и массу хороших французских романов. Увлекательное чтение на долгие часы избавляло меня от печальных мыслей.

Но особенно большим утешением было то, что в праздничные дни вызывали желающих идти в тюремную церковь. Умилительность богослужения там была поистине исключительной. Многие плакали и в этих слезах находили примирение со своей жестокой участью. Как персонал тюрьмы, так и порядки в ней сохраняли в то время еще отпечаток старого режима. Впоследствии я слышал, что церковь была превращена в кинематограф.

Лишь изредка, когда нас выпускали гулять на тюремный двор, я, спускаясь по лестнице, мог с одной из площадок кинуть быстрый взор на открывавшийся через окно вид улицы с двигавшимися по ней экипажами и пешеходами. Сердце мое болезненно сжималось, и мне казалось, что нет на земле высшего счастья, чем возможность свободно выйти на улицу. Воспоминание об этом нередко помогало мне переносить тягости моей последующей жизни.

Во время одной из прогулок я наблюдал, как мой коллега профессор-юрист Н. А. Каблуков экзаменовал своего студента. Свободного времени у студента

в тюрьме было много, и он блестяще подготовился к экзамену.

В общем мне кажется, что мои личные переживания в тюрьме были менее тяжкими, чем переживания моих семейных. Опасения за себя не бывают так остры, как страх за близкого человека. Два или три раза в неделю кто-нибудь из семьи часов с трех утра отправлялся с передачей к тюрьме, становился там в длиннейшую очередь и с замиранием сердца ждал, примут передачу или нет. Непринятие означало, что уже некому передавать.

Правда, я не был приговорен к смертной казни, но практика тюремной жизни была богата всякими неожиданностями и ошибками. Заключенный в соседней камере князь С. Е. Львов, брат председателя Временного правительства, владелец крупного завода на Урале, был арестован в качестве заложника за то, что не был в состоянии выдать рабочим миллион рублей, который они от него требовали. Он рассказал мне следующее: однажды его вызвали из камеры без вещей и повели в так называемую комнату-душ. В прежнее время там были устроены души для арестантов. Теперь она служила преддверием к расстрелу. Там уже было много заключенных, и бывший среди них протоиерей, который тоже должен был подвергнуться смертной казни, с великим присутствием духа ободрял, напутствовал и исповедывал мирян. После переклички кн. Львов попросил стражника проводить его в камеру, чтобы по русскому обычаю надеть перед смертью чистое белье. Стражник исполнил его просьбу, а когда они вернулись, то застали уже вторую перекличку, которую производил старший чекист. Кн. Львов должен был остановиться в дверях, непосредственно за спиной чекиста. Подсматривая в список, он заметил, что инициалы, стоявшие при его фамилии, были не его. Вызванный по фамилии, он заявил, что он Сергей Евгеньевич. Было произведено расследование, и его отпустили в камеру. Впоследствии я встречался с ним на свободе.

В течение всего времени моего тюремного заключения студенты, как университета, так и Коммерческого института неустанно хлопотали обо мне, но добиться моего освобождения им удалось лишь после 7 ноября, когда, по случаю первой годовщины октябрьской (по старому стилю) революции, была провозглашена амнистия.

Выйдя за ворота тюрьмы и сгибаясь под непосильной для меня тяжестью нагруженных мне на спину матраца, подушки и других вещей моего тюремного обихода, я ощущал такое ликование в душе, такую безграничную радость, которые можно сравнить лишь со счастьем, испытанным мной по окончании докторского экзамена в Гейдельберге. Тогда я рождался для научной работы, теперь возрождался для свободной жизни!

Но возвращение домой было омрачено глубоким горем. Во время моего отсутствия умерла моя мать. Просьба моих родных отпустить меня, хотя бы ночью, под сильной стражей, чтобы проститься с матерью, была отклонена тюремной администрацией.

Хотя история моего ареста и тюремного заключения изложена мной в сравнительно идиллических тонах, но все эти переживания отразились глубокой травмой в моем психическом состоянии. В течение долгих лет, уже во время моего пребывания заграницей, я часто просыпался около 4 часов ночи, думая с замиранием сердца, что сейчас раздастся звонок и придут меня арестовывать. Страшные же сны о пребывании в тюрьме мучают меня и до сего времени. Но я даже люблю их, потому что они искупаются великой радостью при пробуждении.

Вернувшись на свободу, я всей душой погрузился в возвращенный мне рай академической жизни. Отчетливо помню первое заседание университетского Совета. Коллеги встретили меня и тоже освобожденного к тому времени проф. Кизеветтера с какой-то настороженностью и опасливостью. Но совершенно определен-

ный тон задал ректор М. А. Мензбир, в начале заседания обратившийся к нам с горячим приветствием и с выражением радости, что мы снова оказались в нормальной для нас обстановке. Создавшееся после этого дружеское настроение в собрании доставило нам глубокое нравственное удовлетворение.

Но жизнь на свободе оказалась тоже не сладкой. В центре Москвы, на Лубянской площади, возвышалась центральная Чрезвычайка, бывшая гостиница «Россия», здание прежде столь приветливое, но при взгляде на которое в описываемое время душа москвича уходила в пятки. По улицам, особенно вечером и ночью, гоняли черные вороны, тюремные автомобили, собиравшие жертвы для Чека. В районе Лубянки слышался по ночам рев автомобильных моторов, заглушавших звуки выстрелов на тюремном дворе. Трупы расстрелянных развозились по всем направлениям. Проф. А. А. Эйхенвальд, находившийся на излечении в Яузской больнице, рассказывал мне впоследствии, как однажды утром он увидел перед своим окном, на дворе больницы, сваленные туда ночью трупы Н. Н. Щепкина, трех Астровых и других видных общественных деятелей, расстрелянных по обвинению в сношениях с заграничными белогвардейцами.

Постоянные разговоры и слухи о массовых арестах и казнях поддерживали в слоях буржуазии и интеллигенции тягостное нервное напряжение. Даже любимцы власти не были от него избавлены. Администратор Московского Художественного театра Шаров описывал мне одно из своих возвращений из театра вместе со Станиславским. Проходя по Лубянской площади и усмотрев на дверях Чрезвычайки свеже вывешенное объявление, великий артист остановился и стал читать его. Выглянувший в это время из двери громадного роста матрос обратился к Станиславскому с грозным окриком: «Што, ндравится?». Опешенный артист пробормотал непривычным для него, робким голосом: «Н-не особенно!». На что чекист ответил: «Ну, то-то же», — и захлопнул дверь. — Мы поспешно ретиро-

вались, — закончил Шаров свой рассказ, — и с той поры Станиславский избегал проходить мимо Чека.

Мне уже в мою бытность ректором университета также удалось однажды избежать столкновения с Чрезвычайной комиссией, но гораздо более серьезного характера. По Москве распространились слухи, что арестовывают ка-детов, и я, в целях предосторожности, стал ночевать в лаборатории. Как-то утром ко мне приходит один из служителей (а они все к тому времени заделались коммунистами) и таинственно сообщает:

— Так что, Ваше Превосходительство, сейчас приходили сказать из вашей квартиры, что у вас там сидят гости.

Я немедленно снесся с помощником ректора о передаче ему университетских дел, изменил свой внешний вид, сбривши бороду, и отправился на происходившее как раз в то время заседание агрономических организаций. Там меня немедленно назначили на вакантную должность энтомолога на одной из сельскохозяйственных станций, расположенной в нескольких десятках верст от Москвы. В тот же день я уже был на своем месте службы, где прожил спокойно 10 дней, пока ко мне ни явилась дочь и ни сообщила, что засада в нашей квартире снята и что возбужденное против меня дело, повидимому, прекращено.

Возвратившись в Москву, я прежде всего направился в Наркомпрос к Покровскому, который встретил меня с усмешкой, очевидно сочувствуя, с точки зрения своего недавнего революционного прошлого, моему образу действий. Он подтвердил, что приказ о моем аресте оказался ошибкой, но посоветовал мне из предосторожности еще несколько дней не возвращаться к себе на квартиру. Легко попасть в Чрезвычайку, но трудно из нее выбраться.

Моя частная квартира приносила мне в то время и другие немалые огорчения. Домовый комитет, коммунистически настроенный, преследовал нас, как домо-

владельцев всевозможными придирками и издевательствами. Не исключена возможность, что вышеописанная попытка меня арестовать явилась следствием доноса со стороны жильцов. Дохода с дома, весьма скромного, но который в дни моей юности давал мне возможность учиться и заниматься научными исследованиями, не заботясь о заработке, больше уже не было. Вся моя забота сводилась теперь к тому, чтобы безболезненно расстаться с нашей семейной собственностью и переселиться в другую квартиру. Но в эпоху всевозможных уплотнений это было не легко. Наконец, когда мы достроили здание Геолого-минералогического института, о чем я пишу в главе, посвященной Московскому университету, и обширные помещения этого института в историческом старом здании университета оказались свободными, Правление постановило предоставить часть этих помещений для моей лаборатории и квартиры.

При обсуждении вопроса о способе переезда возникло сомнение в том, выпустит ли домовый комитет мебель из дома. Это затруднение было, однако, нашим находчивым экзекутором разрешено в форме совершенно своеобразной. После того, как вся наша семья покинула квартиру и ключи от нее были вручены экзекутору, он снарядил обоз университетских телег в сопровождении особенно преданных ему служителей, одетых в солдатские шинели и шапки, которые они принесли с войны. Этот «военный» обоз явился к нашему дому и принялся за нагрузку мебели. На недоуменные вопросы растерявшихся членов комитета заведующий обозом разъяснил, что вещи, по распоряжению начальства, вывозятся в неизвестном направлении. Среди обозников нашелся электромонтер, так что, вместе с остальным нашим достоянием была доставлена на новую квартиру осветительная арматура и даже телефон. Всё это было проведено так ловко и складно, что домовый комитет оказался в полной неизвестности относительно моего нового адреса, и я был избавлен от его докучливых придирок.

Мои дальнейшие переживания под большевистской властью описаны мною в других главах настоящих записок, а также в статье «Московский университет в первый период большевистского режима», опубликованной в сборнике, посвященном 175-летию существованию университета (Париж, 1930 г.).

Результатом всех этих переживаний явилось сознание полной личной необеспеченности. Ложась вечером спать, я не знал, буду ли завтра свободным человеком. Правда, как и на войне, постоянное ощущение опасности с течением времени как-то притупляется, и человек становится фаталистом. В моем случае это облегчалось моей громадной академической и общественной нагрузкой. И та и другая давали мне глубокое нравственное удовлетворение. С коллегами профессорами у меня неизменно поддерживались наилучшие отношения. Конкуренция кафедр, столь распространенная в академической среде всего мира, была чужда моей природе. Какое ликование разливалось в душе, когда удавалось примирить враждовавших друг с другом коллег! Дружественные чувства ко мне со стороны студентов не оставляли желать ничего лучшего. Это проявлялось ими в повседневной жизни, но особого апогея достигло в их неустанных хлопотах о моем освобождении и в ярко сверкавшей на их лицах непритворной радости, когда их хлопоты увенчались успехом.

Руководство делами Научной комиссии, характеристике которой посвящается следующая глава, увлекало меня не менее, чем работа в высших учебных заведениях. Хотя это учреждение возникло уже при большевистском режиме, оно бережно хранило традиции таких почтенных организаций, как Академия Наук и ученые общества.

Вышеизложенные обстоятельства делают до известной степени понятным, почему я добровольно не ушел в эмиграцию, а дождался того, что сама советская власть принудила меня покинуть родину. Но к этому присоединились еще два важных момента. Во-

первых, я не чувствовал себя в праве покинуть родину-мать, когда она находилась в жестоко болезненном состоянии и когда мне казалось, что я, хоть в малой мере, могу облегчить ее страдания. А во-вторых, мы, члены оппозиции по отношению к прежнему правительственному режиму, видели, что новая власть усвоила себе те методы произвола, с которыми мы были знакомы и прежде, но которые она вознесла на гораздо более высокую ступень. Недаром многие представители крайне-правых политических партий завязали с большевиками дружбу, а деятели старой сыскной полиции поступили на службу в Чека. Les extremités se touchent!

Я помнил также слова Софокла: «О, счастлив тот, кто родины своей не покидал!». И не пошел на представлявшиеся мне возможности переселиться в более спокойную обстановку заграничной жизни. Особенно заманчивым было предложение, сделанное мне упомянутым выше П. А. Гессе, который уезжал из России во главе санитарного поезда Международного Красного Креста и мог провезти меня совершенно безопасно, среди своего персонала.

Может быть, в этом есть известная доля донкихотства, но я и теперь не раскаиваюсь в моем тогдашнем настроении. Правда, оно подкреплялось и тем, что мне не приходилось кривить душой. Иногда я даже вступал в пререкания с главарями большевизма, откровенно высказывая им свои мнения. Тогда это было еще возможно. Эмигранты последнего времени, когда я описываю им ужасы моего пребывания под советской властью в течение первых пяти лет ее существования, смотрят на меня сочувственно-насмешливо и резюмируют мой рассказ словами: «Вы жили там в счастливое время».

В заключение я хочу остановиться на вопросе, который часто привлекает к себе внимание. Почему при всех ужасах советской жизни, в атмосфере полной личной необеспеченности, при отсутствии сносных

квартир, при недостатке одежды, а часто и при полуголодном существовании, русские научные исследования изобильно произрастают, а подчас отмечаются и заграницей, как серьезные достижения? В качестве иллюстрации к значительности научной продукции в Советском Союзе, я в одной из своих чешских статей привел данные, почерпнутые из немецкого журнала «Zoologischer Bericht», в котором помещаются рефераты о зоологических исследованиях целого света. Оказывается, что в 1932 г. из 2000 таких рефератов 150 относились к русским работам. А из выдающихся исследователей, успешно работавших под большевистской властью, можно назвать таких, как Павлов, Гурвич, Вернадский, Северцов, Вавилов.

Причины этого явления могут быть двояки. С одной стороны, коммунистическая власть, в соответствии ли со своей программой, или, что более вероятно, для рекламных целей, не стесняется в расходах на поддержание наук и искусств. В этом отношении она проявляет бóльшую щедрость, чем царское правительство, которое, например, отказало в ничтожной сравнительно ассигновке на усовершенствование всемирно известных опытов И. П. Павлова, так что нам в Москве пришлось изыскать нужные для этого средства из общественных источников. Большевики же открыли Павловской лаборатории неограниченный кредит. Для агробиологических опытов Н. И. Вавилова был организован Институт прикладной ботаники, в котором работало до 2000 сотрудников — масштаб, невиданный в заграничных научных учреждениях. Правда, потом, когда Вавилов не угодил советским заправилам, он был сослан, как бы для продолжения своих научных изысканий, в концентрационный лагерь в Колыму. На втором году пребывания в этом негостеприимном краю северовосточной Сибири он скончался в сравнительно цветущем возрасте — 55 лет.

Другая причина научной производительности, которая относится не только к выдающимся исследователям, но и ко всей армии русских ученых, значитель-

но возросшей за период большевистского режима, заключается в следующем. Как ни тяжка жизнь рядового советского ученого, она существенно возвышается над жизненным уровнем большинства других слоев населения. И личная безопасность в этой сравнительно привилегированной среде, особенно в научных областях, не соприкасающихся с политикой, хоть на несколько процентов выше. Но самое главное заключается в том, что научные изыскания обыкновенно так увлекают человека и настолько поглощают его внимание, что внешняя обстановка жизни отступает на второй план. Человек, погруженный в глубину научно-исследовательских интересов, живет как бы вне окружающего его мира. Естественно, что такой уход от ужасов реальной жизни в сферу чистого знания привлекает многих.

Наиболее спокойной научной областью является, несомненно, естествознание с включением в него и медицины. Но и по отношению к этой области в советской политике проявляются волнообразные колебания. Тотчас после захвата власти большевики начали грубо и неумело подчинять себе прикладное естествознание. Моему приятелю профессору товароведения Никитинскому было заказано составить популярную брошюру о картофеле. Он выполнил работу с присущей ему деловитостью и научной объективностью. Но велико было его негодование, когда он увидел, что к его тексту, без его ведома, было добавлено предисловие, в котором широковещательно пояснялось, что при проклятом царском режиме картофельное хозяйство страны было поставлено отвратительно, и что только теперь, после того, как пролетариат взял дело в свои руки, в нем наведен порядок. Мы читали эти строки после обеда, состоявшего из полугнилой селедки и мерзлой картошки, которую для экономии ели с кожурой.

Затем наступил длительный, более свободный период, прерванный, однако на некоторое время лозунгом «Марксистско-ленинское естествознание». В этом периоде и выявилась богатая продуктивность научной работы.

В последнее время, после второй мировой войны, с ростом шовинизма, создается своеобразное течение «самобытной русской науки» — пролетарской, материалистической и независимой от иностранных империалистов. В сороковых годах такой переворот, увенчавшийся гибелью Н. И. Вавилова, был произведен в области изучения наследственности под командой академика Лысенко, которого одни называют диктатором естествознания, а другие Распутиным советской биологии. В текущем (1950) году созывается всесоюзный съезд медиков, на котором, как говорят газеты, предполагается подобная же чистка во врачебных кругах. А по личной инициативе Сталина совершается погром в среде представителей филологических наук в связи с развенчанием памяти уже скончавшегося любимца Советской власти академика Н. Я. Марра.

X. НАУЧНАЯ КОМИССИЯ

«Только последняя наука, точная наука о человеке — вернейший подход к ней со стороны всемогущего естествознания — выведет его из теперешнего мрака и очистит его от теперешнего позора в сфере межлюдских отношений».

И. П. Павлов. 1923.

Одним из учреждений, на организацию которого я положил особенно много забот и которое вёл с большой любовью, была Научная комиссия, состоявшая при Научно-техническом отделе Высшего совета народного хозяйства. Это был один из островков, на котором в бурное время начала большевистского режима мирно горело пламя научной мысли, освещавшее трудную и неприглядную жизнь московских ученых.

В предреволюционное время нередко случалось, что дети высокопоставленных лиц, богатых купцов и промышленников или даже видных священнослужителей примыкали к крайним революционным партиям. Это было одним из острых углов проблемы отцов и детей. К таким людям принадлежал и Н. П. Горбунов, сын крупного московского финансиста, оказавшийся в момент перехода власти к большевикам секретарем В. И. Ленина, а потом сделавшийся председателем коллегии Научно-технического отдела (НТО). Он обратился к профессору физики А. А. Эйхенвальду с предложением созвать московских ученых, естествоиспытателей и техников, для создания органа, который мог бы давать научные консультации, потребные для практических мероприятий НТО. На большом собрании,

состоявшемся в Политехническом музее, по заслушании доклада Александра Александровича о задачах будущего учреждения, решено было организовать Научную комиссию с несколькими секциями по различным практическим отраслям знания. Присутствовавшие тотчас же разделились по специальностям, и таким образом образовались семь секций, которые избрали себе из своей среды председателей. Председательствование в сельскохозяйственной секции выпало на мою долю. По окончании собрания председатели сошлись вместе для выбора президиума целой комиссии.

Конечно, первая мысль была о том, чтобы комиссию возглавил А. А. Эйхенвальд, как инициатор нашего собрания, а с другой стороны, как популярный профессор и человек с большим научным именем. Но он категорически отказался, ссылаясь на свое пошатнувшееся здоровье. И на самом деле он вскоре после этого серьезно заболел, долгое время пролежал в Яузской больнице, где подвергся операции, а потом уехал с поручением от НТО в Германию. В советскую Россию он уже больше не вернулся. А когда я оказался в 1923 г. в Праге, он тоже переехал туда и принял деятельное участие в работах Русского свободного университета. В Праге у меня завязались с ним самые дружественные отношения. Я глубоко ценил его научную осведомленность, разнообразие его духовных интересов, начитанность и остроумие. К тому же он был выдающимся музыкантом, происходившим из удивительной музыкальной семьи. Его мать была солисткой Московского большого театра на арфе. Из одиннадцати ее детей две дочери были примадоннами того же театра, один из сыновей дирижером симфонического оркестра, а сам А. А. прекрасно играл на рояле и был композитором. Он мне рассказывал, как однажды подшутил над обществом, собравшимся к нему на журфикс. В это время в Москве гостила знаменитая пианистка Ванда Ландовская. Многие из присутствовавших жалели, что им не удалось послушать ее. А. А. сейчас же сочинил небылицу о том, что он с ней очень

хорошо знаком, что она находится сейчас в глубоком трауре, но не откажет ему на короткое время посетить его и сыграть несколько вещей. Он сам в качестве шофера привезет ее и будет ожидать в автомобиле, чтобы потом немедленно проводить ее домой. Непременным условием было поставлено, чтобы во внимание к ее трауру, никто с ней не заговаривал. Все охотно согласились. Он ушел, а через некоторое время у подъезда послышался шум подъезжавшего автомобиля, раздался звонок у двери и в зал вошла стройная дама с лицом, закутанным густым черным флером. Легким шагом на высоких каблучках подошла она к приготовленному роялю, сыграла несколько меланхолических пьес и, раскланявшись в ответ на бурные аплодисменты малочисленной, но избранной публики, удалилась. Когда снова через некоторый промежуток времени А. А. появился среди своих гостей, они горячо благодарили его за доставленное наслаждение, не подозревая того, что он сам в переодетом виде выступал перед ними. Знаменитые московские капустники, концерты с шуточным элементом, устраивавшиеся артистами Художественного театра в начале великого поста, в параллель с заграничными карнавалами, также не обходились без его участия. Незадолго до своего отъезда из Москвы он женился во второй раз — на одной из своих курсисток. Она обладала чудесным сопрано, которое под его руководством, а впоследствии на уроках у итальянского профессора, развилось до первоклассного голоса. Обладательница его была, однако, столь застенчива, что не решалась выступать перед публикой даже в скромных концертах, которые Русский свободный университет устраивал в Праге. Но тем привлекательней, в частности для меня, было посещение этой даровитой семьи, где в одинаковой мере процветали наука и искусство и где часто устраивались домашние концерты. Из Праги чета Эйхенвальдов переехала в любимую ими Италию и поселились в Милане, где Катерина Константиновна, кроме пения, усовершенствовалась еще в скульптуре настолько, что

могла конкурировать с итальянскими мастерами этого искусства. Там же А. А. и умер в 1944 г. на восемьдесят втором году жизни.

После этого биографического отступления возвращаюсь к повествованию об открытии Научной комиссии. Когда выяснилась невозможность для А. А. Эйхенвальда принять в ней председательствование, эта обязанность была возложена на меня. Товарищем председателя был избран, уже знакомый нам из предшествующих страниц, А. Н. Реформатский. Буквальное обозначение его титула оказалось однажды весьма полезным для кассирши Научной комиссии, которой на почте не хотели выдать присланную из деревни посылку, потому что она на один фунт превышала предписанный максимум веса. В полном отчаянии она вернулась в канцелярию комиссии, где ей посоветовали еще раз сходить на почту и дали для этого специальное удостоверение, подписанное, из-за моего отсутствия, Реформатским. В этой случайности и коренилась ее последующая удача. Дело в том, что мелкие чиновники старых учреждений, вроде почты, трепетали перед словом «товарищ», введенным в широкий обиход большевиками. Когда наша кассирша показала на почте свою бумажку, чиновник, внимательно ознакомившись с ней, обратился к другому со следующими словами:

— Посмотри-ка! У них председателем-то состоит товарищ: надо будет выдать.

Посылка была выдана, но я подозреваю, что и кассирша наша прониклась с того време́ни бо́льшим уважением к А. Н. Реформатскому, чем ко мне.

В первое время существования комиссии никакой канцелярии у нас не было. Нам была отведена полутемная комнатка в поместительном доме на Мясницкой ул., занятом НТО. В ней сидела единственная служащая, студентка-ботаничка, не особенно бойко писавшая на машинке. Но и она мне скоро заявила, что не может продолжать службу. Я стал подыскивать делопроизводителя, и первым кандидатом, к моему крайнему удивлению, явился бывший председатель II Го-

сударственной Думы Ф. А. Головин. Я стеснялся предоставить ему столь незначительную должность, но он убедил меня, что это как раз то, в чем он в данный момент нуждается. На помощь ему была приглашена машинистка, и так было положено основание канцелярии. Таким образом во главе нового учреждения стал член Государственной Думы, а в роли ближайшего исполнителя его распоряжений оказался председатель Думы. Так история иногда вывертывает общепринятые понятия. Свои обязанности делопроизводителя Ф. А. исполнял с большим умением и присущей его характеру пунктуальностью. Но служба его у нас продолжалась недолго. Вскоре он получил более подходившее для него занятие по страховому делу.

Между тем научная деятельность комиссии начала развиваться. В нашем новом учреждении подали друг другу руки ученые-теоретики и представители практических дисциплин. От взаимного оплодотворения этих двух научных областей можно было ожидать прекрасных результатов. Благоприятно было и то обстоятельство, что в то время, как Комиссариат по просвещению уже начал накладывать тяжелую руку на школьное дело, Высший совет народного хозяйства, подобно прежнему Министерству торговли и промышленности, предоставлял подведомственному ему ученому учреждению сравнительную свободу и довольно щедро снабжал его финансовыми средствами.

Формально состав комиссии сложился следующим образом. Физико-математическим факультетам Московского университета и Высших женских курсов, Техническим высшим учебным заведениям Москвы, Народному университету им. Шанявского, а также естественно-научным и техническим Обществам было предложено избрать своих делегатов в комиссию. Таким путем создалось чисто академическое сообщество преимущественно первоклассных ученых. Впоследствии некоторыми безответственными кругами делались предложения пролетаризировать комиссию введением в ее состав представителей партийных организаций. Но

коллегия НТО, в ведении которой непосредственно состояла комиссия, категорически отвергала эти предложения. Помню, как в одном из заседаний коллегии при рассмотрении такого предложения, член коллегии, представитель коммунистической партии, молодой, еще не окончивший курс Технического училища студент Флаксерман, относившийся к науке с таким же почтением, как и Горбунов, шепнул мне:

— Они вам всю работу испортят; не соглашайтесь, а мы вас поддержим.

Научная комиссия не чуждалась, однако, привлечения в свои заседания, как пленарные, так и секционные, всевозможных экспертов и специалистов. Однажды, в заседании, посвященном распределению книг, полученных из заграницы, председатель Социалистической академии престарелый Рязанов и вышеупомянутый Флаксерман заспорили между собой и с некоторыми членами комиссии в столь резких митинговых тонах, что я, по должности председателя, остановил их. Они протестовали, и пришлось договориться в том смысле, что по отношению к членам комиссии они будут применять лишь парламентские выражения, но между собой сохранят полную свободу слова.

Научная деятельность была, как указано выше, распределена по семи секциям, к которым впоследствии была добавлена восьмая.

В секции физики, электротехники и геофизики председательствовал проф. Ю. В. Вульф, который в то время успешно работал в области рентгенологии, в применении ее к практической медицине. О кратковременном члене комиссии А. А. Эйхенвальде я уже упомянул. Добавлю лишь, что он начал конструировать в Москве аппарат для проверки закона Эйнштейна, но из-за недостатка материалов должен был прекратить эту работу, столь много обещавшую в смысле научных результатов. Остальные члены, как напр. Б. И. Угримов, Н. Е. Успенский, В. К. Аркадьев были сравнительно молодыми людьми, усердно работавшими по

поручению комиссии в различных отделах физики, имевших практическое значение. Среди них выделялся своей предприимчивостью П. П. Лазарев, автор недурных исследований в пограничных областях между физикой и биологией, но в то, трудное в продовольственном отношении, время постоянно носившийся с проектами исследований, при которых можно бы было подкормиться. Так он предлагал мне заняться, совместно с ним, опытами по электрической засолке рыб, мотивируя это предложение между прочим и тем, что такая работа повлечет за собой обогащение нашего скудного стола рыбными блюдами. В другой раз я, в качестве ректора университета, получил от него приглашение на торжественное открытие института биофизики. Прибыв в находившийся под его заведыванием Физический институт университета Шанявского, я не нашел там ничего нового, что свидетельствовало бы о создании дополнительного научного учреждения. Но на торжественном собрании, в присутствии Наркомздрава Семашки и видного большевистского деятеля, инженера Крыжановского, много говорилось о будущих работах нового института. После заседания гостям было предложено необычайное в то время по роскоши угощение в виде бутербродов с телятиной, ветчиной и т. д. А когда я поспешил домой и попросил одного из ассистентов разыскать П. П., чтобы проститься с ним, я получил ответ, что это невозможно, так как он в своем кабинете пьет с комиссарами шампанское. Так ловчились люди в борьбе за свое необеспеченное существование. Но П. П. Лазареву не удалось застраховать себя. Как я слышал, он был, уже после моего отъезда из Москвы, арестован. А когда кончился срок ареста, он узнал, что жена его покончила с собой.

Председателем секции химии и химической технологии состоял А. Н. Реформатский, который сам мало занимался научными исследованиями, но был превосходным лектором и не менее талантливым организатором. В составе секции было несколько маститых ученых: престарелый профессор Высшего технического

училища П. П. Петров и профессора университета — И. А. Каблуков по неорганической, Н. Д. Зелинский по органической и В. С. Гулевич по физиологической химии. Зелинский вел, по поручению комиссии, целый ряд исследований, долженствовавших смягчить продовольственные недостатки. Это были, например, попытки изыскать новые источники для выработки жиров, выделить из портящегося картофеля оставшиеся еще в нем полезные части, добыть алкоголь из торфа и т. п. Гулевич занимался проблемой синтеза сахара из альдегида. Вообще работы химиков проходили в тесном контакте с пищевой секцией.

Эта последняя вошла в состав нашей комиссии уже в готовом виде, в виде Пищевого института, самостоятельное существование которого было признано излишним. Во главе ее стоял уже известный нам Я. Я. Никитинский, издавший между прочим, совместно со мной, брошюру о миноге, как важном питательном продукте. Ближайшим сотрудником Никитинского был проф. Технического училища А. Н. Шустов, симпатичнейший старичок, сохранивший большую научную энергию. Он работал над добыванием из растений инулина (продукта близкого к сахару), над превращением клетчатки в сахар и над использованием в качестве питательных продуктов некоторых составных частей морских водорослей. Последняя работа, насколько я знаю, осталась незаконченной. Иначе она могла бы иметь из-за неограниченного запаса исходного материала колоссальное значение для людского питания или, по крайней мере, для откармливания животных. В недавнее время этой темой заинтересовались американские ученые. Профессор университета Ф. Н. Крашенинников, ученик Тимирязева, изучал вопрос о том, какие из дикорастущих наземных растений могли бы найти себе практическое применение. Кроме того, в секции производились опыты с использованием в качестве пищи для человека тюленьего и акульего мяса. Последнее оказалось при известных способах приготовления очень вкусным. Но у молодых акул, с кото-

рыми производились опыты, оно было столь нежным, что приходилось соблюдать большую осторожность в смысле предохранения его от полного распадения на мельчайшие частицы. Тюленье мясо отличалось наоборот чрезвычайной твердостью и не особенно приятным вкусом. Его и, повидимому, близкое к нему китовое мясо можно использовать лишь после соответствующей, более или менее сложной обработки. К сожалению, все эти опыты, из-за преждевременного прекращения деятельности Научной комиссии, не могли быть доведены до конца.

Моя секция по сельскому хозяйству и биологии работала в таком же практическом направлении. В составе ее наибольшую роль, естественно, играли профессора Петровской сельскохозяйственной академии, как, напр., Д. Н. Прянишников, А. Г. Дояренко, М. И. Придорогин. Участвовали в ней также и практические деятели, а именно председатель Московского сельскохозяйственного общества А. И. Угримов и видные агрономы — А. А. Ярилов и А. П. Левицкий. Зоологию представлял в ней, кроме меня, проф. Н. М. Кулагин, большой специалист в области энтомологии, а ботанику проф. М. И. Голенкин. Наиболее крупную фигуру в секции представлял собой Д. Н. Прянишников, европейский авторитет по вопросам сельскохозяйственной биологии. Он вел у нас широко поставленные исследования над свойствами растительных белков и способами их использования. Голенкин занимался изучением и культивированием лекарственных растений, в которых чувствовался тогда большой недостаток. Я выяснил индифферентное отношение к сахарину свободно живущих клеточек простейших животных, а затем приступил к исследованию над одноклеточными организмами, обитающими в почве и оказывающими какое-то влияние на ее плодородие. Первоначальные результаты работы я доложил происходившему в Москве всероссийскому съезду агрономов, которым была учреждена особая комиссия, долженствовавшая оказывать мне всемерное содействие в дальнейших

исследованиях. Но это дело, из-за моего отъезда, не могло быть доведено до надлежащих результатов.

Во главе секции геологии и горного дела стоял выдающийся минералог Я. В. Самойлов. Из геологов, членов секции, можно отметить В. А. Обручева и А. А. Чернова. Оба они были весьма авторитетными учеными. Последний из них организовал между прочим, в связи со своими работами в секции, научную экспедицию на реку Печору, во время которой были открыты неизвестные до того времени притоки этой реки. Весьма бойким и всегда оживленным членом секции был И. М. Губкин, практический деятель, ставший потом профессором, человек коммунистического миросозерцания, который мог иногда оказать нам протекцию в начальственных кругах.

Из первоначально объединенной секции по механике, механической технологии, строительству и металлургии, последний предмет был впоследствии выделен в специальную секцию, в которой председательствовал С. Н. Ванков. Остальная часть комиссии работала во главе с выдающимся профессором Технического училища И. А. Калинниковым. Он нашел себе в комиссии желанное отвлечение от постигшей его в училище неприятности. Группа новоявленных студентов принесла на него жалобу, что он свой предмет, сопротивление материалов, читает не по-пролетарски, т. е. отводит слишком много места непонятной для них математике. А когда он в своих объяснениях начальству указал, что с научной точки зрения этот предмет иначе преподавать нельзя, ему вообще было запрещено читать его. В механической секции его постоянными сотрудниками были: молодой профессор университета А. И. Некрасов и такие известные техническому миру инженеры-профессора, как С. А. Федоров, Н. Р. Бриллинг, А. М. Бочвар.

Нередко захаживал в секцию и Нестор русской механической науки, отец нашего аэропланного дела, проф. Н. Е. Жуковский. Я помню его еще с довоенного времени, когда он, бодрый, энергичный, хотя уже пожи-

лой человек, делал доклад в большой аудитории Политехнического музея о первых успехах своей мастерской для конструкции самолетов. Говоря о пробных полетах, он с удовольствием сообщил, что даже один великий князь пожелал полетать на аэроплане. «Ну, конечно, — добавил он, — мы высокую особу не стали высоко поднимать, но всё-таки его желание исполнили». Николай Егорович, ученый с мировым именем, был известен в Москве не только как добродушно-остроумный человек, но и как типичный образец рассеянного профессора. Когда он в зимнее время садился в трамвай, то на покрытом инеем окне начинал выскребать математические формулы и так увлекался этим занятием, что доезжал до конца трамвайной линии. Заметив свою оплошность, он ехал обратно, но, погруженный в свои формулы, попадал на противоположную конечную станцию. Таким образом трамвайный вагон оказывался для него ловушкой, из которой его, наконец, освобождал кондуктор, напоминавший ему о нужной остановке..

В Научную комиссию Н. Е. Жуковский приходил уже дряхлым стариком. Он жаловался на плохие условия жизни, на холод в квартире и на недостаточное питание. Потом он заболел, и его поместили в больницу. В связи с общим потоком пролетаризации учреждений, распорядительная роль в больницах перешла от врачей к низшим служащим: сиделкам, санитарам и т. д. Жуковскому были предписаны припарки на ноги. Но сиделки так беспечно и неосмотрительно это сделали, что на ногах появились язвы, на которые не обратили должного внимания и которые, как говорили, и явились причиной смерти выдающегося ученого. Только после этого начальство всполошилось. Были устроены пышные похороны. Гроб везли на изобретенных покойным аэросанях. Над погребальной процессией реяли самолеты.

Последняя из секций Научной комиссии была посвящена строительному инженерству и геодезии. Председательствовал в ней директор реформированного в

свое время по моему докладу Института инженеров путей сообщения Н. Д. Тяпкин. Между прочим, он унаследовал это директорство от известного уже нам А. А. Эйхенвальда. Тяпкин был энергичным человеком и хорошим организатором. Работу своей секции он вел весьма успешно, привлекая к ней таких видных знатоков инженерно-строительной отрасли, как Ф. Е. Максименко (специалист по гидравлике), Е. А. Гибшман, А. В. Кузнецов, В. К. Дмоховский.

Приведенный очерк личного состава комиссии далеко не полон. Но и по нему можно судить о том, что комиссия представляла собой весьма солидное, компетентное и разностороннее учреждение. Во время наибольшего расцвета численность ее членов простиралась до 148 человек.

В заседаниях секций рассматривались проекты научных работ и результаты уже законченных исследований, а также изготовлялись консультации по всевозможным вопросам, вносившимся в комиссию правительственными учреждениями. Кроме того, как в секциях, так и в пленарных заседаниях комиссии заслушивались и подвергались обсуждению новости науки и техники. Эта последняя функция имела очень большое значение из-за крайней бедности литературой как внутренней, так и заграничной. Путем таких устных рефератов члены комиссии своевременно ознакомились с работами Эйнштейна о теории относительности, с новыми исследованиями Рутерфорда, Бора и других ученых о строении атома, об искусственном расщеплении химических элементов и т. п. К участию в заседаниях приглашались и иногородние специалисты, главным образом ленинградцы, из которых припоминаю академика В. И. Вернадского, Е. А. Ферсмана, П. И. Вальдена, И. М. Шокальского.

Научная комиссия, по интенсивности своей деятельности, совершенно не соответствовала научным обществам, которые собираются на заседания обычно один или два раза в месяц. У меня сохранилась заметка о числе ее пленарных и секционных собраний, кото-

рых было: в 1919 г. — 407, в 1920 г. — 458, в 1921 г. — 663. Это значит, что, за исключением праздничных и каникулярных дней, на каждый день приходилось по несколько заседаний. При осложнениях, которые всё более и более нависали над жизнью высших учебных заведений, наша комиссия представляла собой как бы клапан, через который освобождалась научная энергия московской профессуры. Из учреждений, находившихся под давлением Наркомпроса, ученые укрывались под сень другого, непросветительного ведомства.

Что касается тем для консультаций, то иногда, применительно к тогдашней эпохе всеобщего разрушения и хаотизации некоторых областей жизни, они носили курьезный характер. Так, однажды одно высокое учреждение прислало на отзыв проект организации искусственного воздействия на климат различных частей Европы. Для Северного ледовитого океана надо было построить флотилию судов с мощной артиллерией, с помощью которой можно было бы передвигать ледяные массы с места на место и тем самым вызывать в различных европейских государствах наводнения, засухи и прочие стихийные бедствия. На изготовление подробного плана работ и на предварительные опыты испрашивалась умопомрачительная сумма, если не ошибаюсь, несколько миллионов золотых рублей. Эта сумма, однако, в виду заманчивых перспектив, развернутых проектом, не испугала правительственный орган, и проект был передан нам на обсуждение. Пришлось по полной форме, с участием соответствующих экспертов созвать пленарное заседание комиссии, которое и вскрыло полную фантастичность проекта.

В другой раз была нам передана для выяснения телеграмма с далекого северо-востока, подписанная капитаном дальнего плавания по фамилии, кажется, Эмдиным (за точность фамилии не ручаюсь). В телеграмме содержалась просьба о предоставлении дополнительных средств на продолжение экспедиции к полуострову Ямалу. Никто в этом деле ничего не понимал,

все соответствующие ведомства отговаривались незнанием о существовании подобной экспедиции. Я случайно узнал, что недалеко от Москвы проживал в это время известный капитан дальнего плавания, знаток северноморских областей Седов. Будучи приглашен в Научную комиссию, он поведал нам совершенно авантюрную историю. Оказалось, что подписавший телеграмму, который вовсе не имел права именоваться капитаном дальнего плавания, получил в первые дни большевистского режима от новой, упоенной победою власти пароход, аэропланы и громадную сумму денег на прорытие канала через узкое основание полуострова Ямала, в котором протекают и две небольшие речки, облегчающие эту работу. Наличием такого канала был бы значительно сокращен маршрут судов, идущих вдоль северного побережья, и что самое главное, им не нужно было бы входить в опасные для плавания части Карского моря. Но за несколько лет проектант даже не добрался до места своего назначения. Он застрял со всей своей грузной экспедицией где-то на Енисее, порастряс там свои денежные средства и просил теперь о помощи. На наш телеграфный вызов он приехал в Москву и оказался скромным на вид молодым человеком небольшого роста, застенчивым и очень испугавшимся, когда ему было предложено сделать доклад о своей экспедиции. Он много, но не очень связно говорил о целесообразности и искренности своих намерений, о том, что он в течение нескольких лет кормил большое количество бедного народа. В конце концов, было решено потушить это дело и ликвидировать экспедицию, что и было сделано после всё-таки состоявшегося его доклада. Доклад в присутствии Седова и других специалистов, не стеснявшихся в своих суждениях во время прений, был для него моральной пыткой, наказанием, если не за преступление, то во всяком случае за крайнее, непозволительное легкомыслие.

Трагикомическими явлениями была особенно богата деятельность Комитета по делам изобретений, ра-

ботавшего в тесном контакте с Научной комиссией. Однажды мне пришлось в течение месяца замещать председателя этого комитета и принимать изобретателей. За этот месяц я наслушался вещей, которыми бы можно было богато иллюстрировать книгу Ломброзо — «Гениальность и помешательство». Нельзя, конечно, отрицать, что русскому народу свойственны находчивость, остроумие и изобретательность. Но в нем сидит и широкая натура, которая, при недостатке школьной образованности, затягивает его изобретательность в непроходимые дебри. Чуть ли не каждый день приходилось мне разговаривать с изобретателями perpetuum mobile и под какими-нибудь благовидными предлогами отклонять их проекты или по крайней мере откладывать их осуществление. Убеждать их в невозможности этого осуществления было безнадежно. Я научился улавливать в их глазах искорки какой-то неуравновешенности и фанатизма, с которыми впоследствии встречался и у некоторых представителей академической среды, повествовавших о своих будущих или уже состоявшихся, но еще не признанных великих открытиях. В их числе был, например, молодой физик, работавший над вопросом о строении атомового ядра. Он так увлекательно об этом рассказывал, что ему было отведено для работы отделение физического института. В разговоре же со мной он один раз пожаловался, что Рутерфорд не ответил на его письмо, а в другой раз скромно признался, что он пока еще не собирается добиваться Нобелевской премии. Никаких дальнейших сведений об его работе ко мне не поступало. Другой молодой ученый недавно сообщил мне, что он без лаборатории и при полном отсутствии научной литературы, которое наблюдалось тогда в Германии, сделал открытие, долженствующее перевернуть всё научное миросозерцание и обеспечить ему в истории науки место рядом с Д. И. Менделеевым.

К характеристике деятельности Научной комиссии необходимо добавить, что, кроме секций, при ней организовывались подкомиссии для изучения некоторых

специальных вопросов и для проведения практических мероприятий. Так, например, в 1919 году была основана подкомиссия для разрешения вопроса о массовом добывании инулина из растений и об использовании его вместо сахара. С этой целью было устроено специальное опытное поле. В следующем году возникла под моим председательством подкомиссия по использованию оставшихся от войны удушливых газов для истребления сельскохозяйственных вредителей, которая получила потом значение самостоятельного учреждения. Кроме уничтожения сусликов, для чего были выработаны новые усовершенствованные приемы, производилась дезинфекция зерновых хранилищ, истребление моли в меховых складах, была выслана экспедиция на Кубань и в Туркестан для борьбы с саранчой и т. д.

Дальнейшее развитие комиссии мыслилось нами в том направлении, что будет учрежден Московский научно-технический институт, грандиозное учреждение, главная цель которого заключалась бы в сближении между научной работой и промышленной практикой. Первый шаг в этом направлении был сделан путем создания Физико-технического института. Дальнейшее же развитие взаимоотношений между наукой и практикой, столь существенных для обеих сторон, затормозилось, а с прекращением работ Научной комиссии и совершенно прекратилось.

В непосредственном ведении НТО находилось несколько научных институтов: тепловой, аэродинамический и др., с которыми наша комиссия поддерживала тесный контакт.

Но особенно близкое участие принимала комиссия в работах учреждения, возникшего самостоятельно под названием «Северная научно-промысловая экспедиция». В сущности говоря, это была не отдельная экспедиция, а целое большое предприятие, устраивавшее различные экскурсии на север. Инициатором и главой предприятия был инженер Р. Л. Самойлович, человек необыкновенной энергии и исключительных

способностей извлекать из тогдашнего почти пустого рынка всевозможные товары для оборудования экспедиций. Когда мы с А. Н. Шустовым наладили поездку на Мурманское побережье, Рудольф Лазаревич задержал нас недели на две, чтобы снабдить нас в дорогу не черной мукой, а белой, которая была тогда большой редкостью в Москве. О продовольственном благополучии экспедиции, из которой мы вернулись, как с курорта, я говорил уже выше. Но и остальное оборудование было вполне на высоте. Всем участникам, в том числе и студенткам, были выданы солдатские шинели, столь удобные для дороги и для защиты от северных холодов. Мужчинам, кроме того, было предоставлено кожаное обмундирование. Вместо заболевшего Шустова, поехал с нами Ф. Н. Крашенинников, но Шустову мы собрали большое количество морских водорослей, в которых он нуждался для своих вышеуказанных исследований.

При Северной научно-промысловой экспедиции был учрежден ученый совет, возглавленный председателем Научной комиссии. Такая личная уния была весьма выгодна для обоих учреждений, придавая экспедиции научный вес, а комиссии предоставляя удобный случай использовать широкие практические возможности. Подобный же ученый совет был организован и в Ленинграде, под председательством президента Академии наук А. П. Карпинского.

Кроме научно-исследовательской и организационной деятельности, Научной комиссии было поручено распределение поступавших из заграницы книг и научных пособий между заинтересованными учреждениями. Это придавало комиссии формальное влияние и некоторое преимущественное положение в ученом мире.

Необходимо упомянуть, что почти вся деятельность Научной комиссии была связана с оказанием и другого вида материальной помощи, а именно с непосредственной поддержкой существования ее членов. Это было особенно важно в то время, когда среди уче-

ных царила острая нужда, ибо они не могли работать в области ручного труда, единственно тогда прибыльного. Комиссия не имела возможности платить своим членам регулярное жалованье, но она выдавала им вознаграждение за участие в заседаниях, за сделанные ими доклады и, что было самое важное, финансировала их научные исследования. Помню, как ко мне пришел престарелый И. А. Каблуков и с горечью сообщил, что он лишен права воспользоваться помощью комиссии, как специалист лишь по теоретической химии. Мне пришло в голову напомнить ему, что он занимается также и практической областью, а именно пчеловодством, и что исследование в этой области представило бы интерес для сельскохозяйственной секции. Почтенный коллега ушел от меня успокоенный и удовлетворенный.

Вся эта большая и разнообразная работа могла проходить гладко лишь при наличии соответствующего исполнительного аппарата. Я всегда высоко ценил значение этого аппарата и боялся остаться без него, как это выпало на долю кн. Г. Е. Львова, который одним взмахом пера устранил от должностей всех губернаторов. Мои дела, по сравнению с этим, были, конечно, маленькие. Но судьбе было угодно, чтобы в большинстве учреждений, которыми я заведывал, мне удавалось опираться на прекрасный исполнительный персонал. После ухода из Научной комиссии Ф. А. Головина, когда понадобилось организовать более обширное делопроизводство, я пригласил в качестве заведующей канцелярией А. А. Лузину, сестру П. А. Бурышкина, которая одно время издавала журнал «Народы и области», посвященный интересам национальных меньшинств, а потом была членом Главного комитета Союза городов. А. А. повела канцелярию настолько умело и энергично и прониклась такой любовью и привязанностью ко всему обиходу комиссии, что нередко ее называли осью, вокруг которой вертелась вся комиссионная работа. И остальной персонал канцелярии, подобранный главным образом ею, вполне

соответствовал ей в преданности делу и в работоспособности.

Большим недочетом в работе Научной комиссии была невозможность издавать печатные труды. Большинство результатов исследований, произведенных ее членами, сохранялось лишь в рукописях. Только к концу деятельности комиссии, когда условия типографской работы в Москве улучшились, НТО начал издавать два журнала: «Научно-технический вестник», в котором помещались оригинальные статьи и обзоры различных областей науки и техники, и «Сообщения о научно-технических работах в республике» со статьями рефератного характера. Главное редактирование обоих журналов было возложено на товарища председателя Научной комиссии А. Н. Реформатского.

Одновременно с Московской была учреждена и Ленинградская комиссия, во главе с академиком Н. С. Курнаковым, который иногда приезжал в Москву для согласования своих работ с нашей комиссией. Деятельность Ленинградской комиссии, однако, далеко не достигла того широкого размаха, каким отличалась наша работа в Москве.

Но и в Московской комиссии, на четвертом году ее существования, начали чувствоваться неблагоприятные влияния, приходившие извне. В ВСНХ было высказано недовольство чересчур теоретическим уклоном ее работы. Стали проектировать создание Научно-технического совета, который был бы до известной степени копией нашей комиссии, но с сильным упором в сторону практически-промышленных вопросов. Одно время полагали, что совет может существовать одновременно с комиссией, и меня пригласили произнести научную речь на торжественном собрании, посвященном совету. Но затем начали поговаривать о необходимости влить комиссию в состав совета. Большинству членов комиссии хотелось, однако, сохранить ее самостоятельность и не сливаться с советом, которому придавалась более бюрократическая организация. Главный вопрос, однако, заключался в том, откуда взять деньги,

если правительство откажется финансировать комиссию. При этом вопросе во мне проснулась наследственная купеческая жилка, и я вступил в переговоры с бывшим фабрикантом Аршиновым, который готов был под фирмой Научной комиссии пустить в ход свою суконную мануфактуру, остановившуюся с приходом к власти большевиков. В условиях Нэпа (новой экономической политики, провозглашенной Лениным) это было возможно. На доходы с фабрики комиссия могла бы великолепно существовать. К этому делу примкнуло еще несколько искушенных практиков, представителей былой торгово-промышленной среды. Перед нами открывались широкие перспективы. Но с моим недобровольным отъездом из Москвы вся эта затея рухнула.

Одним из последних мероприятий, которое наша комиссия предприняла совместно с ленинградскими профессорами, была организация поездки русских ученых заграницу. В виду того, что наши сведения о научных достижениях за пределами нашей страны, при скудости приходившей к нам иностранной литературы, были весьма недостаточны, я разработал проект посылки в Западную Европу двадцати ученых различных специальностей, которые могли бы привезти оттуда научные новинки, восстановить сношения с учеными кругами и наладить правильное снабжение наших библиотек новейшей литературой. Мои хлопоты увенчались полным успехом. ВСНХ и Совнарком горячо отозвались на наш проект, я был назначен руководителем поездки, а Научной комиссии было поручено подобрать для нее двадцать специалистов. Поездка ставилась на широкую ногу: каждому участнику была ассигнована огромная по тому времени сумма в две тысячи золотых рублей. Когда всё было готово, я отправился в президиум ВСНХ, чтобы поторопить окончательное разрешение дела. Секретарь сообщил мне, что всё в порядке и что нужен только формальный штемпель ГПУ, которому уже отосланы наши бумаги. Он тотчас же туда позвонил, но после телефонного разговора смущенно заявил мне:

— Они сказали, что все могут ехать, кроме руководителя поездки, который им еще понадобится здесь.

И действительно через короткое время у меня в квартире был произведен ночной обыск. Подозрительного ничего найдено не было, но, тем не менее, с меня была взята подписка, что впредь до дальнейшего распоряжения я не буду покидать своего жилища. Это обязательство мне, однако, не удалось выполнить. Моя квартира находилась тогда в старом здании университета, которое я с такими усилиями и любовью ремонтировал в бытность мою ректором. И вот на рассвете, когда кончился обыск, мы с женой, измученные тяжкой бессонной ночью, уселись около самовара, чтобы подкрепиться горячим чаем. Стояла чудная сентябрьская погода — бабье лето, и окна нашей обширной столовой были открыты настежь. Вдруг мы ощутили запах дыма и увидели, что он широкими струями пробивается к нам через окна. Оказалось, что на чердаке, повидимому, от неисправности дымохода, возник пожар, который всё более и более разгорался. Конечно, о неоставлении квартиры не могло быть и речи. Я должен был организовать первоначальное тушение домашними средствами. Затем я протелефонировал в пожарное депо, умоляя брандмейстера как можно скорее приехать для спасения здания, замечательного в культурном, историческом и художественном отношении. Через несколько минут пожарная команда была уже на месте, а приблизительно через полчаса брандмейстер пришел ко мне с сообщением, что опасность миновала. «Но если, — прибавил он, — вы бы проспали еще полчаса, то дело могло бы быть весьма серьезным». Я горячо благодарил его, и он ушел, не подозревая, что мы вообще в эту ночь не спали и что судьбе угодно было, чтобы одним из моих последних актов на родине было спасение от пожара дорогой alma mater. Когда наступил день и заработала университетская канцелярия, ко мне явился ректор Волгин с выражением благодарности, а также и негодования по поводу моего домашнего ареста.

Через несколько дней после этого происшествия меня вызвали в ГПУ, где я встретил и некоторых коллег по профессуре: А. А. Кизеветтера, Н. А. Бердяева, С. Л. Франка, Н. Д. Тяпкина, И. Х. Озерова, П. А. Велихова и др., а также нескольких общественных деятелей, среди них члена нашей Научной комиссии, А. И. Угримова. Нам было предъявлено немотивированное требование покинуть в семидневный срок пределы Советского Союза. Семьи могли ехать с нами, а из имущества позволялось вывезти по пяти английских фунтов наличными деньгами, а кроме того, по два предмета каждого наименования белья, одежды и других необходимых в дороге вещей (например, две шубы и два носовых платка). Мы все, конечно, согласились, тем более, что иначе нам грозили судебным преследованием. Но Тяпкину, Озерову и Велихову удалось потом какими-то таинственными путями освободиться от заграничной высылки. Они были посланы на сравнительно короткий срок на окраины России.

Когда я прямо из ГПУ, с Лубянской площади пришел в НТО, помещавшийся в нескольких шагах на Мясницкой улице, все там были, как громом, поражены неожиданно постигшим меня наказанием. Лишь председатель коллегии НТО, проф. В. Н. Ипатьев, выдающийся исследователь в области прикладной химии, бывший в то время persona grata правительственных кругов, попытался смягчить подавленное настроение шутливым замечанием: «Так значит, ваше желание поехать заграницу всё-таки осуществилось». Потом возникли формальные затруднения с досрочной выплатой мне жалованья за текущий месяц. Но этот второстепенный узел был решительно разрублен в мою пользу, как это ни странно, представителем коммунистической партии в коллегии, Флаксерманом, о котором уже была речь выше.

На другой день после объявления мне приговора о высылке я узнал, что постановлением ВСНХ Научная комиссия снималась с государственного обеспечения. Но члены ее решили в жертвенном порыве по мере

возможности продолжать работу на правах частного научного общества. Это им в течение некоторого времени удавалось. Однако, конструкция комиссии мало подходила для частной инициативы. Постепенно работа ее затормозилась, а затем совершенно угасла, как гаснет метеор, разбивающийся о негостеприимные скалы нашей планеты.

Налаженная мной поездка русских ученых заграницу тоже в значительной мере расстроилась. Лишь некоторым из намеченных лиц удалось поехать, но, как я потом узнал от них при встречах в Берлине, им, вместо обещанных двух тысяч, выдали только по пятисот рублей.

Я же, в виду краткости срока, предоставленного на сборы к отъезду, начал лихорадочно заниматься ликвидацией своих академических и общественных обязанностей. А таковых в ту пору на мне сконцентрировалось довольно много. Я профессорствовал в трех высших учебных заведениях. Кроме управления Научной комиссией, я председательствовал в ее сельскохозяйственной секции и в Комиссии по удушливым газам. Одновременно я заведывал Зоологической лабораторией, в которой, помимо преподавательской деятельности, велось несколько научных исследований, и редакторствовал в Обществе испытателей природы. Было и еще несколько более мелких служебных обязанностей. Интересно припомнить общую сумму окладов, получавшихся мною по службам, которые оплачивались (некоторые я выполнял бесплатно). Этот интерес заключается не в том, чтобы характеризовать мое богатство — я мог поддерживать лишь сравнительно скромный режим интеллигентной семьи, — а в характеристике тогдашнего состояния инфляции. Мой общий месячный доход простирался до 3½ миллиардов рублей, т. е. буквально до размера обыкновенного годичного государственного бюджета во время моего пребывания в Государственной Думе. В один месяц моя семья проживала столько рублей, сколько в преж-

нее время вся Российская империя расходовала за целый год.

Мои лихорадочные приготовления к отъезду оказались, однако, излишними. Сначала канцелярия ГПУ не могла справиться с изготовлением заграничных паспортов для приблизительно двадцати высылаемых семей. А потом начались затруднения с получением немецких виз. Германское посольство сообщило ГПУ, что оно не понимает, как можно высылать заграницу своих собственных граждан, что оно такой мере не сочувствует и могло бы дать визы только по личной просьбе каждого из нас. В группе высылаемых были в это время избраны два делегата для сношения с ГПУ — Угримов и молодой профессор Технического училища В. И. Ясинский, отличившийся перед тем своей энергией и распорядительностью по выхлопатыванию и распределению академических пайков. И вот однажды Ясинский слышит по телефону голос следователя ГПУ, заведывавшего делом о высылке: «Дорогой профессор, помогите нам!» Оказалось, что каждому из нас надлежало лично явиться в германское посольство и подать прошение о визе. Мы воспользовались случаем и договорились о том, чтобы посольство приготовило нам визы как раз к тому дню, когда мы должны будем выехать в Ленинград, для немедленной посадки на германский пароход, на котором мы уже заранее заказали себе места. Нам не хотелось задерживаться в Ленинграде, где группа профессоров, предназначенная к такой же высылке, как нам говорили, содержалась в тюрьме.

Между тем наши приготовления к отъезду были закончены и началось томительное ожидание, часто обострявшееся при встречах со знакомыми. Одна из примечательных уличных встреч была с академическим коллегой-коммунистом, если не изменяет мне память, с О. Ю. Шмидтом, впоследствии прославившимся своими экспедициями. Узнав о моей высылке, он пришел в крайнее возмущение и заявил, что немедленно идет в Совнарком, чтобы добиться отмены принятого по от-

ношению ко мне решения. На мою просьбу оставить дело в покое и на мое замечание, что я охотно еду заграницу, он категорически заявил, что принципиально не может согласиться с допущенной несправедливостью и завтра надеется сообщить мне по телефону благоприятный результат своего ходатайства. На следующий день он, действительно, позвонил мне, но его голос звучал гораздо скромнее. Он сообщил, что ему не удалось ничего добиться и что, взвесивши внимательно мое личное положение, он пришел к выводу, что мне заграницей будет лучше.

Другая встреча с видным коммунистом была не менее любопытна. Это был председатель Московского совета Л. Б. Каменев, который не собирался немедленно хлопотать обо мне, но предложил мне на случай, если мне не понравится заграницей, написать ему в частном порядке письмо, причем обещал устроить мое возвращение домой. Sic transit gloria mundi! Сановник, долженствовавший оказать мне могущественную протекцию перед советской властью, сам был через несколько лет подвергнут смертной казни по постановлению этой же власти.

Но больше всего нервировали меня уличные встречи с добрыми приятелями. Один подбегал ко мне с радостным восклицанием: «Как приятно видеть вас; вы еще живы!» Другой с таинственным видом сообщал мне, что, по дошедшим до него сведениям, нас собираются послать не заграницу, а в Сибирь и т. д.

Следователь ГПУ, с которым наши представители заключили некоторый род дружбы и который, по дошедшим к нам заграницу слухам, был впоследствии расстрелян, очень волновался тем, что немцы задерживают наш отъезд, и говорил, что сам В. И. Ленин требует от него скорейшего окончания этого дела. Наконец, сообщение о дне отхода нашего парохода было посольством получено, визы нам поставлены и мы оказались в нашем полном изгнанническом снаряжении.

Накануне отъезда пришел ко мне проститься А. Н. Реформатский. Когда мы приехали на Николаевский

вокзал, на перроне уже находилась довольно большая толпа учащейся молодежи, собравшаяся проводить нас. Но профессура и видная московская общественность оказались представлены одинокой фигурой М. А. Мензбира, который до самого отхода поезда безбоязненно стоял у окна вагона, беседуя со мной и с А. А. Кизеветтером. Остальные «страха ради иудейска» воздержались от проводов.

Поезд отошел под громкие приветственные восклицания провожавших, у многих из которых так же, как и у нас, в глазах стояли слёзы. Мы навсегда покидали нашу добрую старушку, Белокаменную Москву.

Моя жизнь на родине, посвященная науке и России, кончилась. Начиналась новая жизнь, на чужбине, которая часто омрачалась всевозможными беженскими скорбями и трудностями. Но и ее я старался наполнить и оживить научной работой и служением русскому народу.

XI. РУССКИЙ СВОБОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В ПРАГЕ

“Ans Vaterland, ans teure, schliess dich an,
Das halte fest mit deinem ganzen Herzen.
Hier sind die starken Wurzeln deiner Kraft”.

Schiller. Wilhelm Tell.

Великая жизненная катастрофа — изгнание из пределов родной земли — обратилась ко мне своей положительной стороною. Уже внешняя обстановка нашего путешествия оказалась очень удачной. Во-первых, мы ехали свободно, почти не чувствуя над собой никакого полицейского надзора, а во-вторых, нам всё время благоприятствовала погода. Прибывши в Ленинград рано утром, мы поселились в Английской гостинице, которая тогда, в пору Нэпа, функционировала почти так же, как в доброе старое время. Погрузка на пароход была назначена на утро следующего дня. День же приезда моя семья использовала для осмотра столичных достопримечательностей, а я для прощальных визитов своим университетским коллегам. Здесь они не боялись обвинения в сношениях с политическим изгнанником. Мой старый приятель П. П. Сушкин, достойный ученик М. А. Мензбира, живший в то время в Ленинграде в качестве академика, мужественно появился с женой даже на пристани, к отходу парохода.

Особенно трогательным было прощание с умиравшим В. М. Шимкевичем, который, стараясь вызвать на лице свою обычную добродушную улыбку, заявил мне, что он собирается в дорогу более дальнюю, чем я. Владимир Михайлович был вообще выдающимся человеком. Глубокий и серьёзный ученый, он обладал

в то же время неистощимым богатством житейского юмора. Однажды, еще во время его ректорства в Петроградском университете, мой разговор с ним был прерван появлением секретаря со срочными бумагами. Начав подписывать бумаги, он возобновил разговор, а на мое замечание, не помешает ли ему это сосредоточиться на содержании бумаг, ответил в презрительно надменном тоне, что он принципиально не читает бумаг, которые подписывает. Очевидно, его секретарь принадлежал к той же высокой школе русского чиновничества, как мой С. И. Преображенский. При моем последнем посещении Шимкевича его близкие рассказали мне, что когда после операции по устранению грудных отеков, врач показал ему изъятое у него ребро, он получил от тяжко больного ответ: «А я думал, что вы, вместо него, приведете мне Еву». Он завершал свой путь на земле спокойно и бестрепетно, с полным сознанием исполненного жизненного долга.

Наша погрузка на пароход состоялась благополучно, хотя и с придирчивым осмотром багажа. Пароход тронулся, но вдруг стало известно, что вместе с нами едут три агента ГПУ в характерных для них кожаных костюмах. Сейчас же зародились всевозможные тревожные подозрения. Тем более, что перед входом на пароход у нас отобрали паспорта. Начались разговоры о том, что нас везут не в Германию, что нас вернут в Ленинград или высадят в Кронштадте и т. д. А пароход, под руководством лоцмана, двигался с чрезвычайной медлительностью, как бы испытывая наше терпение. Вот и Кронштадт. Пароход стоит, нас не высаживают, но и кожаные куртки не покидают парохода. Новые догадки и беспокойства. Наконец, пароход останавливается еще раз, невдалеке от маяка. К нему причаливает моторная лодка, в которую спускаются лоцман и трое агентов. Всеобщий вздох облегчения. В то же время один из пароходных служащих несет в капитанскую кабинку большую пачку наших зеленых паспортов. Пароход издает, как нам кажется, особенно радостный свист и на всех парах устремляется в откры-

тое море. Трудно описать бурное веселье, овладевшее нами. Мы освободились от грозного, докучливого надзора ГПУ; мы идем на иностранном пароходе в свободную Европу. Только теперь мы заметили, что с безоблачного небосвода нам светит яркое, но уже поосеннему ласковое, не палящее солнце. Только теперь перед нашими взорами открылась дивная панорама безграничного моря. Только теперь ощутили мы чарующую опрятность и нарядность окружавшей нас пароходной обстановки. Пробил час обеда и, несмотря на продолжавшееся тогда в Германии продовольственное напряжение, нас накормили вкусно и обильно. Все последующие три дня нашего пути до Штеттина мы чувствовали себя как в первоклассном санатории. Днем гуляли по палубе, греясь на солнце, вечером любовались фосфоресценцией морских животных, отскакивавших, как искры, от пароходного носа, а ночью спали крепко и беззаботно. Никакие преследования нам уже не грозили.

Мне лично поездка на пароходе принесла еще один существенный сюрприз. Помощник капитана передал мне запечатанный конверт, в котором оказалось сто английских фунтов. Это были деньги, которые я отдал, без особенной надежды на получение их обратно, одному московскому знакомому, обещавшему переправить их мне заграницу. Я, хотя и был на пароходе, сразу почувствовал твердую почву под ногами и спокойствие за материальное положение нашей семьи в ближайшем будущем.

По прибытии в Берлин профессорская часть нашей группы энергично принялась за организацию Русского научного института. Это ей удалось без большого труда, благодаря содействию Общества для изучения востока (Deutsche Gesellschaft zum Studium Osteuropas) и, главным образом, его основателя, известного знатока России проф. О. Хетча. Институту было предоставлено прекрасное помещение в Академии Шинкеля, где и состоялось торжественное открытие его. Интересно отметить своеобразный трюк прессы.

Когда мы выходили из собрания, у входа продавалась завтрашняя русская газета с подробным описанием только что закончившегося торжества и с изложением произнесенных мной и проф. И. А. Ильиным академических речей. Институт просуществовал потом до самого наступления гитлеризма.

Я с семьей, однако, не долго оставался в Берлине. Мы переехали в Гейдельберг, где мне представилась возможность, хотя и скромная, продолжать научно-исследовательскую работу. Но и там наше пребывание не было продолжительным. Я получил письмо от П. И. Новгородцева, который возглавлял в то время многочисленную Русскую академическую группу в Праге. Он приветствовал меня в новом для меня положении странствующего профессора и предлагал переселиться в славянскую Прагу, где развивалось большое русское дело. Колебаний не было, и в 1923 г. состоялся переезд нашей семьи в Прагу, где для меня началась долгая полоса научной и общественной деятельности, тянувшаяся шестнадцать лет.

В общем эта полоса жизни ознаменовалась многими успехами. Но горькое чувство изгнанничества непрестанно томило сердце. Никогда не замирало болезненное ощущение разлуки с родиной. И часто хотелось воскликнуть вместе с Бальмонтом:

Ни Рим, где слава дней еще жива,
Ни имена, чей самый звук услада —
Тень Мекки и Дамаска и Багдада —
Мне не поют заветные слова,
И мне в Париже ничего не надо,
Одно лишь слово нужно мне — Москва!

Когда я приехал в Прагу, русская академическая жизнь в ней кипела и бурлила. Чехословацкое правительство, во главе с президентом Т. Г. Масариком, встретило русских беженцев чрезвычайно гостеприимно. Профессорам и доцентам была назначена солидная пожизненная пенсия, которая, правда, впоследствии была сильно урезана. Учащейся молодежи были предоставлены стипендии до окончания высшего образования.

Началось энергичное культурное строительство. Быстро организовались две русских гимназии и несколько высших учебных заведений. Из них на первом месте Русский юридический факультет с такими выдающимися силами, как П. И. Новгородцев, Д. Д. Гримм, Е. В. Спекторский, А. А. Кизеветтер, С. В. Завадский и др.

К сожалению, однако, этот медовый месяц тянулся недолго. Вначале никто не мог предполагать, что русская эмиграция затянется на большое количество лет. Даже в большевистских кругах на это не расчитывали. При моем отъезде из Москвы, в сентябре 1922 г., член коллегии НТО Флаксерман, вращавшийся в высших партийных сферах и исполнявший одно время обязанности секретаря Ленина, намекнул мне, что мое отсутствие будет продолжаться примерно полгода, но что с ним в Москве я уже потом не увижусь. Чехословацкое правительство считалось, очевидно, с более продолжительным, но тоже не очень долгим существованием коммунистической власти. А после падения ее предполагало поддерживать дружеские отношения с великой восточной державой при содействии имевших возвратиться домой своих пенсионеров. Но гости приятны лишь в том случае, если они не злоупотребляют гостеприимством своих хозяев. По мере того, как стало выясняться, что русская эмиграция может задержаться на неопределенно долгое время, а в особенности после установления дипломатических сношений между Чехословакией и Советской Россией, симпатии чехов к беженцам начали таять и кредиты на них стали ассигновываться всё с большими и большими затруднениями. Это положение обострялось тем, что беженцы не имели права ни поступать на казенную службу, ни открывать собственных предприятий.

В то же время в эмигрантской массе происходили серьёзные психологические сдвиги. Жажда к учению, которая, после долгих лет войны и Белого движения, так ярко проявилась у изголодавшейся по духовной пище молодежи, начала постепенно падать и заменяться лишь стремлением получить диплом.

Научный энтузиазм старшего академического поколения тоже встретился с тяжелыми испытаниями. Чешская профессура оказалась очень замкнутой. Может быть, это до известной степени явилось следствием ревности и боязни конкуренции со стороны блестящей плеяды русских ученых, собравшихся в Праге. Во всяком случае, лишь немногим из них удалось проникнуть в чешские высшие учебные заведения, притом почти исключительно на нештатные должности.

В результате всего этого началось расселение по другим странам, в которых беженцам обеспечивалось право на труд и заработок. Одновременно стали закрываться и высшие учебные заведения. Одним из наиболее прочных культурных учреждений Праги оказался Свободный университет, просуществовавший вплоть до ликвидации демократического режима Чехии и развивший исключительно широкую и разнообразную деятельность.

Вскоре после моего приезда в Прагу П. И. Новгородцев сообщил мне, что Земгор, последний отпрыск земских и городских самоуправлений, состоявший в то время преимущественно из эсеров, высказал желание открыть народный университет и за помощью в этом деле обратился к нему и к некоторым другим профессорам либерального направления. Наши правые коллеги, конечно, не могли вступать в сотрудничество с социалистическим учреждением, даже по делам просветительного характера. На предложение Павла Ивановича присоединиться к их группе и взять под свое ведение в будущем университете область естественных наук, я согласился с полной готовностью. Во главе университета мы рассчитывали поставить нашего общего приятеля, заслуженного историка А. А. Кизеветтера. Но на первом организационном собрании Александр Александрович категорически отказался, указав на меня, как на лицо, своей предшествующей деятельностью более, чем он, подготовленное к несению предложенных ему обязанностей. Мои колебания

были устранены единодушным вотумом собрания, и я согласился.

Ни одним учреждением я не руководил так долго, как Русским народным университетом в Праге. Я находился во главе его ровно 16 лет — рекордный срок в моей пестрой, калейдоскопически менявшейся жизни. За это время было сделано не мало ошибок, но были и серьезные достижения ради русского имени и к прославлению нашей отечественной культуры. Незадолго до ухода, как бы предчувствуя его, я издал небольшую брошюру, посвященную пятнадцатилетию университета. В сухой, объективной форме официального отчета изложены там главнейшие этапы его существования. Здесь я попытаюсь дополнить их личными впечатлениями, поскольку таковые сохранились в моей памяти.

В течение длинного ряда совещаний нашей профессорской группы с представителями Земгора выяснился различный подход к организации университета. Земгоровцам хотелось взять всё дело в свои руки с тем, чтобы профессора были только исполнителями. Нам эта тактика была хорошо знакома. Она проводилась неоднократно и царским правительством, а потом была доведена до совершенно уродливых форм коммунистической властью. Мы же стояли за автономное положение профессорского Совета, по крайней мере в области вопросов, касавшихся ученой и учебной работы. Наконец, было решено передать эту область целиком Совету, но с тем, что в его состав войдет несколько представителей комитета Земгора. Хозяйственная же часть поручалась этому комитету.

16-го октября 1923 г. (дата, которая постоянно отмечалась в пражских отрывных календарях) состоялось торжественное открытие университета. К этому времени организовался президиум Совета, причем заместителями председателя были избраны П. И. Новгородцев и А. А. Кизеветтер, а секретарем доцент международного права М. А. Циммерман. В таком солидном составе президиум чувствовал себя способным

противостоять возможным покушениям на самостоятельность учебного дела. Это было существенно, потому что даже на торжественном заседании, в ответ на наши слова о высоком значении свободной науки, заведывавший тогда просветительным отделом Земгора Шнейдер намекнул в своем приветственном слове, что наука стоит на правильном пути лишь в том случае, если она считается с потребностями народа, т. е. находится под его контролем. Трогательным моментом заседания было, когда к концу его человек скромного вида, сидевший в первом ряду, попросил у меня слова для приветствия. Он оказался проф. Зд. Бажантом, недавним ректором Пражского высшего технического училища. Никогда не бывавший в России, он, заботливо подбирая русские слова, высказал нам свое убеждение, что университет может принести пользу также для чехов и для славянского дела вообще. В нем сразу почувствовался наш добрый друг, каковым он и проявил себя впоследствии.

Учебная деятельность университета успешно началась устройством публичных лекций и курсов иностранных языков, а в дальнейшем постепенно расширялась, захватывая в сферу своих интересов всё новые области. Менее благополучно обстояло дело с административной частью. Комитетом Земгора была установлена должность управляющего делами университета, на которую был назначен с профессорским окладом П. Д. Климушкин, бывший министр внутренних дел одного из кратковременных южнорусских правительств. Это был очень старательный, молодой человек, полный сознанием собственного достоинства, но мало подготовленный к университетской работе. На одном из заседаний, на упрек в превышении власти, он, наслушавшись перед тем разговоров о самостоятельности высшей школы, с важностью ответил: «Нет, позвольте! Я понимаю свою автономию ширьше». Это замечание было характерно не только для его образовательного уровня, но и для политики Земгора, стремившегося использовать свои бюджетные права

для воздействия на направление университетской работы. Помня завет кн. С. Н. Трубецкого не делать из университета площади, я решительно восстал против этих стремлений, в чем, естественно, нашел полную поддержку со стороны обоих моих заместителей. С. В. Завадский, который заменил вскоре скончавшегося П. И. Новгородцева, также твердо стоял на нашей общей точке зрения. Но управляющий делами, любивший, чтобы его называли директором, продолжал свои попытки вмешательства в учебные дела, начальственно предлагая, например, таким научным авторитетам, как акад. П. Б. Струве или проф. Н. О. Лосский, читать лекции более популярно и этим делать их доступными для широкой публики. В хозяйственном же отношении Земгор мало считался с нами, перекидывая университетскую канцелярию по своему произволу из одного помещения в другое. Располагая значительными финансовыми средствами, он держал профессорский персонал и всю учебную часть университета в черном теле.

Такое положение казалось мне нетерпимым, и я вошел в соглашение с Министерством иностранных дел, в недрах которого земгоровцы пользовались исключительными симпатиями, а также с Министерством народного просвещения, на предмет выделения Университета из ведения Земгора и предоставления ему самостоятельности под непосредственным контролем обоих Министерств. После долгих, нудных переговоров Комитет Земгора согласился на эту реформу, но выговорил себе право в будущий орган управления Университетом делегировать трех представителей. Этот орган, под названием Кураторія, сложился удачно. Он был избран в декабре 1925 г. на учредительном собрании образованного для этой цели Общества Русского народного университета. Председателем Куратория был выбран проф. Бажант, который потом каждый год неизменно переизбирался на новый срок. Заместителем его был сенатор С. В. Завадский, а мою должность председателя Совета переменили на звание ректора,

который считался членом Куратория ex officio. В уставе Общества было определенно указано, что на Кураторий возлагаются общие заботы об университете, но что учебная часть всецело входит в компетенцию профессорского Совета. Председатель Куратория, который еще при открытии университета произвел на нас чарующее впечатление, действительно, оказался очень хорошим, хотя, как большинство чехов, несколько угрюмым человеком, горячим руссофилом и убежденным сторонником университетской автономии. Когда в заседаниях Куратория представителями общественности делались попытки вторжения в компетенцию Совета, нам не нужно было защищаться. Председатель был на страже и категорически, со ссылкой на устав, пресекал эти попытки. Из персонала Куратория можно отметить следующих выдающихся чешских деятелей: проф. Б. Немец, знаменитый ботаник и общественный деятель, кандидатура которого выставлялась на должность президента республики, проф. Ю. Поливка, известный славист, д-р З. Д. Завазал, заведывавший в Министерстве иностранных дел беженским департаментом, П. Р. Макса, бывший чехословацкий посланник в Варшаве, с которым я был хорошо знаком по совместному сидению в Бутырской тюрьме в Москве. Из русских там фигурировали: проф. Е. В. Спекторский, бывший ректор Киевского университета, проф. Н. С. Тимашев, сын бывшего министра торговли и промышленности, проф. А. А. Кизеветтер, проф. В. В. Лепешкин, известный ботаник, В. А. Харламов, бывший член Государственной Думы, и т. д. Словом, Кураторий, в смысле персональном, выглядел весьма нарядно, и работать в нем было приятно. Лишь некоторые земгоровцы одни иронически, а другие путая в наивной простоте иностранные слова, называли его крематорием.

Только что преодолев затруднения слева, мы совершенно неожиданно встретили на учредительном собрании Общества оппозицию с другой стороны. Небольшая группа крайне правых профессоров наду-

мала воспользоваться произведенной нами предварительной организационной работой и захватить уже почти готовое учреждение в свои руки. Их застрельщиком явился ботаник В. С. Ильин, двоюродный брат Ивана Александровича, моего компаньона по выступлениям в Берлине, а впоследствии на дне Русской Культуры в Женеве. Василий Сергеевич чувствовал себя, повидимому, обиженным человеком. Несмотря на свой сравнительно преклонный возраст, он продолжал нести обязанности ассистента в лаборатории проф. Немца, который относился к нему очень хорошо и ценил его научные работы, но какого либо продвижения по службе ему не давал. Он явился на наше собрание с самостоятельным списком кандидатов в члены Куратория и энергично, но безуспешно агитировал за него. В дальнейшем, ценя его организаторские способности, я привлек его к работе университета и, после смерти Кизеветтера и Завадского, провел его на должность проректора. Но политика умиротворения, как это часто бывает, и на этот раз не оправдала себя. Он ухитрился сорганизовать тесную группу своих друзей и единомышленников, и в последние месяцы моего пребывания в Праге мне пришлось испытать много горечи и разочарований.

Что касается культурной деятельности, то прототипом в этом отношении мы с самого начала наметили Московский городской народный университет им. Шанявского. Подобно тому, как в этом последнем популяризаторская деятельность совмещалась с серьезной научно-исследовательской работой, мы также старались охватить все сферы и все степени науки и искусства.

Обучение осуществлялось у нас по трем ступеням. Низшая ступень применительно к программе российских начальных школ, имела целью искоренение неграмотности среди взрослых. Некоторое количество таких неграмотных насчитывалось среди казаков и крестьян, живших отчасти в Праге, но главным образом в ее окрестностях. Это явление, которое темным пятном вы-

делялось на фоне всеобщей грамотности чехов, казалось нам зазорным, и мы пригласили всех соответствующих лиц на наши бесплатные курсы. Они явились, изъявили согласие учиться, но потребовали, чтобы им было назначено за это вознаграждение. В ответ на наше изумление они деловито заметили: «А вы что же думали? Что мы на вас будем работать даром?». Пришлось договориться в том смысле, что Земгор будет после уроков давать им даровые обеды в своей столовой. Кроме Праги, школы грамоты для взрослых были открыты в Ужгороде и Кошицах, где наблюдалось наиболее густое сосредоточение земледельческих элементов. О неграмотных детях нам заботиться не приходилось. Для этого существовало обязательное обучение в чешских и русских школах. Но для бедных школьников мы устраивали, совместно с Русским Красным Крестом, рождественские елки и пасхальные праздники с раздачей подарков.

Из предметов среднего образования большой успех имели курсы иностранных языков, которые велись всё время существования университета. Это было существенное богатство, щедро раздававшееся эмигрантам. Знание языков помогло многим из них устроиться в жизни. Курсы организовывались не только в Праге, но и в провинции. Кроме того, периодически налаживались курсы счетоводства, торговой корреспонденции, стенографии и т. д. Интересным начинанием были землемерные и дорожно-строительные курсы. Они возникли по инициативе инж. В. Т. Васильева и велись под руководством видных профессоров Чешского технического училища К. Шпачека и Я. Пантофличка. В названных специальностях чувствовался недостаток средних техников. Поэтому все наши абсольвенты быстро находили себе службу главным образом в Словакии, где большое количество шоссейных дорог построено русскими. Некоторые же из окончивших наши курсы получили работу заграницей, например, в Польше или во французских колониях. Васильев изготовил очень нарядные аттестаты для окончивших кур-

сы, которые подписывались представителями нескольких чехословацких министерств и производили, благодаря этому, чарующее впечатление на работодателей. Это обстоятельство явилось, однако, источником неприятностей для курсов. Слушатели подобных же чешских курсов, завидуя красоте и солидности наших дипломов, повели против нас агитацию в правительственных кругах. Но к этому времени кадры для наших курсов были почти исчерпаны, и мы без большого огорчения закрыли их.

В последний период существования университета при нем организовались, по почину Н. А. Бигаева, общеобразовательные женские медицинские курсы для подготовки квалифицированных сестер милосердия. Полковник Бигаев начал работать в университете в качестве слушателя, но быстро выдвинулся в ряды его наиболее энергичных сотрудников. Темпераментный осетин, горячий русский патриот, он глубоко был предан делу народного просвещения. По его инициативе еще раньше возник при университете кружок по изучению мировой войны, а затем кружок по вопросам евгеники, которой он особенно увлекался, видя в ней надежный путь к усовершенствованию человеческой породы. Медицинские курсы велись по программе российских фельдшерских школ и были прекрасно поставлены под руководством весьма серьезного, умелого врача А. М. Ватулина. Кроме теоретических лекций и демонстраций, удалось организовать также некоторые практические занятия в чешских клиниках, преодолевая, конечно, косность местного персонала. Присутствуя на выпускных экзаменах курсов, я понимал, что наши дамы, независимо от возможных военных заданий, будут полезными консультантками как в своих семьях, так и среди знакомых. Когда же на торжественном заключительном акте, в зале, богато украшенном цветами, д-р Ватулин читал проникновенные слова русской врачебной присяги, а я говорил приветственную речь, то, видя перед собой десятки молодых, прекрасных лиц, горящих одушевлением и готовностью пойти

на помощь страждущей части человечества, я снова восторгался образом русской женщины, воспетой Пушкиным и прославленной Тургеневым.

Переходной формой между средним и высшим уровнем образования были популярные лекции по различнейшим отраслям знания, которые читались, как в Праге, так и в большинстве других городов республики. Кроме обычных лекций, устраивались дискуссионные вечера, на которых приглашенными специалистами, при участии публики, разбирались наиболее интересные проблемы науки и искусства. Особенно ярко выступает в моей памяти один из таких вечеров, посвященный вопросу о возможности изготовить протоплазму, т. е. искусственным образом создать простейший живой организм. Мой приятель В. В. Лепешкин, двоюродный брат того Лепешкина, с которым мы когда-то издавали в Москве «Биологический журнал», европейски признанный авторитет по изучению протоплазмы, утверждал, со своей материалистической точки зрения и вопреки моим скептическим замечаниям, что это возможно. В порыве спора он заявил, что поедет в Америку, где ему предоставляют для его опытов громадные средства, и что он рассчитывает годика через два привести в Европу искусственный живой организм. Это происходило в двадцатых годах. После этого проф. Лепешкин несколько лет пробыл в Америке, потом работал в Барселоне и Вене, а теперь снова пребывает в США. Он издал несколько почтенных трудов, но об искусственной протоплазме ничего не слышно. Думается, что человечество и не услышит об этом никогда. Даже возродившиеся в последнее время надежды, что загадку происхождения жизни удастся разрешить путем изучения недавно открытых фильтрируемых вирусов или методом разложения атома и использованием атомной энергии, представляются мне неосуществимыми. Конечный предел знания, т. е. абсолютная истина, образование вселенной и возникновение живых существ с их внутренней активностью, недоступны для ограниченного человеческого разума.

Или, может быть правильнее сказать, что они отодвинуты в бесконечность, постоянно влекущую к себе наш ум, но недостижимую для него.

Научно-исследовательская область культивировалась в состоявшем при университете Философском обществе, а также в целом ряде специальных семинариев и кружков. Создано было и Педагогическое общество под председательством столь авторитетного лица, как А. В. Жекулина, но из-за недостатка интереса к нему со стороны гимназических и иных преподавателей, оно не проявляло регулярной деятельности. Это напоминало мне пассивность московского учительства по отношению к Обществам попечения об учащихся детях. Педагог в футляре, который многократно изображался в русской беллетристике, встречается, к сожалению, весьма часто и в жизни, притом в самых разнообразных степенях и оттенках.

Результаты исследовательской работы университета опубликовывались в «Научных трудах», которые начали выходить в свет с 1928 г. на русском и иностранных языках. Трудно было добыть нужные для этого средства. Однако, благодаря могущественной поддержке канцлера Пр. Шамаля, который был близок к проблемам природоведения и интересовался, как нашим университетом, так и моими личными работами, удалось преодолеть и это препятствие. Горячий библиофил, он выразил живейшую радость, когда я вручил ему прекрасно изданный первый том «Научных трудов».

Интересно отметить, что в противоположность к нетерпимости, которую часто проявляли наши украинские коллеги, мы старались, по мере возможности, и с ними поддерживать добрые научные отношения. На наших собраниях выступал с докладом известный украинский историк Д. И. Дорошенко, а руководителем кружка по изучению евгеники состоял Б. П. Матюшенко, просивший, однако, чтобы на афишах указывалось его звание профессора Украинского университета.

Наряду с ученой деятельностью наш университет проявлял себя и в области искусства. По инициативе бывшего артиста петербургской Мариинской оперы Александровича устраивались в течение многих лет исторические концерты, первая часть которых посвящалась лекции о ком-либо из выдающихся русских композиторов, а вторая часть камерному исполнению его произведений. Менее успешными оказались попытки ставить отдельные сцены из опер в костюмах и с декорациями. На это у нас нехватило сил, ни материальных, ни артистических. Помню, как молодому человеку, обладавшему недурным баритоном и певшему Онегина, посоветовали при словах Татьяны «ему я Богом отдана и буду век ему верна», сделать жест отчаяния, а он так комично махнул рукой, что в публике послышался смех. Беда заключалась еще в том, что, как это часто случается в наших беженских условиях, одновременно образовались две оперные труппы, которые неистово конкурировали одна с другой и из которых ни одна не могла подобрать себе достаточно солидного ансамбля.

Такая же неудача постигла и драму. После распада группы Художественного театра, которая в течение нескольких лет была украшением пражского сценического мира, образовалась любительская труппа, в которой были неплохие силы. Но она была дезорганизована и Министерство иностранных дел поручило Народному университету привести ее в порядок, пользуясь содействием таких компетентных лиц, как автор «Осенних скрипок» Сургучев и Е. Н. Чириков, супруга которого была прежде артисткой Александринского театра. Но два литератора так между собой перессорились, что я должен был заявить Министерству о невозможности исполнить его поручение. Впоследствии, уже независимо от университета, в Праге было устроено несколько удачных русских драматических спектаклей.

Университет организовывал литературные вечера, посвященные русским писателям, а также торжествен-

ные собрания по случаю знаменательных дат истории России или годовщин выдающихся русских людей. Таким образом непрестанно удерживалась и крепилась духовная связь с нашей далекой родиной, с ее умершими и еще жившими тогда созидателями в области культуры. Забота деятелей Народного университета заключалась в том, чтобы питаться корнями своего отечества.

Мы начали свою деятельность с подражания Московскому университету им. Шанявского. Но московские традиции не оказались в нашей среде достаточно крепкими. Ведь подавляющее большинство беженцев вышло с юга России. Из московской профессуры П. И. Новгородцев скончался в начале, а А. А. Кизеветтер в середине моего пребывания в Праге. Так что в этом смысле я остался одиноким. При жизни Кизеветтера мы с ним часто делились воспоминаниями о Москве и в частности о Малом театре, к труппе которого он близко стоял, как консультант по историческим вопросам. Мы, конечно, отдавали должное необыкновенной жизненности и реальной правдивости постановок Художественного театра. Но наш юношеский сценический заряд мы получили еще до его основания, в Малом театре, особенно из героических драм Шиллера, Лессинга и др. Когда выдающийся артист Ленский произносил своим задушевным голосом: «и эта честь велит мне вашим быть», или Южин восклицал с бурным порывом: «я человечество люблю», то по спине пробегали мурашки и в душе рождалась Аннибалова клятва служить народу и сделаться глашатаем человеческого достоинства.

Но особенно яркое воспоминание осталось у нас от юбилея гениальной артистки М. Н. Ермоловой, которую мы оба лично знали. Для этого юбилея была поставлена «Орлеанская дева», но не в Малом, а в Большом (оперном) театре, обширная сцена которого давала благоприятные возможности для декоративных сооружений и массовых движений. Один момент этого величественного спектакля особенно ярко врезался в

мою память. В лагере французского короля всеобщее уныние от военных неудач. Но вдруг, как луч яркого света, распространяется слух, что приближается Орлеанская дева, уже прославившаяся несколькими победами над английскими войсками. Король готов принять ее, но чтобы испытать ее чудодейственность, приказывает одному из своих приближенных, Дюнуа, занять его место. Дюнуа — Южин каким-то необыкновенно торжественным шагом, в удивительно красиво раздувающейся рыцарской мантии, поднимается к трону. Быстрой, порывистой походкой появляется Жанна д'Арк (Ермолова), эффектно закованная в блестящие латы, и бросив пронизывающий взгляд на сидящую на троне величественную фигуру, резким безапелляционным тоном восклицает: «Ты Бога испытуешь! Не на своем ты месте, Дюнуа! Вот тот, к кому меня послало небо!» И обращается к скромной фигуре короля, скрывшегося в толпе придворных. Момент высочайшего напряжения, мастерски проведенный на сцене и овладевший всем зрительным залом, разрешается всеобщим движением изумления исполнителей и облегченным вздохом публики.

Когда в Прагу пришло известие о смерти Ермоловой, я попросил Кизеветтера посвятить ее памяти одну из своих лекций. Он, конечно, с радостью согласился, но южнорусская беженская публика отнеслась к нашему призыву совершенно равнодушно. На лекцию пришло 6 слушателей (средняя посещаемость в то время было около 40 человек). По окончании лекции старушка А. С. Петрункевич, мать графини Паниной, сказала: «Как жаль, что русские пражане не видали Ермоловой. Но еще более жалко и позорно, что они не слышали сегодняшней лекции!». Подобная же участь часто постигала и другие лекции, посвященные первопрестольной столице.

Более успешным способом закрепления московских корней на чужой земле бывало празднование Татьянина дня, годовщины основания Московского университета. В первый год моего пребывания в Праге я

предложил ознаменовать этот день устройством торжественного заседания для русской публики. В это время Прага была полна нашей профессурой, съехавшейся из разных университетов. И вот на собрании, после моего вступительного слова, начались приветствия далекому юбиляру от представителей почти всех российских университетов. В первую очередь выступили бывшие ректора университетов: Петербургского — Гримм, Киевского — Спекторский и Новороссийского — Кишенский. Потом профессора остальных, представленных на собрании, высших школ. Это было так интересно, что публика воспрепятствовала попытке сократить время, предоставленное ораторам. Подготовленное для второй части торжества концертное отделение должно было за поздним временем отпасть.

На следующий, 1925 год, приходилось 170-летие нашей alma mater. Советом Народного университета было решено придать празднованию более широкий характер. Был снят большой концертный зал и программа составилась из трех отделений: речей, посвященных юбиляру, науке и родине, литературного вечера и танцев. Были приняты, конечно, меры к организации надлежащего русского буфета. Речи были произнесены мной, проф. Кизеветтером и представителем студенчества. Литературное отделение было с обычным мастерством поставлено артистами Художественного театра и состояло главным образом из Чеховских сценок. Пражская группа художественников обладала тогда такими первоклассными силами, как Германова, Греч, Краснопольская, Крыжановская, Вырубов, Дуван-Торцов, Массалитинов, Павлов, и спектакль имел громадный успех у переполнившей зал публики.

Но наше блестящее торжество чуть не окончилось бедой. В перерыве после первого отделения из-под эстрады показался дым. Накопившийся там в большом количестве сор загорелся от незатушенной спички или папиросы. Уже начиналась паника, но, благодаря энергии присутствовавшей молодежи, пожар был скоро

потушен, и Дуван-Торцов начал литературную программу словами: «После пламенных речей, от которых загорелся даже подиум...»

Татьянинские вечера с серьезным началом и веселым концом сделались традиционными в Праге. Университет не извлекал из них материальных выгод. Они устраивались на демократических началах, и одна из главных забот организаторов сводилась к тому, чтобы предупреждать или смягчать эксцессы, столь обычные на студенческих вечеринках в Татьянин день. Я лично испытывал на этих вечерах ощущение, как будто я находился в Москве.

Особой торжественностью была отмечена 175-ая годовщина Московского университета. По этому поводу мы, совместно с парижанами, издали большой сборник, посвященный юбиляру. При Народном университете был создан «Капитал Московского университета», из которого в течение последующих лет выдавались пособия и ссуды нуждающимся студентам. И самое празднование, состоявшее из банкета и вечера, носило весьма импозантный характер.

В последние годы моего пребывания в Праге татьянинские праздники приняли иной характер. С учреждением Научно-исследовательского объединения, о котором речь пойдет дальше, было решено сделать их доходным предприятием для получения средств на издание «Научных записок». Возник чешский комитет из дам, принадлежавших к верхам пражского общества, под председательством супруги городского головы Амалии Бакса. Вечера приняли более аристократический характер, приносили значительные доходы, но прежняя академическая уютность из них испарилась.

Не менее излюбленными праздниками в Праге были «Дни русской культуры», в которых Народный университет принимал лишь косвенное участие. Они приурочивались ко дню рождения Пушкина, т. е. к началу июня, затягивались на 2-3 дня и состояли из торжественного собрания и одного или двух концертов. Инициатором этих празднований в широком европейском мас-

штабе был князь Петр Дмитриевич Долгоруков. По поводу возглавления пражского Комитета дня русской культуры он повел переговоры со мной, но мне нельзя было браться за это ответственное дело из-за моей перегруженности научной и общественной работой. Кроме Народного университета, я работал также в чешском Карловом университете, старейшем в средней Европе, основанном в 1348 г.

Председательницей Комитета была избрана только что приехавшая в Прагу графиня С. В. Панина. Этот выбор был чрезвычайно удачен. София Владимировна — искусная организаторша, опытная в руководстве общественными начинаниями. Существенным оказалось и то обстоятельство, что в ее распоряжении был прекрасный исполнительный аппарат — «Русский очаг». Кн. Долгоруков и я заняли должности товарищей председательницы.

Через некоторое время к нашему чествованию русской культуры присоединились и коренные жители Праги. Одна из старейших пражских организаций «Чешско-русская еднота» начала устраивать параллельно с нашим собранием торжественное заседание в историческом здании Магистрата с речами на чешском языке.

Мне лично не всегда приходилось принимать участие в этих праздниках, так как меня, обыкновенно, вызывали в качестве гастролера на подобные же торжества в какие-нибудь другие города, более или менее отдаленные. Весьма интересны и для нашего национального самосознания существенны были поездки в Подкарпатскую Русь. Там празднование носило не эмигрантский, а общенародный характер. За всё время пребывания в составе Чехословацкой республики, в Подкарпатской Руси царило бурливое настроение. Присоединение ее к республике состоялось на основе добровольного соглашения между представителями русского или, как некоторые говорят, русинского населения и зарождавшимся чешским правительством.

Это соглашение нашло себе формальное выражение в Сен-Жерменском договоре, которым населению Подкарпатской Руси было обещано автономное управление, что было потом подтверждено и в конституции республики. Однако, в течение двадцати лет существования первой Чехословацкой республики ее правительством не было сделано ни малейшего шага к осуществлению этого обещания. Был лишь назначен из русского населения губернатором д-р Бескид. Но он представлял собой марионеточную фигуру без власти, без влияния и даже без канцелярии. Фактическая власть была сосредоточена в руках чеха, областного президента Розсыпала. Почти все административные должности были заняты также чехами, которые назначались туда, как в колонию, с повышенным окладом жалованья. Обещанный созыв областного сейма постоянно откладывался на неопределенное будущее. Интересно, что в этом отношении чешские политические партии, сами еще только недавно освободившиеся от австрийского засилья, проявляли единомыслие. Даже, когда я однажды спросил такого искреннего традиционного руссофила, как д-р К. П. Крамарж, многолетнего энергичного борца за свободу славянских народов в австрийском рейхсрате, почему карпаторусскому народу не дают автономии, он ответил, что малым детям нельзя давать в руки нож. Однако с этими детьми был заключен договор, имевший международный характер.

С другой стороны, и во внутренней жизни области было не мало поводов для волнений и неудовольствий. Главная распря происходила между русским и украинским течениями в среде местного населения. По окончании войны в Ужгороде и в других городах Подкарпатской Руси поселилось много выходцев из Галиции, которые повели воинственную политику против русских и русскости. В порядке пропаганды ими высказывались совершенно невероятные положения, которые и до сих пор мы иногда слышим как в Европе, так и в Америке. Из двух народов лишь украинцы сохранили свою славянскую природу. Русские представляют со-

бой отродье татарских кочевников. Украинцы принадлежат к семье западно-европейских культурных народов, русские суть азиатские варвары. Поэтому такую исконно украинскую область, как «Подкарпатье», следует всячески оберегать от руссификации.

Между тем коренное население, говорившее на нескольких местных диалектах, из которых некоторые более приближались к великорусскому, другие к малороссийскому языку, упорно называло себя русинами или чаще «руськими», боготворило матушку Москву и в своем народном гимне, составленном батькой Духновичем, пело: «Я русин был, есмь и буду». К украинскому движению примкнула значительная часть униатского духовенства и некоторое количество школьных учителей. В ответ на это начались массовые переходы в православную веру и открытие чисто русских училищ. Средоточием русского течения было Культурно-просветительное общество им. Духновича, которое развивало энергичную деятельность, насаждая по городам и селам русские школы, народные дома и библиотеки-читальни. Украинские организации тоже не отставали, и вся область была непрестанно раздираема острыми национальными неурядицами. Правительство явно поддерживало более слабое в народе украинское направление и, как tertius gaudens, проводило свою собственную линию чехизации.

Другим острым моментом в жизни Подкарпатской Руси был вопрос вероисповеданий. Официальной церковью считалась униатская, которая и пользовалась финансовой поддержкой со стороны правительства. Но во многих местах симпатии населения явно клонились к православию, так что сельские жители на свои убогие средства содержали православную церковь. Часто в селе можно было видеть большой каменный униатский храм, почти не посещавшийся, иногда же и совершенно закрытый, а по соседству с ним малюсенькую деревянную православную церковку, переполненную молящимися. О передаче пустовавших униатских костелов

православному населению не могло быть и речи. Даже Общество им. Духновича не интересовалось этим. Большинство его главарей, в том числе и губернатор Бескид, придерживались унии.

Третья беда населения заключалась в тяжелом экономическом положении и в постоянной зависимости от недобросовестных заимодавцев. Деревенские шинки были обыкновенно в руках евреев, которые бессовестно эксплоатировали и спаивали простоватых, добродушных мужичков. Подобное явление наблюдалось также в соседней Польше и в югозападной России, но на Подкарпатской Руси оно выражалось в исключительно болезненной форме, особливо в горных районах с бесплодной почвой, где население и без того испытывало острую нужду. Правительство и на это зло взирало равнодушно, а местные чешские власти нередко даже поддерживали евреев, входя с ними, как с привилегированной частью населения, в дружественные отношения. Русинские общественные организации старались бороться с хозяйственным порабощением крестьян путем развития кооперации.

Центром мероприятий по поддержанию русскости было, как сказано выше, Общество Духновича, правление которого находилось в Ужгороде, но разветвления проникали почти во все, даже небольшие селения. Оно имело солидное издательство книг и журналов, отчасти на русском литературном, отчасти на «тутошном» языке. При Обществе было сорганизовано отделение Русского народного университета под председательством губернатора. Но оно не проявило достаточно интенсивной деятельности. Зато в сеть празднования «дня русской культуры» Общество им. Духновича включалось чрезвычайно энергично и проводило свои праздники весьма эффектно и демонстративно. Торжество происходило каждый год в новом городе (Ужгороде, Мукачеве, Пряшеве и т. д.), причем обыкновенно связывалось с открытием памятника кому-либо из карпаторусских культурных деятелей (по-местному

«будителей»). С утра, после торжественного богослужения в православном и униатском храмах, устраивалось величественное шествие, в котором принимали участие тысячи съехавшихся из деревень крестьян в живописных местных костюмах. Молодые девушки шли в ногу стройными рядами, одетые в короткие, как у балерин, юбочки и красиво вышитые сорочки и кофты. Старшие женщины в более скромных, а из некоторых сел в исключительно черных нарядах. Мужчины в белых узких брюках, в куртках, богато расшитых, иногда даже золотом, и в шляпах, украшенных разноцветными перьями, лентами и цветами. Все эти костюмы представляли собой фамильные драгоценности и передавались из поколения в поколение. Фигурировала и «cavaleria rusticana» на плохоньких лошадках, но так же, как и всадники, разноцветно декорированных. При наличии большого количества пестрых знамен, русских трехцветных флагов и при звуках многочисленных оркестров, шествие производило поистине феерическое впечатление.

После обеда устраивалось народное гуляние с речами политических лидеров, а одновременно с этим или на другой день происходило многолюдное годичное заседание Общества, на котором и меня, как почетного члена, просили выступить с речью. Большой эффект производило предпосылавшееся этой речи сообщение, что я природный москвич. По окончании собрания многие крестьяне говорили, что московскую речь они понимают лучше, чем слова приезжих украинцев. Вообще дни русской культуры на Подкарпатской Руси проходили с чрезвычайным патриотическим подъемом и одушевлением. Галичане, конечно, старались не отставать, и через некоторое время устраивали свое украинское торжество, которое пользовалось, однако, значительно меньшим успехом.

Величаво трогательно проходили праздники на другом конце Европы, в Эстонии и Латвии, где, в сущности говоря, и зародилась инициатива дней русской

культуры. В начале тридцатых годов я был приглашен, как представитель Народного университета, к участию в этих торжествах. В Риге и Ревеле (Таллине) я встретился с коренным русским населением, в которое эмигрантские элементы были лишь вкраплены. И образ жизни там был более солидный и исконно русский. В ресторане можно было выпить нарзан или заказать икру, причем одна дама заявила, что она паюсную икру не любит, а ест только зернистую. Всё это для меня, скромного беженца, было отзвуком далекого прошлого, так же, как и езда в русском спальном вагоне, в коридоре которого стоял нарядный самовар, дававший возможность в любой момент пути выпить стакан горячего чаю.

Собрания в день русской культуры имели характер грандиозных митингов, проходивших с большим подъемом. На собрании в Таллине, после моей речи, меня приветствовал министр народного просвещения, типичный русский директор гимназиии. А когда я на другой день отправился к нему, чтобы занести визитную карточку, то оказалось, что он продолжает занимать свою старую квартиру в гимназическом здании. На мой вопрос швейцару, почему министр не найдет себе более подходящего жилища, тот ответил, что более удобной квартиры, чем директорская, найти в городе трудно, да и жить-то по-старому приятней, чем по-новому. Мысль швейцара разделялась и другими. На мой вопрос, поставленный одному видному общественному деятелю нового режима, что он думает о будущем малых прибалтийских государств, я получил следующий дипломатически-шутливый ответ: «Возможны два выхода. Или мы присоединим к себе Россию, или она присоединит нас. А что вероятнее, судите сами». Но в обывательской среде, как у всякого малочисленного народа, чувствовался шовинизм. На улицах многие не хотели отвечать на русский вопрос, как пройти на такую-то улицу, хотя было ясно, что вопрос ими понят. В Ревеле более охотно отвечали на вопросы, заданные по-немецки.

Но самой интересной частью описываемой поездки было посещение селения Печоры, которое было родоначальником празднования дня русской культуры. Там я видел кусок подлинной русской территории с типичными, чисто российскими деревнями, с могилой Трувора, мифического соратника Рюрика, с видом на отдаленный Псковский собор. Там я навестил старинный Печорский монастырь, в ризнице которого хранились богатые облачения, украшенные драгоценными камнями, — подарки царей, а также ложка и другие предметы обихода Иоанна Грозного, часто навещавшего монастырь, как оплот против западных неприятелей. Мне рассказывали, что когда настоятель монастыря, преп. Корнилий, чем-то не угодил Грозному, он был убит на месте. Летописец отметил это событие следующим осторожным иносказанием: «И послал его царь земной к царю небесному». Достопримечательностью монастыря являются природные пещеры, разветвленные и настолько обширные, что до конца они еще не исследованы. В народе распространено поверье, что они сообщаются со знаменитыми пещерами Киево-Печерской лавры. Воздух в этих северных пещерах настолько сух и чист, что тела покойников, помещенные там, остаются нетленными.

Главным гвоздем печорских торжеств было не собрание с моей речью, а концерт соединенных хоров, которые традиционно и весьма заботливо культивируются в Прибалтике вообще. На обширном лугу была выстроена огромная трибуна, на которой разместились несколько тысяч певцов и певиц. Впечатление от этого грандиозного и в то же время удивительно стройного хора было захватывающим. С чувством какой то неизъяснимой душевной уравновешенности прожил я несколько дней в тихой обстановке русской провинции и увез с собой на память две старинные деревянные ложки, купленные на базаре.

В конце 1933 года наш Народный университет обогатился двумя новыми отделениями. В это время он

стал почти единственным русским научно-просветительным учреждением в Праге, развивавшим энергичную деятельность. Поэтому всякая новая инициатива естественно обращалась к нему. В. Ф. Булгаков, бывший секретарь Л. Н. Толстого, верный хранитель его заветов и строгий вегетарьянец, лицо которого, однако, постоянно светилось здоровым румянцем, бодростью и энергией, пришел ко мне с проектом организации Русского эмигрантского музея. Задачей музея должно было явиться собирание памятников науки и искусства, а также других предметов, относящихся к истории, творчеству и быту русского зарубежья. Основная же его цель заключалась в том, чтобы показать, что наши беженские массы не являются отбросами родины, бессильно барахтающимися в непривычной для них чужой обстановке. Наоборот, во всех странах своего рассеяния они сейчас же берутся за творческий труд, обогащая культурное богатство приютивших их народов своей научной и художественной продукцией. Таким образом слава русского имени распространяется по всему свету.

Мысль моего собеседника была превосходна, но даже мне, привычному организатору, стало страшно; откуда же мы возьмем средства, необходимые для осуществления ее. Но Булгаков со своей ласковой, застенчивой улыбкой уверил меня, что его ноги, руки и голова представляют тоже большое богатство, и что свет не без добрых людей. Итак, мы принялись за новое дело без гроша в кармане. По обычаю создали подготовительную комиссию, но она не только нам не помогала, но скептическими выступлениями некоторых членов часто тормозила успех нашего начинания. Всё дело велось руками и ногами Булгакова и нашими двумя головами. Он заразил меня своим энтузиазмом и решимостью во что бы то ни стало добиться успеха.

Первым делом я обратился к своему, уже испытанному меценату, канцлеру Шамалю, и он предоста-

вил нам из средств Канцелярии президента республики 3.000 крон. Пражский Художественно-промышленный музей обещал дать нам свои старые шкафы и витрины. Началась погоня за дальнейшими денежными средствами, а главное за музейными объектами из области живописи, скульптуры, литературы, сценического искусства, науки, техники и истории эмиграции. Эти предметы поступали к нам постепенно из различных мест Европы. Для ускорения дела Булгаков предпринял поездку в Париж, откуда привез богатую коллекцию первоклассных художественных произведений (Анненкова, Аронсона, Алекс. и Альб. Бенуа, Гончаровой, Б. Григорьева, Коровина и др.). Богданов-Бельский и Виноградов прислали нам свои картины из Эстонии (последний за месяц до своей смерти). Навестивший Прагу Билибин подарил нам, хотя и неохотно, свой эскиз. Мой добрый знакомый Браиловский направил к нам свою картину из Рима. Нас беспокоило, что у нас нет главы эмигрантских художников, уже скончавшегося Репина, но и тут счастливый случай помог нам. В распоряжении одного из русских благотворительных обществ оказалась прекрасная картина великого мастера, изображающая голодного мальчика с куском хлеба. Правда, она была написана на картоне, но зато нам удалось приобрести ее за доступную для нас цену в 1.500 крон. Счастье нам повезло и по отношению к другому гиганту отечественной живописи. Булгаков вступил в переписку с академиком Н. К. Рерихом, проживавшим в Гималайских горах. Тот воодушевился идеей музея, прислал две свои картины, а так как в это время он поссорился с администрацией белградского учреждения, в котором хранились 13 его картин и два полотна его сына Святослава, тоже талантливого художника, то он распорядился, чтобы всё это было переслано нам. Таким образом у нас собрался материал для целого Рериховского зала. Этот зал производил чарующее впечатление. Горные пейзажи, изображенные при различных освещениях дня и ночи, поражали своим величием, удивительной проникновенно-

стью и гармонией красок. А большой образ преп. Сергия Радонежского, в лике которого были некоторые черты самого Рериха, сверкал своей выразительностью и благостной силой.

С другой стороны, в музей изобильно поступали различные памятки от русских литераторов: их портреты, рукописи, ручки с перьями, которыми они писали, и т. д. В результате собралась коллекция, представлявшая всех видных зарубежных писателей, начиная от лауреата Нобелевской премии И. А. Бунина. Особенно обширно было собрание вещей скончавшегося в то время в возрасте 92 лет большого друга нашего университета и неизменного посетителя всех его торжественных собраний Вас. Ив. Немировича-Данченко. Подобным же образом была представлена работа некоторых русских ученых. Была получена также коллекция, изображавшая деятельность интересного русского заграничного учреждения, Виллафранкской биологической станции, которой будет посвящена следующая глава. Выдающиеся техники, как, например, проф. Г. Г. Кривошеин, И. И. Сикорский, прислали свои чертежи. От представителей театрального мира, начиная с Шаляпина, Германовой, С. Лифаря, также поступили пожертвования в виде портретов, сценических костюмов и предметов театрального реквизита. Появились и такие уникумы, как чашка, из которой обычно пил Л. Н. Толстой, бокал с гербом Лермонтовых, коллекция старинных миниатюр и камей и тому подобные предметы, сами по себе интересные, но непосредственного отношения к задачам музея не имевшие. По старому музейному правилу, мы ни от чего не отказывались. Ненужные предметы могли служить в качестве обменного фонда. Впоследствии к музею примкнуло особое отделение, сконструированное пражским Объединением русских архитекторов из многочисленных проектов и фотографий зданий, возведенных заграницей нашими соотечественниками. Созданная в короткий срок библиотека музея насчитывала до 3.000 томов.

Интенсивное поступление коллекций обостряло нашу заботу о помещении. В Праге был в то время квартирный кризис, а нам требовалась обширная площадь, да к тому еще бесплатно. Над нами посмеивались, как над Дон Кихотами. Но и на этот раз счастливая звезда сверкнула нам, притом звезда, как говорят астрономы, первой величины. Наш неизменный друг д-р Крамарж дал мне рекомендацию к своему приятелю и политическому однопартийцу К. Бартонь-Добенину, владельцу огромного замка, расположенного в нескольких километрах от Праги. Крупный промышленник, Бартонь-Добенин, которого в русской колонии раньше не знали, оказался превосходнейшим человеком, большим чешским патриотом и в то же время европейцем в лучшем смысле этого слова, а также горячим руссофилом, всей душой сочувствовавшим тяжелым переживаниям русских беженцев. Его исторический дворец, который был заложен еще в XII столетии, как охотничий замок чешских королей, а потом многократно переделывался и расширялся, сделался на долгое время местопребыванием католического монастыря, а потом сахарного завода. Новый владелец, не только капиталист, но и ценитель старины и искусства, умело восстановил замок в прежнем виде, реставрировал, между прочим, и прекрасные фрески на его сводчатых потолках. В замке было приблизительно 200 комнат, из которых небольшая часть была занята владельцем, его дочерью и внуками, лишь временно проживавшими в нем. Из остальных Бартонь-Добенин охотно предоставил нашему музею несколько больших прекрасных зал. Более удобного помещения для хранения коллекций нельзя было себе представить. При нормальной сухости стен и воздуха в нем не было пыли, потому что замок стоял посреди большого парка, в отдалении от проезжих дорог и жилых домов. А его старинные залы с громадными окнами, дававшими массу света, были исключительно удобны для развешивания картин. Городок Збраслав, около которого находился замок, был излюбленным местом для воскресных прогулок пражан, так что

и в смысле доступности наш музей оказался в благоприятном положении.

Музей был давно налажен, когда 29-го сентября 1935 года было торжественно отпраздновано его открытие в присутствии большого количества чешских и русских гостей. Для совершения молебствия был приглашен епископ, который служил в своей живописной полосатой мантии и блестящей митре. Пел хор Архангельского, уже поредевший к тому времени, но еще сохранивший свое очарование. В первый раз за много столетий в стенах бывшего католического монастыря раздались звуки православных песнопений, которые произвели глубокое впечатление на наших чешских друзей. После богослужения и короткого акта, во время которого мы с владельцем замка обменялись приветственными речами, а вновь назначенный директор музея Булгаков прочел историю его возникновения, нас ожидал приятный сюрприз. В одном из соседних зад был накрыт громадный стол, заставленный изысканными яствами, от которых давно уже отвыкла наша беженская публика. А по окончании угощения Бартонь-Добенин преподнес мне еще один сюрприз. Наговорив любезностей по поводу организации музея, он стал расспрашивать, на какие средства мы думаем вести столь большое учреждение. На мое замечание, что мы, как птицы небесные, не сеем и не жнем, он ответил: «Это, может быть, и хорошо, но для правильного ведения дела в современном смысле вам нужна финансовая база. Позвольте предложить вам на первое время, на покрытие необходимых расходов 10.000 крон». Эта щедрая помощь, которая потом ежегодно повторялась, нас в полной мере устраивала и, наряду с другими доходами, позволяла даже платить нашему неутомимому директору жалованье в размере 500 крон в месяц, т. е. приблизительно половину того, что получал наш лабораторный служитель в Карловом университете.

Когда в конце 1939 г. я уезжал из Праги, в музее хранилось свыше 500 картин и множество других куль-

турных ценностей. Он усердно посещался русской и чешской публикой, а также иностранными дипломатами и заграничными гостями, приезжавшими в Прагу. Так, в ответ на оказанное нам гостеприимство, мы несли в Западную Европу результаты наших достижений в области науки и искусства.

Вторым учреждением, возникшим в недрах Народного университета в 1933 г., было Научно-исследовательское объединение, главная цель которого заключалась в усилении ученой деятельности университета, тем более, что лекционная работа к этому времени, в связи с рассеянием учащейся молодежи из Праги, ослабела. Самым энергичным инициатором нового дела явился коллега, который раньше проявлял критическое отношение к нашей работе. Мои друзья предостерегали меня от слишком тесного сотрудничества с ним, говоря, что он будет стараться отстранить меня от дела в свою пользу. Но я никогда не руководился в своей культурно-просветительной работе ни политически-партийными соображениями, ни вопросом личного престижа, а потому не обратил внимания на эти предостережения.

Вначале совместная работа, с приливом свежих сил, пошла весьма успешно. Университет получил наименование «свободный», его ученые труды стали называться «Записки научно-исследовательского объединения при Русском свободном университете в Праге». Издательская деятельность, благодаря доходам от Татьянинских праздников, значительно расширилась. Но одновременно с этим состав нашего Куратория стал постепенно изменяться. Представители новой группы, вошедшей в состав университета, при каждом удобном случае проводили в него своих людей, обыкновенно бесцветных, но вполне им преданных. В конце концов, надо было констатировать, что прежний, блиставший крупными академическими именами, Кураторий превратился в тусклую, будничную коллегию. Но главная беда заключалась в том, что в его составе образовались

две фракции, которые можно было назвать университетской и объединенческой. Наш бедный председатель проф. Бажант, привыкший в течение долгих лет к совершенному единодушию членов Куратория, оказался вынужденным выслушивать нудные дебаты и ставить вопросы на голосование.

Наконец, когда оппозиция почувствовала себя достаточно созревшей, разразилась буря. На годичном заседании Куратория мой отчет большинством одного голоса не был одобрен, а взамен этого была принята резолюция, предложенная лидером оппозиции. Это ставило меня в необходимость устраниться от управления университетскими делами. Но торжество оппозиции продолжалось недолго. Вслед за Кураторием началось общее собрание Общества, которое единодушно выразило мне доверие и осудило позицию моих противников. Лидер оппозиции, который в заседании Куратория грозил отставкой, если его резолюция не будет принята, обратился ко мне на следующий день с предложением заключить мир и продолжать совместную работу. Я согласился, но наше сотрудничество было непродолжительным. Вскоре я переселился в Братиславу.

Мое расставание с Прагой произошло как раз в удобный для меня момент. Помимо тягостных для меня переживаний в Свободном университете, меня ожидала серьезная неприятность в Карловом университете. Был издан закон, по которому профессорская служба оканчивалась в возрасте 64 лет. Через несколько месяцев я должен был перейти на пенсию, недостаточную даже для скромного существования. А самое главное обстоятельство заключалось в том, что весной 1939 года Прага была оккупирована гитлеровской армией. Правда, жизнь с внешней стороны изменилась мало, но над ней повис какой-то зловещий туман. Чешское население сохраняло спокойствие, но переживало глубокую душевную драму. Перспективы как Карлова, так и Свободного университетов, в которых культивировалась

славянская идея, становились при нацистском режиме весьма смутными.

И вдруг из нависших над моей головой мрачных туч на меня брызнули живительные лучи солнца. Из Братиславы, столицы вновь образованной Словацкой республики, я получил приглашение занять кафедру зоологии и пост директора Зоологического института, который мне предлагалось организовать в соответствии с моими желаниями. Мне, конечно, было жаль оставить Прагу, в которой было проведено наибольшее количество исследований, принесших мне известность в ученом мире. Но я ни минуты не сомневался относительно принятия сделанного мне, иностранцу, лестного предложения, которое в то же время рассекало все завязавшиеся вокруг меня Гордиевы узлы. Лишь один вопрос беспокоил меня: не нарушаю ли я товарищескую этику, переходя на службу к словацкому правительству, выделившемуся из состава Чехословацкой республики. Мои чешские коллеги, однако, вполне успокоили меня указанием на то, что между университетами никакой розни нет, и что они попрежнему будут поддерживать со мной дружеские отношения.

18-го октября 1939 года я переехал со всем своим имуществом в Братиславу, а на следующий день уже выступил в качестве полноценного, ординарного профессора с первой лекцией перед многолюдной, восторженно встретившей меня аудиторией. Вскоре после этого Чешский университет в Праге был закрыт немцами, а мое детище, Свободный университет, перешел в руки бывших оппозиционных элементов, утратил свой традиционный славянский характер, подпал под контроль немецких нацистов, с помощью которых мог развернуть на некоторое время расширенную деятельность, был переименован в Русскую свободную академию и, во всяком случае, перестал быть тем, чем он был прежде. Когда я, через год после переселения в Братиславу, навестил Прагу, чтобы закупить там для своего нового института библиотеку, проф. Бажант с горечью и оби-

дой говорил мне о происшедших переменах. А между тем старая Прага с ее обилием славянских литературных памятников является идеальным местом для русского заграничного университета. Дай Бог, чтобы он там, после крушения большевистской диктатуры, возродился и получил свое полное значение, как представитель культуры и просветительной деятельности народов, населяющих великую российскую страну.

XII. РУССКАЯ БИОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ В ВИЛЛАФРАНКЕ

«Как ни тепло чужое море,
Как ни красна чужая даль,
Не ей размыкать наше горе,
Рассеять русскую печаль!»

Некрасов.

"Among the Stations of Europe — and I have seen many — yours is indeed most charmingly located. The clear blue water and the wonderful pelagic life give a unique position in the facilities which you can offer to the naturalist seeking to work upon the plankton."

Из письма известного американского зоолога Kofoid'a директору станции в 1909 году.

Богат и разнообразен животный мир, населяющий пресные воды и поверхность суши. Но несравненно богаче и разнообразней морская фауна. Специалисту биологу, если он хочет основательно познакомиться с миром живых существ, необходимо поработать на морском побережье. Там он найдет и обильный материал для своих научных исследований. Поэтому в каждом культурном государстве, имеющем морские границы, устраиваются прибрежные биологические станции.

Для России, страны преимущественно континентальной, такая задача была не легко осуществима. Во время моего пребывания на родине, там существовали лишь две морские станции, Мурманская и Черноморская. Но обе они не были достаточно удобны для научно-исследовательской работы. Правда, фауна Ледовитого океана очень интересна, но климатические усло-

вия для жизни на станции весьма неблагоприятны. Особенно в зимнее время, при почти сплошной полярной ночи. На Севастопольской станции условия жизни не оставляли желать ничего лучшего. Но научная деятельность там была чрезвычайно ограничена бедностью фауны. Дело в том, что в Черном море, на глубине 200 метров, начинается слой воды, богатый сернистым водородом, губительным для жизни. Количество животных форм там, по сравнению с другими морями, крайне незначительно.

В виду этих обстоятельств русским ученым оставалось бы положиться лишь на гостеприимство иностранных станций, если бы делу не помогла предприимчивость киевского профессора А. А. Коротнева. Страстный собиратель морских животных, он в конце прошлого столетия странствовал по побережью Средиземного моря. Неподалеку от Ниццы, в большой Виллафранкской бухте, в которую заходят иногда и могучие военные корабли, его поразило обилие планктона, т. е. животных, парящих в поверхностных слоях воды. Эти животные большею частью прозрачны или элегантно окрашены в нежные цвета. Такое обилие вызывается своеобразным географическим устройством бухты. Планктон там даже богаче, чем у берегов Неаполя, где находится знаменитая международная станция. Коротнев разыскал на окраине городка Villefranche, на обширном дворе военных казарм, пустовавшее здание столетней древности, которое раньше было тюрьмой, затем угольным складом и, наконец, было совершенно заброшено. Напряжением своей кипучей энергии он выхлопотал у французского правительства право занять это здание под русскую зоологическую станцию. В конце концов, здание было предоставлено русскому правительству по особому договору для бесплатного пользования на 99 лет. Немалая энергия понадобилась и на то, чтобы угольный склад превратить в научное учреждение. В 1886 году станция была открыта и быстро привлекла к себе симпатии зоологов и ботаников не только русских, но и иностранных.

В начале существования станции повышенное внимание к ней иностранцев чуть не стало фатальным для ее существования, как русского института. Уезжая на некоторое время в Киев, Коротнев поручил наблюдение за ней своему приятелю, швейцарскому зоологу. А когда он возвратился, станция оказалась принадлежавшей Швейцарии. Но в то время исправить дело было не трудно. При содействии российского посла в Париже станция была в скором времени возвращена ее владельцу.

Станция помещается в большом двухэтажном, довольно неуклюжем здании. Значительную часть его составляет огромный, высотой в два этажа зал. На полу зала, вымощенного крупными каменными плитами, сохранились следы колец, к которым когда-то приковывали узников. Среди местного населения существует поверье, что по ночам слышатся из здания вопли когда то замученных там тюремных жертв. Но проживавшие в доме естествоиспытатели, настроенные, очевидно, более позитивно, таких слухов не подтверждают.

Вдоль длинной северной стены зала устроены аквариумы. Они представляют собой как бы огромную отвесную скалу, сделанную из бетона. В ней имеются большие отверстия, закрытые толстыми зеркальными стеклами. Эти стекла — передние стенки обширных водоемов, освещаемых сзади высокими окнами, а кроме того, сверху электрическими лампочками. За стеклами перед зрителем открывается чарующая картина морского дна. Среди подводных камней и коралловых рифов изящно колышатся водоросли. На камнях сидят разноцветные, ярко окрашенные, подобные хризантемам, актинии с их непрестанно колеблющимися лепестками-щупальцами. В виде красивых кустарников и вееров стоят родственные им колонии полипов и кораллов. Неискушенный наблюдатель не может себе представить, что это животные, а не растения. По дну ползают омары, лангусты, крабы, разноцветные морские звезды и морские ежи. В воде плавают полупрозрачные медузы, креветки, рыбы причудливых форм и

различных окрасок. Из-за скалы выглядывает своими хищными глазами осьминог, часто меняющий цвет кожи и вытягивающий свои длинные щупальцы-ноги, густо усаженные присосками.

На противоположной стороне станционного зала, против аквариумов, ряд дверей ведет в лабораторные помещения. Самостоятельным ученым предоставлялись отдельные комнаты, в которых никто не мешал их научно-исследовательской работе. Начинающие рассаживались в большом общем помещении, где для них устраивались практические занятия под руководством персонала станции. К услугам работавших имелась библиотека, состоявшая приблизительно из 10.000 томов специальной литературы.

Во втором этаже, над библиотекой, расположена квартира ассистента, а над лабораториями жилые комнаты для работающих на станции.

Станционное здание стоит на самом берегу, так что из окон лабораторий и жилых комнат открывается чудесный вид на бухту. При тихой погоде можно наблюдать даже стаи рыб, плавающих в море. Со двора станции есть выход к небольшому молу, с которого удобно садиться в лодки и на которых рыбаки сушат сети. С других сторон здание окружено садом. В нем растут большие пальмы, агавы и кактусы, созревают лимоны и мандарины. Мелкие же пальмы, которые в умеренном климате служат для украшения комнат, всюду лезут там из земли и вырываются садовниками, как сорные травы.

В этом благодатном уголке я с наслаждением работал. Но оставаться в старом здании на ночь я не мог. Причиной этому были не стоны замученных, которых я не слыхал при своих длительных бессонницах, а страшные припадки бронхиальной астмы. Я перепробовал несколько комнат, ложился около широко открытого окна, но нигде не находил спасения от мучительного удушья. В нескольких же минутах ходьбы от станции, в маленьком пансионе, я спал, как убитый и не

чувствовал ни малейшего признака болезни. Астма одно из самых капризных заболеваний.

В первый раз я посетил станцию еще в студенческие времена. Ее директором был М. М. Давыдов, добродушный старичок, ученый немецкой школы. Он досконально знал фауну Виллафранкской бухты, но научно не работал, занимаясь исключительно административными делами и собиранием материала для других исследователей.

Основатель станции А. А. Коротнев наезжал в Виллафранку лишь временами. Одна из станционных комнат была его кабинетом, в котором находилась, между прочим, прекрасная коллекция картин первоклассных русских художников, в том числе и Репина. С Алексеем Алексеевичем и его супругой Софией Ивановной я завязал дружеские отношения во время международного конгресса зоологов в Монако в 1913 году. После съезда мы несколько дней провели на станции. К Софье Ивановне я проникся особым сочувствием, так как она тоже страдала астмой, притом в гораздо более сильной степени, чем я. Урожденная Гирс, она была богатой бессарабской помещицей, что позволяло ей материально поддерживать станцию. Оба супруга были высоко культурными и симпатичными людьми. Поэтому впоследствии мне было особенно приятно оказывать различные услуги станции.

Во время первой мировой войны Коротнев, сильно к тому времени постаревший, обратился в Академию наук с предложением передать ей станцию в целях обеспечения ее дальнейшего существования. В Государственной Думе мне пришлось быть докладчиком по соответствующему законопроекту, который прошел совершенно гладко, ибо никто не сомневался в целесообразности передачи государству столь ценного учреждения.

Вскоре после этого Алексей Алексеевич скончался, но его вдова трогательно продолжала заботиться о судьбе станции, особенно, когда она, после большевистской революции, оказалась в затруднительном по-

ложении. Связь станции с Академией нарушилась, а на требование Академии возвратить ей станцию французское правительство ответило решительным отказом, не желая, очевидно, пускать коммунистические элементы во двор своей военной казармы. Забота о поддержании станции, естественно, ложилась на плечи эмигрантов. Из рядов русской профессуры, проживавшей в Париже и Праге, был создан комитет под председательством находившегося в эмиграции академика Н. И. Андрусова. Сначала комитет собирал пожертвования на содержание станции. Но в виду трудности обеспечить ее существование этим путем, он вошел в соглашение с Чешской академией наук и искусств, которая любезно пошла навстречу и заарендовала на станции 12 рабочих мест для чешских ученых и студентов. Арендная плата была достаточна для скромного содержания станции и ее персонала.

Когда я приехал в Прагу, комитет уже функционировал. Я вошел в состав его членов, а через короткое время, после смерти Андрусова, мне пришлось принять на себя председательствование в нем. Эта должность оказалась весьма приятной, ибо была связана с необходимостью периодически совершать поездки на Ривьеру. В то время станция уже оправилась от военных потрясений, и работа на ней протекала нормально. Сверх арендной платы Чешская академия предоставила нам средства на покупку моторной лодки, без которой собирание научного материала, особенно в местах, отдаленных от станции, было весьма затруднительным. Старая же моторная лодка была уведена со станции во время войны. За сходную цену нам удалось приобрести от Океанографического музея в Монако подержанную, но вполне исправную лодку, и работа наша по собиранию морских животных снова закипела с довоенной энергией.

Во время моих посещений Виллафранки в качестве председателя Комитета станции М. М. Давыдов был уже полным инвалидом, а заведывание всеми делами лежало на ассистенте Г. С. Трегубове. Племян-

ник известного протоиерея Трегубова, члена Государственной Думы, он, как это часто случалось в семьях нашего духовенства, щеголял своим атеизмом. Будучи весьма раздражительным человеком, он нередко вступал в излишние пререкания с работавшими на станции, так что мне приходилось применять дипломатическое искусство для устранения серьезных недоразумений.

Станция являлась в то время чрезвычайно любопытным, можно даже сказать, парадоксальным учреждением. Ее хозяевами были нищие русские беженцы, которые оказывали, однако, гостеприимство всему ученому миру. Слава богатого планктона привлекала к ней внимание естествоиспытателей всех стран. Я помню, как однажды в нашей моторной лодке, вышедшей в море для сбора материала, уместились представители шести народов: русского, французского, северо-американского, немецкого, польского и китайского. Наладить общий разговор в такой компании было невозможно, но интерес и восторги по поводу доставлявшейся на палубу добычи были всеобщими и единодушными.

При возникновении вопроса о продлении договора, заключенного Русским комитетом с Чешской академией, в Прагу приехала С. И. Коротнева. Потеряв большую часть своего имения, вследствие произведенной румынским правительством национализации в Бессарабии, она не могла материально поддерживать станцию, но продолжала проявлять по отношению к ней трогательную заботливость. Новый договор был подписан, и перед станцией открывалась перспектива дальнейшего обеспеченного существования. У меня зародился план придать ей характер общеславянского научного учреждения и тем обеспечить ей бо́льшую солидность. Соответствующие переговоры с Краковской и Белградской академиями увенчались успехом, и на станции были заарендованы постоянные рабочие места для польских и югославских ученых. Подобные же переговоры велись и с Софийской академией наук.

Казалось, что станция входит в новую, благополучную полосу своего существования. И хотя ни теплое чужое море, ни красивая чужая даль не в силах рассеять тоску по родной земле, но временами казалось, что частица родины перенеслась на берег Средиземного моря, в наш русский дом ученых. Тогда пребывание в нем становилось особенно приятным, и красоты окружающей природы как-то более уютно и родственно проникали в душу. А красоты эти поистине изумительны. Безграничное море с его постоянно меняющейся окраской: темно-синей, голубой, зеленоватой или мрачно-стальной во время бури. Движение морской воды, в виде ли волн, весело бегущих к берегу, часто увенчанных белоснежными барашками, или в виде мертвой зыби, когда обширные пространства водной поверхности ритмически поднимаются и опускаются — всё море как будто тяжко вздыхает. Морской прибой, при котором белое нарядное кружево волн живописно разбивается о прибрежные скалы. Или, наконец, что редко бывает, полный штиль с зеркально-гладкой поверхностью воды. И над всем этим яркое солнце, мириадами искр отражающееся в волнах, небосвод голубизны необычайной, подчас украшенный приветливыми жемчужными облаками. Или же мрачные тучи, из которых падают в море зигзагообразные молнии. А вечерняя или утренняя заря заливает море гигантским пожаром. В спокойную, теплую, безлунную ночь море фосфоресцирует от бесчисленного множества светящихся микроскопических организмов. Тогда каждый всплеск воды от брошенного камня, движения лодки или купающегося человека сопровождается каскадами огненно-сверкающей воды. В то же время над берегом массами летают светящиеся жучки, ритмически зажигающие и гасящие свои яркие, зеленоватого цвета фонарики. Человек чувствует себя в какой-то неземной, волшебно-сказочной обстановке.

В праздничный день, чтобы отдохнуть от работы, я поднимался на недалекие прибрежные горы, добирался до Корниша, большой автострады, которая тя-

нется по горному хребту от Ниццы до Монте-Карло. Оттуда открывается очаровательный вид: с юга бескрайнее море, с севера длинная, живописная цепь снежных гор. Подкрепившись в придорожном ресторанчике макаронами (жители этих мест наполовину французы, наполовину итальянцы) и превосходным местным vin rosé, было приятно растянуться в пиниевой рощице и подышать густым смолистым ароматом. Томительная жара, царившая внизу, смягчалась здесь нежным прохладным ветерком. Жизнь казалась легкой и беззаботной в этом благодатном краю природных красот. Хотелось воскликнуть вместе с Фаустом:

О дух возвышенный, ты всё, ты всё мне дал,
О чем тебя просил я. Не напрасно
Твой лик в огне ко мне ты обратил.
Ты дал, как царство, мне роскошную природу,
Дал силу чувствовать ее и наслаждаться.
Ты позволяешь мне не только лишь случайно
Ей восторгаться, но даешь возможность
Взглянуть в ее таинственную глубь,
Как в сердце друга.

Но благодатный край был для нас всё-таки чужим, и русское учреждение в нем подверглось катастрофе. Я в то время находился в Праге, а директор станции был слишком стар и слаб, чтобы вступиться в ее защиту. Воспользовавшись этими обстоятельствами, ассистент вошел в переговоры со своим бывшим учителем по французскому университету, профессором Дюбоском, о передаче станции французам. Когда сведения об этом дошли до Праги, станция была уже принята Парижским университетом в свое ведение. Директором ее был назначен Дюбоск, имевший в то время под своим управлением другую такую же станцию в Баниюльсе, недалеко от испанской границы. Полноправным его заместителем в Виллафранке оказался таким образом Трегубов, получивший и повышенное жалованье, которого мы, по нашей бедности, не могли ему дать.

Немедленно была забита тревога. Я передал председательствование в Русском комитете парижскому

коллеге С. И. Метальникову, которому было легче сноситься с французскими правительственными учреждениями. Но эти сношения не увенчались успехом, и тогда пражская часть Комитета, с одной стороны, а Чешская академия, с другой, направили новому директору станции письменные протесты с указанием на некорректность по отношению к беззащитной русской эмиграции и на формальную неправильность овладения чужим имуществом, в котором заинтересована и Пражская академия. В ответ мы получили письмо с указанием, что наши соображения носят сентиментальный характер; что же касается имущественных прав, то французские власти не откажутся войти с Чешской академией и будущим русским правительством в соглашение о возмещении причиненных им убытков. Как будто можно возместить деньгами потерю научного учреждения, в которое вложена неоценимая творческая энергия его созидателей, или библиотеки, которая любовно собиралась в течение почти полстолетия. У нас не было, как во времена Коротнева, могущественной защиты российского посла в Париже. Потерявшие родину, мы должны были покорно склониться и перед утратой небольшого русского уголка на берегу Средиземного моря. Единственно, чего удалось добиться, это обещания, что Русский комитет будет по временам созываться в качестве совещательного органа и что слова в наименовании — «Станция имени А. А. Коротнева» — останутся неприкосновенными. Но и это обещание осталось невыполненным. О существовании Комитета было забыто, а на здании станции появилась новая вывеска: «Зоологическая станция Парижского университета». Чужая манящая даль оказалась, в конце концов, обманчивой. Еще одним разочарованием в жизни больше!

XIII. БЕЖЕНСКИЙ УНРРА-УНИВЕРСИТЕТ В МЮНХЕНЕ

"Noli turbare circulos meos!"
Слова, приписываемые Архимеду.

Приближаясь к подведению итогов своему жизненному пути, я должен признать, что в общем он протекал по восходящему плану. Но характерным было и то обстоятельство, что восхождение совершалось не по прямой линии, а как бы ступеньками, зигзагообразно. Почти каждый период жизни заканчивался более или менее чувствительной катастрофой, за которой, однако, следовало возрождение. Все эти катастрофы (с доцентурой, ректорством и профессурой в Московском университете, с Государственной Думой, с Комиссией по реформе высшей школы, с Научной комиссией, с Народным университетом в Праге) приходили главным образом извне, т. е. возникали от выпавших на долю нашего поколения великих исторических событий. Возрождения совершались обычно в новых условиях, часто более интересных, чем прежние.

Это относится и к пребыванию, после пражской катастрофы, в Братиславском университете, где среди коллег, единомышленных в защите академической автономии от надвигавшегося нацизма, в окружении студенчества, проникнутого научным энтузиазмом, при возможности всестороннего развития исследовательской работы и создания научной школы, я чувствовал себя на высоте духовного благополучия. Любезная сердцу нагрузка просветительной работой сгущалась еще чтением лекций в Высшем техническом училище.

Но всё это оказалось кратковременным. Наступила новая катастрофа. На шестом году моего пребывания в Братиславе, в начале 1945 года, советская армия приблизилась к этому городу. Немецкое командование предложило профессуре, особенно русской, перебраться на запад, т. е. в пределы Германии. Многие это предложение отконили. Колебался и я, чувствуя себя между Сциллой и Харибдой; но, в конце концов, победило сознание невозможности существования под большевистским режимом. Снова, как в Москве, пришлось покинуть только что налаженную лабораторию, сдать вновь накопленную библиотеку на хранение ассистенту без большой надежды когда-нибудь получить ее обратно и насильственно порвать радостную духовную связь с учащейся молодежью.

Во время тяжелого путешествия по полуразрушенной Германии были уничтожены бомбардировкой и те немногие, самые ценные книги, которые я захватил с собой. А затем, вскоре после того, как мы попали в американскую зону Германии, нас чуть было не подвергли репатриации. Наконец, удалось добраться до Регенсбурга, где оказалась большая русская колония, которую возглавлял мой приятель, член Государственной Думы В. А. Харламов. Там я встретил приветливый прием не только от земляков, но и в немецкой среде. Между прочим, по рекомендации обербургомистра, мне с женой были предоставлены две прекрасные комнаты в квартире директора сахарного завода. В этой благоустроенной квартире с функционировавшим центральным отоплением, что было редкостью в тогдашней Германии, мы спокойно прожили до 1949 года, когда, при дальнейшем отступлении на запад, нам пришлось переброситься через океан.

Лето 1945 года я отдыхал от военных потрясений и занимался лишь организацией просветительного отдела при нашей русской общине, а также писанием настоящих мемуаров. Но осенью страница моей жизни снова перевернулась. Меня навестил мой коллега по Высшему техническому училищу в Братиславе, К. Г.

Белоусов, который в то время жил в Мюнхене. Он сообщил мне, что там уже с августа месяца организованы при УНРРА курсы для подготовки к экзаменам на аттестат зрелости и комиссия для производства этих экзаменов. Курсы предположено развернуть в высшее учебное заведение для эмигрантов различных национальностей. На сделанное мне предложение принять участие в этом деле я, конечно, с радостью согласился. 6-го ноября состоялись выборы, и я сделался ординарным профессором УНРРА-университета и деканом естественно-научного факультета. Это последнее обстоятельство требовало от меня частых поездок в Мюнхен для участия в заседаниях Сената будущего университета и для организации факультета. Поездки в то время были сопряжены с большими неудобствами. Значительная часть германского населения, располагавшего солидными денежными средствами, скопленными в период войны, но страдавшего от недостаточности пайкового снабжения, увлекалась спекуляцией. Железнодорожные составы, едва восстановленные после военных повреждений, циркулировали медленно, без отопления и освещения, и были всегда переполнены. Чтобы получить место для сидения, надо было приходить на вокзал за полтора часа до отхода поезда. Путь от Регенсбурга до Мюнхена, вместо нормальных двух, затягивался иногда на целых четыре часа. Чтобы попасть в Мюнхен в предобеденное время, приходилось вставать задолго до рассвета, пробираться темными, неосвещенными улицами к вокзалу, а потом проводить долгие томительные часы в промерзшем, насквозь прокуренном вагоне.

Но эти трудности физического характера отступали на второй план перед огорчениями, которые я испытывал, принимая участие в организации университета. Уже самый фундамент, на котором он строился, казался мне порочным. Этим фундаментом было двоевластие. Университет возник, собственно говоря, по инициативе объединенного студенчества, жаждавшего продолжать свое образование, прерванное войной. На-

ходившаяся в Мюнхене профессура горячо поддержала это начинание. Но официальным организатором являлась УНРРА. Управление этого громадного международного объединения, в котором доминирующую роль играли американцы и на которое возлагались всевозможные заботы о жертвах войны, пошло навстречу общественной инициативе. Оно назначило директриссу в лице Г. Гажинской, американки польского происхождения и, в дополнение к собранным студентами денежным средствам, предоставило в ее распоряжение скромные кредиты на содержание канцелярии и другие расходы, вызывавшиеся организацией и деятельностью университета. Бюджетные права оказались в руках дирекции, которая получила, вследствие этого, преобладающее влияние на ведение университетских дел. Г-жа Гажинская, молодая симпатичная дама, не имевшая, однако, никакой опытности в академической жизни, подошла к ней с некоторым пиететом и вначале бережно относилась к вопросам университетской автономии. Но впоследствии это отношение изменилось и, как мы увидим дальше, не исключительно по ее вине.

Второй носитель власти, университетский Сенат, состоявший из ректора, проректора и деканов, возник задолго до открытия университета. В него вошли в первую очередь лица, случайно оказавшиеся в Мюнхене. Некоторые из них были настолько неопытны в академических делах, что их пришлось устранить в порядке болезненной чистки. Из оставшихся лишь меньшинство обладало достаточной компетенцией в руководстве университетской жизнью. Ректор А. Н. Митинский, добрейший бонвиван, бывший профессор Горного института в Чехословакии, соединял в себе инженерскую самоуверенность со старческой слабостью и болтливостью, что делало его в глазах как американцев, так и многих его коллег, фигурой недостаточно репрезентативной. Не будучи в состоянии противостоять всестороннему напору в смысле создания и замещения преподавательских должностей, он немало посодействовал обременению профессорского состава непод-

ходящими элементами. Заседания Сената проходили, благодаря его остроумию, оживленно, но они были переполнены излишними разговорами, так что, выражаясь языком техников, они имели весьма слабый коэффициент полезного действия. Дружественные отношения, которые установились у меня при первых свиданиях с ректором, подвергались потом неоднократно тяжелым испытаниям, особенно когда в заседаниях Сената мне приходилось выступать с заявлениями оппозиционного характера.

Больше всего волновал меня недостаток планомерности в подборе преподавательского персонала. Сама процедура выборов, особенно в начале существования университета, была крайне упрощена. Один из профессоров охарактеризовал эту процедуру, как «протаскивание кандидатов». Дирекция не возражала против ненормального разбухания преподавательского состава, так как жалованье этому составу выплачивалось из немецкого источника. Да иногда и сама дирекция подсыпала угодных ей кандидатов. А немцы в то время еще не смели протестовать против порядков в учреждениях, находившихся под американским контролем. В результате создался громоздкий преподавательский персонал (около 200 лиц на 1.800 студентов), причем многие кафедры оставались вакантными.

Главной заботой Сената, в значительной мере инспирированной дирекцией, было составление программ с подробным расписанием часов занятий для всех факультетов и всех семестров. Мое замечание, что для университетов германского типа, который мы приняли за образец, с характерной для них Lehr-und Lernfreiheit, такие программы не нужны, не было принято во внимание. Не имело успеха и указание на преждевременность забот о последних семестрах, раз нам не было известно, сколь долго университет пробудет в Германии.

Вследствие этого были упущены три обстоятельства, которые в последующей жизни университета могли бы сыграть благодетельную роль. Во-первых, не

удалось приступить к изданию научных работ преподавательского персонала. Эти работы имелись, они были даже собраны воедино. Но на этом дело и заглохло. Во-вторых, не была налажена связь с другими научными учреждениями в Германии и заграницей. Поэтому, когда впоследствии для университета наступили трудные времена, он оказался изолированным. И в-третьих, пропаганда нового, своеобразного учреждения была совершенно недостаточна, так что оно не могло заручиться симпатиями в широких общественных кругах. Всё это не осталось без влияния на его последующую трагическую судьбу.

Недовольство управлением чувствовалось не только в преподавательской и студенческой среде. Оно проникло и в сферы УНРРА. Незадолго перед днем торжественного открытия университета было созвано общее собрание профессуры. Явившаяся на собрание директрисса заявила, что возглавление университета формально неправильно. Подобно тому, как во главе французского университета стоит француз, германского немец и т. д., ректор нашего университета, предназначенного для обучения displaced persons должен избираться из числа Ди-Пи, признанных таковыми особой унрровской комиссией. Наш же ректор был ею квалифицирован лишь как эмигрант, т. е. лицо не пострадавшее от немецких насильственных действий. Между тем, продолжала г-жа Гажинская, в нашей среде имеется соответствующее лицо, а именно проф. Пиркмайер, бывший вице-президент Словении, который гитлеровскими властями был заточен в концентрационный лагерь в Дахау. Кроме того, он будет полезен в должности ректора, как выдающийся юрист.

Вся эта натянутая мотивировка никого не убедила. Проф. Пиркмайер был большинству из нас совершенно неизвестен, а вторжение дирекции в дела внутреннего управления университетом произвело на многих резко отрицательное впечатление. Но стремление усовершенствовать управление и поставить нашу юную alma mater на должную высоту преодолело все сомнения.

Новый кандидат был избран подавляющим большинством голосом. Однако, этот выбор, как мы увидим дальше, оказался неудачным.

Было бы совершенно неправильно и несправедливо ограничивать характеристику университетского управления вышеприведенными критическими замечаниями. Положительные стороны строительства заслуживают не менее пристального внимания. За короткое время, в течение каких-нибудь трех месяцев, было создано громадное учреждение, состоявшее из восьми факультетов: юридического, социологического, медицинского, ветеринарного, естественно-научного, агрономического, механического и архитектурного. Впоследствии ветеринарный факультет вошел в состав медицинского, а агрономический объединился с естественно-научным.

Особого внимания заслуживают учебно-вспомогательные учреждения для практических занятий по естествознанию. Из-за недостатка помещения в библиотечном корпусе знаменитого Deutsches Museum, в котором разместился университет, каждому институту была предоставлена лишь небольшая площадь. Так, Ботанический институт разместился в одной огромной комнате, где был собран весьма обширный гербарий. Минералогический институт находился еще в стадии организации, но располагал уже значительными коллекциями. Мой Институт зоологии и сравнительной анатомии состоял из двух, прекрасно оборудованных, комнат. Трое ассистентов при жертвенном содействии студентов-добровольцев неустанно трудились над изготовлением всевозможных препаратов из мира животных. Была нарисована целая серия художественных настенных таблиц, иллюстрирующих строение различных органов тела. В многочисленных аквариумах и террариумах содержались живые представители местной фауны. Демонстрация всех этих предметов весьма украшала чтение лекций. А заседания естественно-научного факультета, которые собирались в моем институте, нередко оживлялись ручной

вороной, которая, вторя ораторам, неустанно «голосовала», пока ее не уносили в другую комнату. Многие коллеги и студенты других факультетов, а также служащие УНРРА навещали нас, чтобы полюбоваться на «зоологический сад».

Особенно много денежных средств и труда пошло на создание Химической лаборатории, которая в общем ходе преподавания должна была играть доминирующую роль. Лаборатория вышла на славу, и была столь обширной, что в ней одновременно могли работать несколько десятков практикантов. Несмотря на тогдашние трудности в деле снабжения, она была, при содействии американцев и благодаря энергии студенчества, обеспечена всеми нужными реактивами.

При медицинском факультете был организован Гистологический институт и положено начало Анатомическому театру. Вообще материальная часть этого факультета была обеспечена на первые четыре семестра, а относительно прохождения дальнейших, клинических семестров были начаты переговоры с мюнхенскими больницами.

Не без труда удалось приобрести нужное для учебных целей количество микроскопов, этого резко дефицитного товара. В конце концов, в распоряжении университета оказалось около полусотни превосходных, отчасти бинокулярных инструментов, которые были распределены по институтам, но, в случае потребности в массовой демонстрации, могли быть легко сосредоточены в одном месте. Можно утверждать, что практические занятия были у нас налажены не хуже, а, вероятно, даже лучше, чем в тогдашних, разбитых бомбами, немецких университетах.

Особенно отрадное впечатление осталось у меня от нашего студенчества. Курс общей зоологии мне приходилось читать для слушателей четырех факультетов. Он велся в громадной aula maxima, вполне уцелевшей от бомбардировок, и вмещавшей до 600 человек. Когда я, в сопровождении ассистентов, входил в аудиторию и шел длинным проходом вдоль рядов студентов под

оглушающее приветственное топанье ногами и стучание карандашами о пюпитры, создавалось такое повышенное настроение, при котором речь профессора лилась от сердца к сердцу. Учебные занятия велись на немецком языке, как наиболее понятном для слушателей различных национальностей, и моя, сравнительно правильная, но медлительная и упрощенная речь особенно легко воспринималась. Благодаря этому студенты могли без труда записывать лекции, и познания их на экзаменах, несмотря на скудость учебников, стояли на весьма высоком уровне. «Остроумные» ответы, вроде того, что «инфузория дышит жабрами», фигурировали редко.

Исключительно внимательное отношение к лекциям произвело большое впечатление и на гастролировавшего у нас американца, профессора физиологии. В конце своей заключительной лекции он признался, что ни в Соединенных Штатах, ни в Европе он не встречал столь отзывчивой аудитории. «Всюду, — заявил он, — к концу лекций я наблюдал нескольких дремлющих слушателей. У вас, даже при самом детально-монотонном изложении, никто не спит».

Но наиболее поразительным фактом, характерным не только для студенческого, но и для преподавательского состава, было полное отсутствие национальных распрей. Наша академическая семья слагалась из представителей 24 народностей, в подавляющем большинстве выходцев из дореволюционной и беглецов из советской России. Поляки, евреи, русские, украинцы и т. д., между которыми в других беженских организациях велись бесконечные споры, дружно объединялись у нас в общий союз, в котором преобладали интересы науки и забота о судьбе и процветании нашей alma mater. В анналах многолюдных студенческих собраний не отмечено ни одного национально-враждебного выступления.

Учебные занятия были начаты в первых числах февраля 1946 года, а 16-го февраля происходило торжественное открытие университета. Приглашения были

разосланы от имени J. H. Whiting'а, директора УНРРА всей американской зоны Германии. Это свидетельствовало о большом значении, которое приписывалось в то время в унрровских кругах созданию университета. Собрание состоялось в одном из самых обширных помещений Мюнхена, в Bürgerbräu-Keller, в котором незадолго перед тем выступал с речами Гитлер. Если бы его тень сохранилась там, она очень бы удивилась при виде того, что зал снова наполнился коричневыми униформами. Но это были не куртки нацистов, а мундиры офицеров американской армии и чиновников УНРРА. Главным почетным гостем был командовавший тогда 3-й американской армией генерал L. K. Truscott. Наряду с директором УНРРА и ректором, он первым подписал акт об основании университета и явился таким образом его главным учредителем. Из немцев на торжестве присутствовал представитель мюнхенского городского управления. Ректора университета и высшего технического училища отсутствовали.

В приветственных речах, произнесенных американцами, в том числе Truscott'ом и Whiting'ом, много говорилось о благородной инициативе УНРРА, о жертвенности студенчества, об энергии директриссы. Лишь мельком было упомянуто о профессуре, но ни слова не было сказано о громадной подготовительной работе Сената. Имя ректора Митинского ни разу не было произнесено, что произвело на него и на нас всех удручающее впечатление. В общем блеске торжества всё это прошло для большинства гостей незамеченным, но внимательный наблюдатель мог уже в этом усмотреть семена будущих неприятностей.

По окончании церемонии я прочел в переполненной aula maxima торжественную речь на тему о происхождении жизни. Я говорил по-немецки, но для присутствующих американцев сделал резюме на английском языке. После лекции Гажинская с восторгом сообщила мне, что, плохо зная немецкий язык, она всю лекцию поняла почти от слова до слова. Это было за-

логом успеха моих последующих лекций перед разноплеменной аудиторией.

За блестящим открытием университета последовал период будничной, но исключительно благоприятной и успешной учебной работы. Прилежание студенчества на лекциях, а также при семинарских и лабораторных занятиях было выше похвалы. Одушевление преподавательского персонала, вернувшегося после военной грозы к любимой деятельности, не мало содействовало ее успеху.

Но на этом, казалось бы, безоблачном небе уже с первых дней начали сгущаться политические тучи. Администрация УНРРА, в работе которой принимали участие и представители Советского Союза, решила, помимо призванных к этому полицейских органов, еще и самостоятельно проверить благонадежность студентов и преподавателей. Работа была поручена некоей г-же Пик, бывшей содержательнице модного магазина в Праге, особе явно большевистского настроения. Ей был дан кадр помощников из среды Ди-Пи, которые занимались проверкой студентов. Эта проверка, как и следовало ожидать, прошла совершенно благополучно. Сама же возглавительница чистки взялась за профессуру и натворила таких дел, над которыми было бы можно покатываться со смеху, если бы они не грозили трагическими последствиями. Исходя, повидимому, из своих просоветских симпатий, которые одно время, с легкой руки Бенеша, были очень распространены в чешских буржуазных кругах, а также из шовинистической ненависти ко всему словацкому (после самочинного отделения Словакии от Чехии), она решила свести счеты с выходцами из враждебной страны. При допросах этих людей она не интересовалась ни их политическими воззрениями, ни прошлой деятельностью. Факта, что они жили в Братиславе, было достаточно, чтобы квалифицировать их, как изменников и гитлеровских коллаборантов, которым не может быть доверено преподавание в университете. А между тем наименование коллаборант могло быть гибельным для его носи-

теля. Ему грозили всевозможные кары, вплоть до репатриации.

Особенно нелепо звучало такое обвинение по отношению ко мне, всю свою жизнь посвятившему служению демократическим принципам и даже в Братиславском университете принимавшему участие в протесте против попытки ограничить университетскую автономию. Я счел унизительным для себя препираться по этому поводу с г-жей Пик, но изложил обстоятельства дела ректору и директриссе. Они были возмущены, но после долгих переговоров могли добиться лишь того, что кличка нацистского сотрудника была снята с меня. Почетное же в то время звание Ди-Пи не было присуждено мне, что мотивировалось в окончательном протоколе тем, что я входил в состав «изменнического университета». Лишь потом, при повторной политической проверке, которой были подвергнуты все беженцы и которая производилась американской военно-полицейской комиссией, это звание было возвращено мне.

Из многочисленных других курьезов в деятельности Пиковской комиссии приведу для примера лишь один. Профессор ботаники был обвинен в гитлеровском расизме на том основании, что в списке его научных трудов фигурировала статья о расовых разновидностях в мире растений. В конце концов, наше судьбоносное пугало было убрано от нас, но с повышением по службе. Такие люди высоко ценились в некоторых учреждениях УНРРА.

Большая забота тяготила многих из нас и по отношению к внутренним делам университета в связи с вопросом о ректоре. Пиркмайер совершенно не оправдал возлагавшихся на него надежд. Правда, он был моложе и энергичнее Митинского, но он всю свою энергию направлял на формально-юридическую работу по составлению устава и различных правил внутреннего распорядка. Усовершенствование университета в научном отношении, равно как и внедрение его в сферу германской и заграничной академической жизни срав-

нительно мало интересовало нового ректора. Деятельность его продолжалась, однако, недолго. Ветер с востока непрестанно дул на наш университет. Ректор был внезапно арестован американским военным командованием по требованию югославского правительства, которое обвиняло его в государственном преступлении, т. е. в борьбе с коммунистами в бытность его вице-президентом Словении. К счастью, удалось предотвратить его немедленную выдачу большевикам, а когда, приблизительно через год, его дело было окончательно рассмотрено в американских инстанциях, обвинение оказалось ложным, и он был освобожден. Но к исполнению ректорских обязанностей он уже не вернулся.

После ареста ректора его компетенция снова перешла к проф. Митинскому, который занимал в это время должность проректора. В виду насилия, учиненного над главой университета и в надежде на то, что арест будет непродолжительным, было решено новых выборов не производить. Итак, Сенат, в смысле своего возглавления, вернулся в первобытное состояние, т. е. в состояние Пиквикского клуба, как стали поговаривать в преподавательской среде. Это обстоятельство обеспокоило и директриссу, которая без особого приглашения начала посещать заседания Сената, а затем внесла предложение о том, что, если в порядке деликатности неудобно говорить о замене арестованного ректора другим лицом, то необходимо хотя бы выбрать нового проректора. В частном разговоре добавлялось, что проректор должен быть более молодым и энергичным. В качестве такового был намечен продекан моего факультета П. Крумин, экстраординарный профессор технологической химии. Он выдвинулся, как главный устроитель нашей химической лаборатории. Его поддерживала дирекция, а также более молодая часть преподавательского персонала. Выборное собрание ознаменовалось страстными дебатами, и мне, в качестве председательствовавшего, приходилось напрягать всю свою энергию для поддержания спокойствия и внешнего порядка. Значительным большин-

ством голосов был избран Крумин. Некоторым из коллег старшего возраста пришлась не по душе строго парламентская процедура выборов, и они наивно упрекали меня в том, что я провел на командное место в университете своего помощника.

К сожалению, надо признаться, что и эти выборы не оправдали возлагавшихся на них надежд. Правда, новый председатель Сената стал тщательно подготовлять заседания, так что они получили более планомерный характер. Но ему нехватало авторитетности, чтобы удерживать своих старших по возрасту коллег от их многоречивости. А в области внешней политики университет был вскоре постигнут тяжкими испытаниями, для противодействия которым требовались не только настойчивость и твердость характера, которыми в полной мере обладал наш проректор, но также и дипломатическое искусство. Недостаток этого последнего печально отразился на дальнейшей судьбе нашей alma mater.

Вскоре после неудачного нападения на нас со стороны г-жи Пик начали циркулировать неопределенные слухи о новых гонениях, подготовлявшихся якобы против руководящих кругов университета. Арест ректора оказался ярким подтверждением этих слухов. Один из моих доброжелателей, занимавший раньше небольшую должность в канцелярии Народного университета в Праге, а в данный момент занимавшийся спекуляцией в среде унрровских служащих, сообщил мне по секрету, что подготовляется арест всех членов Сената. Всё это вносило нервность в сенатские заседания, тем более, что они происходили теперь под постоянным контролем дирекции.

Наконец, катастрофа разразилась, притом в форме столь же варварской, как и трагичной. В самый разгар учения, на половине 3-го семестра существования университета, управление УНРРА заявило Сенату, что кредиты прекращаются, и что университет должен быть закрыт немедленно, даже не доведя до конца текущего семестра. УНРРА вдруг вспомнила, что ей нужны

не доктора и инженеры, а горнорабочие. Из принципиальных соображений и в интересах студенчества мы решили по мере возможности продолжать нашу работу, хотя бы и бесплатно. Студенты организовали внушительную демонстрацию, которая направилась к зданию американского военного управления. Делегаты студентов были приняты военным начальством и получили от него обещание поддержки. Трудно сказать, насколько это обещание было искренним. Но во всяком случае взаимоотношения между американским командованием и международной организацией УНРРА были столь запутаны и вопросы компетенции так неясны, что, в конце концов, военные круги не сказали решительного слова. Мы же стояли на юридически правильной точке зрения и утверждали, что раз акт об открытии университета был подписан командующим американской армии, то и ликвидация его может быть произведена лишь этой инстанцией.

Неопределенное положение, тянувшееся некоторое время, закончилось тем, что полиция УНРРА, привезенная из какого-то лагеря, оккупировала в ночные часы помещение университета. Эта полиция состояла из бывших сербских солдат, которые сами по себе были добродушными братушками. Но воспитанные в унрра-диктаторской дисциплине, они вначале чрезвычайно грубо обращались с нами. Не только студенты и преподаватели не могли проникнуть в здание, но даже и заведующие институтами или их помощники, чтобы позаботиться о живых растениях и животных, оставшихся там. Стояли морозные дни ранней весны, и когда через несколько дней мы добились для профессуры права входа в университет, мы застали там ужасную, незабываемую картину. В громадном, красивом вестибюле был разведен костер из разломанной мебели, вокруг которого грелась стража. Густые клубы дыма тянулись по обоим этажам здания, так что в коридорах было тяжко дышать. В своем лабораторном помещении я нашел кладбище. Животные погибли от холода и голода. Нашу общую любимицу ворону я

застал при последнем издыхании, забившейся в угол клетки. Мои попытки отогреть ее кончились неудачей, и она умерла у меня на руках. Большие круглые аквариумы из цельного стекла, редкость в тогдашнем Мюнхене, полопались от мороза. Много инвентарных предметов бесследно исчезло.

Затем начался дальнейший акт ликвидации университетской жизни. Полиция под самоличным руководством директора местной УНРРА Кокса и его помощника Делла Торре занялась насильственным отбиранием и увозом имущества, принадлежавшего УНРРА. Однажды, зайдя в одну из своих институтских комнат, я увидел, что рабочие вытаскивают из нее старую железную печку, труба которой была выведена в окно. Элегантно одетый, солидный, пожилой директор, усмотрев, что в окне торчит последнее, короткое колено трубы, влез на стол, вынул трубу, причем обсыпал себя и находившиеся на столе наши препараты сажей, и бросился по коридору догонять рабочих, чтобы передать им свою добычу.

Было ли это выражением жадности или ненависти к научному учреждению, я не знаю. Но сцена была в высшей степени комична. А на другой день мы были свидетелями уже гнусной сцены. Встретившись в проходе с проректором, которого он прекрасно знал по предшествовавшим переговорам, директор потребовал, чтобы тот открыл перед ним свой портфель и осмотрел его, очевидно, надеясь найти в нем если не печную трубу, то какое-либо иное сокровище УНРРА.

При таком настроении было естественно, что главное внимание унрровцев привлекали к себе микроскопы, как наиболее ценная часть нашего инвентаря. Университет получил приказ выдать все микроскопы. На наше замечание, что часть их приобретена на средства, собранные студентами, было отвечено, что мы должны передать всё в упревление УНРРА, которое потом выяснит, что кому принадлежит. Зная цену подобным обещаниям и помня свою ответственность перед сту-

денчеством, Сенат медлил со сдачей микроскопов и продолжал переговоры. Тогда были приняты меры исключительного порядка, совершенно чуждого для академической жизни в культурных странах.

Однажды я отправился проводить мою внучку, навестившую меня, на окраинный вокзал, с которого она уезжала в свою пригородную квартиру. Когда мы в ожидании поезда прогуливались по пустынной площади перед вокзалом, ко мне подошел немецкий городовой, который, как потом оказалось, узнал у меня дома, где я находился, и вежливо осведомившись, я ли доктор Новиков, предложил мне следовать за ним в Главное полицейское управление. Мы отправились и дорогой он сообщил мне, что я обвиняюсь американцами в похищении каких-то ключей. Путешествовать по улицам Мюнхена под полицейским надзором было не особенно приятно и напомнило мне подобные же переживания в подсоветской Москве. В полицейском управлении я застал проректора и нескольких профессоров, заведывавших, как и я, учебно-вспомогательными учреждениями. Американские полицейские чиновники объяснили нам, что каждую минуту должен приехать офицер УНРРА, который потребует от нас выдачи ключей от несгораемых шкафов. Прошло, однако, три часа нашего пребывания под стражей, наступал уже вечер, и я решил обратиться к старшему из американских полицейских. Я сказал ему, что несовместимо с демократическим строем тащить по улицам, под полицейским надзором, почтенных, ничем не запятнанных профессоров, а потом держать их в заточении, в тщетном ожидании легкомысленного начальника, который не умеет исполнить своего обещания приехать в определенный час. На это нам было заявлено, что, если через четверть часа офицер не появится, мы будем отпущены. Так это и случилось.

Любопытно, что профессор, у которого хранились ключи, не был разыскан. Он передал их полиции, явившись на следующий день по письменному вызову. Микроскопы были немедленно увезены, причем один

несгораемый шкаф, ключ от которого в суматохе затерялся, был взломан унрровской полицией. При этом были как бы случайно захвачены пишущие машинки, составлявшие неотъемлемую собственность университетской канцелярии, а также растеряны многие важные документы.

Наша директрисса проявила непростительную слабость в защите университетских интересов и в скором времени спаслась бегством в Париж, где получила новое назначение по службе. Мы снова обратились за помощью к военному командованию, в результате чего было назначено заседание Сената с участием представителей, как этого командования, так и УНРРА. На заседании мы с исчерпывающей ясностью, со счетами торговых фирм в руках, доказали наше несомненное право, по крайней мере, на часть микроскопов. Унрровцы аргументировали тем, что микроскопы закрываемому университету больше не понадобятся, а им нужны для передачи больницам. На это сочувствовавший нам военный представитель выразил опасение, как бы микроскопы не попали вместо больниц, на черный рынок. Это позорящее УНРРА подозрение не вызвало со стороны ее представителей никакой реплики. Они заявили лишь в примирительном тоне, что в ближайшем будущем постараются направить дело ко всеобщему удовлетворению. Этого, конечно, не случилось, и, когда я приблизительно через 2 года, т. е. в августе 1949 г., уезжал в Америку, остаток университетской канцелярии успешно вел процесс против наследницы УНРРА, так называемой ИРО, во главе которой снова оказались наши старые знакомцы Кокс и Делла Торре. Процесс шел по инстанциям образовавшихся к тому времени американских судебных установлений, причем представители ИРО заявили о своей готовности возместить стоимость микроскопов деньгами. Микроскопы же им было, повидимому, уже трудно вернуть нам. Во всяком случае у нас были записаны номера двух микроскопов, находившихся в руках спекулянтов.

Естественно, возникает вопрос, как могут события,

напоминающие варварское разрушение римскими воинами научного достояния Архимеда, быть согласованы с колоссальными гуманитарными задачами, возложенными на УНРРА и так или иначе ею выполненными. Не изучив всей деятельности этого международного учреждения, я не в силах с достаточной полнотой и объективностью исчерпать проблему. Я ограничусь лишь переводом двух газетных заметок, которые, как мне кажется, проливают некоторый свет на нее. В «Münchener Merkur» от 24 сентября 1948 г. было сообщено следующее: Гюнтер Рейнгардт, контрольный чиновник американской защитной службы, заявил в Буффало, что персонал УНРРА и интернациональной беженской организации ИРО в Европе представляет собой, за небольшими исключениями, «конгломерат авантюристов, лжецов и спекулянтов различных национальностей». Соединенные Штаты также представлены в этой «смешанной компании». Союзные оккупационные власти и иностранные правительства не в силах приструнить этих господ, так как свои спекуляции они проводят «бесстыдным образом непосредственно под носом правительственных учреждений», на основании предоставленного им почти полного иммунитета. По мнению Рейнгардта, около 20% поступающих из Америки продуктов питания утекает по таинственным каналам, прежде чем эти товары достигнут германских складов. Таково содержание заметки. А я, живший в Мюнхене неподалеку от одного из самых крупных складов, слышал от непосредственных соседей его, что утечка продолжается и из склада, притом не только в розницу, но и оптом.

Вторая не менее сенсационная заметка была помещена в «Die neue Zeitung», газете, издававшейся в Мюнхене американцами. В номере от 2 апреля 1949 г. сообщается о прекращении деятельности УНРРА, а также о том, что, согласно ее отчету, она за время своего существования распределила различных ценных товаров на сумму приблизительно в четыре миллиарда долларов. «Наибольшую часть этих товаров получили Со-

ветский Союз и восточно-европейские государства». Комментарии к этой заметке, полагаю, излишни.

Основываясь на хартии об основании университета, подписанной генералом Truscott, а также на категорическом толковании юристов, мы стояли на той точке зрения, что университет продолжает существовать, но уже независимо от УНРРА. Правда, была создана ликвидационная комиссия, но она имела задачей произвести лишь ликвидацию наших взаимоотношений с нашей недолгой благодетельницей. Директор Немецкого музея, испытывавший большое удовлетворение от возвращения ему оккупированных УНРРА помещений, предоставил нам, тем не менее, несколько комнат до того времени, пока мы не устроимся в ином месте. В дальнейшем мы квартировали в доме католической церкви православного обряда, у латвийской и польской национальных организаций, а также в некоторых других помещениях.

Таким образом, хотя с перерывами и пертурбациями, но нам удалось закончить третий семестр. На технических же факультетах, правда, в чрезвычайно скромной обстановке, при бедности научными пособиями, но зато при горячем энтузиазме преподавателей и студентов, был проведен и четвертый семестр. Зачеты и экзамены были обставлены нормальными академическими требованиями.

Большая забота Сената, принявшего на себя и функции ликвидационной комиссии, заключалась в том, чтобы изыскать возможности для продолжения нашей деятельности под фирмой интернационального университета. Имелось в виду пойти навстречу запросам времени, когда не только научные и коммерческие взаимоотношения различных народов, заглохшие во время войны, интенсивно возрождались, но и в политической сфере наблюдалось сближение государств, вплоть до разговоров об организации Соединенных Штатов Европы. Наряду с прежними кадрами преподавателей и слушателей — выходцев из России, предполагалось привлекать к работе в университете представителей

всех национальностей. В финансовом отношении наличный кадр преподавателей изъявил жертвенную готовность свести вознаграждение за труд, по крайней мере на первое время, до предельного минимума, чтобы университет мог существовать на плату за право учения. В дальнейшем, когда университет покажет свою работоспособность, можно рассчитывать на получение благотворительных субсидий.

Этот проект был доведен до сведения американского военного командования, которое отнеслось к нему сочувственно, но в то же время и равнодушно в смысле оказания активной помощи. Было указано на то, что учебные заведения в Баварии подчинены сформировавшемуся к тому времени Министерству обучения и культа, и что нам надлежит войти в сношения с этим учреждением.

После длительных разговоров в Сенате было решено избрать исполнительную комиссию для скорейшего осуществления идеи интернационального университета. Комиссия в составе четырех лиц под моим председательством быстро разработала проект основных положений будущего университета, который мы рассматривали, как видоизмененное продолжение унрровского учреждения. Университет таким образом в новом утверждении не нуждался. Надо было лишь зарегистрировать его в баварском Министерстве обучения.

Предполагалось построить университет на следующих принципиальных основаниях. Во-первых, он должен быть аполитичным, т. е. не находиться под влиянием какой-либо политической партии. Он служит лишь научным и учебным целям. Во-вторых, он является интернациональным в том смысле, что стоит на точке зрения братства народов и поэтому пополняет свой преподавательский и студенческий состав представителями всех наций на равных правах. В-третьих, он воспитывает слушателей в демократическом духе, что отражается и на органах управления, активное участие в которых предоставляется, наряду с преподавателями, также и представителям студенчества.

Что касается конструкции университета, то на первое время предполагалось создать в нем пять факультетов: социологический, математико-естественнонаучный, медицинский, механико-электротехнический и архитектурно-строительный. Для преподавания философии, истории и филологии у нас не предвиделось подходящих научных кадров. Поэтому организация соответственного факультета была отложена на будущее время.

Своеобразной чертой проекта было создание при каждом факультете краткосрочных практических курсов, как например, курсов иностранных языков, бухгалтерии, сестер милосердия, клинических лаборантов, средних техников и т. д. Такие курсы, помимо серьезного образовательного значения, особенно для беженской массы, могли бы служить также источником материальных средств для университета. В связи с этим было бы необходимо подразделить слушателей на две категории: студентов академических отделений, от которых требовалось бы предварительное прохождение средней школы, и слушателей практических курсов без специальной подготовки.

Дальнейшей задачей нашей комиссии было изыскание путей, которые привели бы нас к соглашению с баварским министерством. Нашим университетом уже давно интересовалось своеобразное мюнхенское учреждение, преследовавшее также международные цели, «Kreuzbrüderschaft pro una Sancta Ecclesia». Это братство проповедывало объединение церквей, а на первое время хотя бы сближение между собой представителей различных вероисповеданий. Во главе его стоял некий профессор Людке, который неоднократно посещал наш университет и даже приглашался раза два в заседания Сената. Он много рассказывал о своих дружественных отношениях с видными чинами министерства и о личном знакомстве с министром Хундгаммером. Комиссия поручила мне войти с ним в сношения с целью урегулирования нашего дела в немецких правительственных кругах. Людке изъявил полную готовность помогать

нам, если мы войдем в состав братства, которому он в этом случае придаст более широкий характер. И на самом деле он быстро провел через близкие ему католические круги новый устав своей организации, которая взяла на себя задачу опекать присоединившийся к ней Интернациональный университет. В связи с этим организация получила новое название «Liga universalis pro una Sancta Catholica et Apostolica Ecclesia». На наш протест против этого наименования, как чересчур длинного, а главное, намекавшего на преобладающую роль католицизма, что особенно резко отметил член комиссии проф. А. Д. Билимович, Людке ответил, что он понимает название в экуменическом смысле, и что в текущих делах слова «Catholica et Apostolica» приводиться не будут, так что представителям нехристианских вероисповеданий не будет закрыт доступ в Лигу. Полное же название необходимо для успеха нашего дела в правительственных кругах, глубоко пропитанных духом католицизма. Имея в виду, что дополнительные слова содержатся и в православном символе веры, мы согласились с ним, но обеспечили автономные права будущего университета особым письменным договором. Связь с Лигой осуществлялась лишь тем, что ее представитель должен был войти в состав Сената, а делегат этого последнего в президиум Лиги. Людке, принявший на себя звание почетного канцлера Лиги, был приглашен Сенатом в состав его членов. Он принял, однако, это избрание с неудовольствием и намекнул мне, что его друзьям из Лиги было бы приятнее видеть его в должности почетного ректора. Бесцеремонность этого притязания стала для нас особенно отчетливой впоследствии, когда мы узнали, что его «профессура» относится только к средней, а не к высшей школе. В президиум Лиги вошли, кроме Людке, епископ Шарнагль, как канцлер от духовенства, и я, как канцлер от мирян.

Несмотря на некоторые шероховатости, наша совместная работа протекала вначале в дружеской атмосфере. Мы получили аудиенцию у министра, который

высказал сочувствие нашему начинанию, однако, никаких конкретных обещаний не дал. Советники министерства, от которых непосредственно зависело наше дело, также отнеслись к нам с большой симпатией. Но при дальнейших переговорах возникли затруднения, главным образом по вопросу о финансировании университета. Немцы не верили нашей жертвенности и возможности вести высшую школу на основе самоокупаемости. Давать же нам значительные субсидии они не могли, так как их старые университеты были после войны чрезвычайно урезаны в смысле кредитов. Другое важное затруднение заключалось в том, что были неясны взаимоотношения американских и немецких властей по отношению к нам.

Одно время казалось, что нам благоприятствовал случай. Философско-теологическая школа в Регенсбурге добивалась превращения в университет и готова была для этой цели объединиться с нами. Из Мюнхена была направлена в Регенсбург комиссия, составленная из представителей Министерства, Лиги и нашего Сената. Но крайне нетактичное поведение почетного канцлера, его болтливость и заносчивость произвели неблагоприятное впечатление на регенсбуржцев. В дальнейшем возникли и другие, формальные препятствия, так что мысль об объединении была оставлена.

Единственным косвенным отзвуком переговоров с Регенсбургской духовной школой, в которой преподавалось и естествознание, как основание философии, было приглашение меня для чтения лекций в этой школе. Директору школы, католическому священнику, пришелся особенно по душе мой курс по истории биологических теорий, в основу которого было положено идеалистическое миросозерцание, широко распространенное среди современных натуралистов. Этот курс, заявил он, чрезвычайно полезен для духовенства. Он дает ему в руки хорошее оружие в борьбе с атеизмом. Руководители православной церкви не дошли еще, к сожалению, до этой, логически правильной и практически полезной точки зрения.

Между тем у нашей комиссии начали накапливаться недоразумения с главой Лиги. Перед нами всё яснее вырисовывался образ карьериста, который на старости лет задумал выдвинуться перед правительственными и перед духовными католическими кругами. Наш университет так же, как, повидимому, и Лига, служили ему лишь для достижения личных целей. Между прочим, он потребовал передачи всего, оставшегося у нас после унрровского погрома, имущества в распоряжение Лиги, в чем ему, конечно, было отказано. Наконец, он совершенно распоясался и прислал мне письмо, в котором рекомендовал ознакомиться со статьей в одном журнале, озаглавленной «Gedanken zu einer katholischen Universität». Эта статья должна служить якобы исходным пунктом для организации нашего университета. Тенденция ввести университет в русло воинствующего католицизма была для нас совершенно неприемлема.

Одновременно с этой эволюцией Людке постепенно отстранялся от нас и нашего студенчества. Он сблизился с католической студенческой федерацией, которую возглавлял беспринципный авантюрист, венгр по происхождению. При содействии федерации был организован чай для прессы в целях пропаганды идеи интернационального университета. На меня была возложена обязанность привлечь к чаю митрополита Серафима. Ввиду того, что чай устраивался в ресторане «Какаду», я категорически отклонил от себя эту обязанность, да и сам не явился на собрание. Вскоре после этого, в результате объяснения, при котором резко обрисовалось непримиримое разногласие между нашей комиссией и Лигой, я вышел из состава последней. На этом кончилось наше сотрудничество с Людке. Это было в конце 1947 года.

Но с Министерством образования и культа мы наших переговоров не прерывали и даже установили, что без посредничества Людке нам легче вести их. Мне лично пришлось участвовать в переговорах в течение дальнейших полутора лет, вплоть до отъезда в Америку. За это время, мы с согласия Министерства, продолжали

частично учебную деятельность, организовывали зачеты и экзамены, а также выдавали соответствующие удостоверения, которые многим из наших студентов облегчили их дальнейший жизненный путь.

Осуществление нашего проекта становилось между тем всё менее и менее актуальным. Наши кадры, как преподавательские, так и студенческие, беспрерывно таяли, главным образом благодаря эмиграции в заокеанские страны. Когда я в начале августа 1949 года уезжал из Германии, надежда на восстановление университетской жизни была окончательно утрачена. Так печально закончилась история одного из самых своеобразных учебных заведений, кратковременное существование которого ознаменовалось исключительной полнотой и яркостью духовного горения.

XIV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

> **"Wo wird einst des Wandermüden**
> **Letzte Ruhestätte sein?**
> ....
> **Immerhin, mich wird umgeben**
> **Gottes Himmel, dort wie hier,**
> **Und als Totenlampen schweben**
> **Nachts die Sterne über mir".**
>
> ***H. Heine.***

Катастрофа с Унрровским университетом, при всей ее трагичности, не оказалась губительной для моей работы на академическом поприще. Мои коллеги из Мюнхенского университета пригласили меня вступить в их среду, и я был избран профессором этого университета, который по своему научному значению обыкновенно ставился на второе место после Берлинского. Для меня это было снова как бы воскресение из мертвых. Правда, я несколько опасался встречи со студентами, среди которых было не мало нацистов, враждебно настроенных к русскому имени. Но, повидимому, благодаря предварительной пропаганде со стороны коллег-профессоров, обративших внимание студентов на мои научные работы, встреча на первой лекции оказалась весьма благожелательной. Меня встретили и проводили громким приветственным шумом. Дружба с молодым поколением, которое, кстати сказать, всюду с одинаковой признательностью воспринимало мое объективное изложение научных данных, продолжалась и в Мюнхене, в течение четырех семестров моего последующего там пребывания.

Внимание же университетской администрации выразилось, между прочим, в том, что когда меня стали

притеснять хозяева квартиры, в которой я снимал комнату на дни моих приездов из Регенсбурга, мне было предложено поселиться в моем лабораторном помещении, в Ботаническом институте. Летом я жил там в поистине райской обстановке, окруженный роскошными коврами цветов и купами редкостных деревьев.

Но это был уже последний этап моего восхождения по лестнице жизни. Летом 1949 года в моей семье начались решительные разговоры о необходимости дальнейшего отступления на запад, т. е. о переселении за океан. Для этого выдвигались два основания. Во-первых, опасность войны и захвата нас большевиками, а во-вторых, безработица, которая коснулась моего зятя и сына, грозя подорвать наше материальное положение.

Тяжко мне было бросать так счастливо налаженную академическую деятельность в Регенсбурге и Мюнхене, тем более, что относительно продолжения ее в американских университетах я не строил себе никаких иллюзий. Но пришлось подчиниться велению обстоятельств. И вот началась, на этот раз не катастрофа, а постепенное свертывание моей жизненной активности. Сначала чистилище пересыльных лагерей ИРО с бесконечными допросами и контролями, где утрачивается человеческая личность и заменяется номером, где при входе в лагерь вам за пазуху и в другие отверстия одежды засыпают из огромных пульверизаторов инсектицидный порошок, где неопрятный фельдшер грубо кричит: «покажи зубы», и лезет в ваш рот грязными пальцами. Десятидневное плавание на пароходе, вместо того, чтобы, при господствовавшей в то время прекрасной погоде, явиться источником научных и художественных наслаждений, превратилось под командой чиновников ИРО в непрестанную цепь тяжелых переживаний. Я прихворнул, и к вечеру у меня значительно поднялась температура. Мои семейные, обеспокоенные этим, особенно в связи с моим преклонным возрастом, пригласили пароходного врача. Но он отказался наве-

стить меня, заявив, что на следующее утро я могу прийти к нему на амбулаторный прием.

Лишь по прибытии в Нью-Иорк нас ждал своеобразный сюрприз. На борт парохода явились газетные репортеры и фотографы, заинтересованные, однако, не моей научной или общественной деятельностью, а тем якобы сенсационным обстоятельством, что моя семья состояла из представителей четырех поколений.

Университетские коллеги в Нью-Иорке и в некоторых других городах США встретили меня приветливо, но сдержанно; они сразу же дали мне понять, что по американским условиям 73-летний ученый рассматривается как конченный человек.

Русская общественность, в недрах которой я пытался использовать остатки моей жизненной энергии, также не доставила мне большой радости. Значительная часть ее, несмотря на пребывание в городе с восьмимиллионным населением, отличается узко-провинциальным образом жизни. В ней господствуют непрестанные распри, личные и партийно-политические. Как старый боевой конь, я радуюсь, когда меня приглашают прочесть публичную лекцию. Но к радости примешивается и смущение по поводу того, что аудитория составляется обычно из людей, более или менее близких мне по возрасту. Молодежь, за немногими исключениями, русской культурой не интересуется. Могучий молот здешней материальной цивилизации перековывает ее психику на американский лад. Грустно думать, что русская эмиграция, если не произойдет решительного сдвига в области мировых событий, обречена в Соединенных Штатах на быстрое вырождение.

Чтобы устранить или, по крайней мере, замедлить этот процесс, я замыслил использовать опыт моей предшествующей жизни и организовать в Нью-Иорке русский университет, как культурный центр, из которого наши соотечественники, а также и американцы могли бы почерпать достоверные сведения о России и об ее великом духовном достоянии, где молодежь вос-

питывалась бы в русских академических и общественных традициях, чтобы в случае нужды эти благородные традиции могли быть использованы при восстановлении нормального государственного порядка на нашей родине.

Почти все видные представители эмиграции, к которым я обращался со своим проектом, выражали мне горячее сочувствие. Но в подавляющем большинстве случаев оно оказалось чисто платоническим. Оно почти не приносило с собой ни материальных возможностей, ни активного сотрудничества.

Многие народы (французы, поляки, украинцы и др.) имеют здесь свои общепризнанные культурные центры. У русских такого центра нет. Существует, правда, обилие организаций, конкурирующих между собой в устройстве спектаклей, концертов, танцевальных вечеров, а иногда даже общественных блинов и благотворительных пельменей. В других организациях читаются лекции, но на случайные темы, в совершенно разрозненном и несогласованном порядке. Обычно они собирают незначительное количество слушателей. Лишь сенсационные или политически-заостренные темы привлекают более многолюдную аудиторию. Тяжело сознавать, что в величайшем городе мира, с русским населением в несколько сот тысяч жителей, мало слушателей для русских лекций, а в стране колоссальных материальных возможностей не находится средств для сравнительно скромного культурного начинания.

Такое положение дел угашает мой строительский энтузиазм. Мечта о русском университете в Америке, который был бы преемником подобных учреждений в Европе, бледнеет. Главную, хотя и невольную вину в этом я чувствую за собой. У меня уже нет энергии, с которой я раньше бросался даже в неравный бой и успешно достигал поставленной себе цели. Хочется верить, однако, что проявленная мной инициатива не заглохнет, и кто-нибудь другой окажется более счастливым в ее осуществлении. Мне же остается лишь

приспособиться к своему возрасту и к внешним обстоятельствам.

Но при всем этом я и ныне ощущаю некоторое внутреннее удовлетворение, как бы отблеск звезды, так часто озарявшей мой жизненный путь. Удовлетворение от возможности обнародовать летопись моей жизни, не совсем повседневной в смысле ее многогранности и духовного богатства.

В моем деревенском уединении, в этом храме великой, таинственной природы я могу повторить слова смиренного старца: «Немного лиц мне память сохранила, немного слов доходит до меня, а прочее погибло невозвратно!..»

После яркой цветущей весны, после лета и осени, богатых радостным трудом и обильной жатвой, наступает зима с меланхолическим снежным покровом. В нем охлаждаются пламенные порывы, но смягчается и боль неудовлетворенных стремлений. Жизнь постепенно докатывается до своего нормального предела. Настает полоса духовного отшельничества, озаряемая, как скромной лампадой, мирным созерцанием и внутренним самоуглублением. Смирившаяся душа постепенно настраивается на существование sub specie aeternitatis.

ОГЛАВЛЕНИЕ

RAUSEN BROS.,
417 Lafayette Street
New York 3, N. Y.
85

Цена три доллара



ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИМЕНИ ЧЕХОВА
Нью-Йорк